Вестник

Московского государственного областного университета

СЕРИЯ «РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»

№ 3

Москва
Издательство МГОУ
2008

Вестник

Московского государственного областного университета

СЕРИЯ «РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»

№ 3

Москва
Издательство МГОУ
2008

Вестник
Московского государственного
областного университета

Научный журнал основан в 1998 году

Редакционно-издательский совет:
Пасечник В.В.–председатель, доктор педагогических наук, профессор
Дембицкий С.Г.–зам. председателя, первый проректор, проректор по учебной работе, доктор экономических наук, профессор
Коничев А.С.–доктор химических наук, профессор
Лекант П.А.–доктор филологических наук, профессор
Макеев С.В.–директор издательства, кандидат философских наук, доцент
Пусько В.С.–доктор философских наук, профессор
Яламов Ю.И.–проректор по научной работе и международному сотрудничеству, доктор физико-математических наук, профессор

Редакционная коллегия серии «Русская филология»:
Лекант П.А. – доктор филологических наук, профессор (ответственный редактор)
Шаповалова Т.Е. – доктор филологических наук, профессор (зам. ответственного редактора)
Алексеева Л.Ф. – доктор филологических наук, профессор
Аношкина В.Н. – доктор филологических наук, профессор
Копосов Л.Ф. – доктор филологических наук, профессор
Леденёва В.В. – доктор филологических наук, профессор

Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». – № 3. – 2008. – М.: Изд-во МГОУ. – 222 с.

Вестник МГОУ (все его серии) является рецензируемым и подписным изданием, предназначенным для публикации научных статей докторантов, а также аспирантов и соискателей (решение президиума ВАК от 07. 03. 2008 г.).

В «Вестнике» могут публиковаться статьи не только работников МГОУ, но и представителей других научных и образовательных учреждений.

ISBN 978-5-7017-1336-7

© МГОУ, 2008
© Издательство МГОУ, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК

Бекасова Е.Н.
Статус рефлексов *dj в памятниках церковнославянского языка русского извода.....5
Ганцовская Н.С.
Костромской акающий остров как объект ареально-типологического изучения 12
Гладышев А.Г.
Статичность и динамичность в глаголах некоторых способов действия 19
Иванова Г.А.
Компоненты содержательной структуры научного термина 25
Ильина В.А.
Номинанты образа одиночества в русском языковом сознании 32
Картавенко В.С.
Языческие верования и их отражение в топонимии Смоленского края 39
Лаврентьев В.А.
Синтаксическое лицо в конструкциях с предикатом в форме изъявительного наклонения глагола 45
Махницкая Е.Ю.
Термин и аспекты его изучения с позиции когнитивного подхода 52
Мкртычян С.В.
Типология речевых тактик устного делового аргументативного дискурса.....60
Назарова-Евенко Е.В.
Фоносемантическая организованность текста как средство, способствующее построению смысла-тональности 68
Рубцова Н.В.
Мотивированность лингвистической терминологии как основа систематизации знаний в учебном процессе.....75
Рупосова Л.П.
Фигуры речи в памятниках письменности XI – XVII вв.....83
Свиридова Т.М.
Структурно-семантические разновидности конструкций сложносочиненных предложений с семантикой согласия и несогласия.....92
Стародубец С.Н.
Функциональные особенности атрибута в религиозно-философских произведениях И.А. Ильина.....100
Хрусталев И.Н.
К проблеме грамматической специфики русских гидронимов.....107
Шаталова О.В.
Роль аффиксации в структуре словообразовательного гнезда.....114

Публикации аспирантов

Костикова О.Ф.
Языковая игра как актуальный прием стилеобразования газетной публицистики начала XXI века.....118
Плахова А.А.
Особенности функционирования слов с корнем -благ- в современном русском языке (на материале газет «Московская правда» и «Правда»).....122
Сухопарова М.А.
Составные наименования в современном русском языке (на материале периодических газетных изданий).....130

ЛИТЕРАТУРА

Жаткин Д.Н.
Английская романтическая поэзия в русских переводах 1840 – 1850-х гг.....137

Журчева О.В.
Антиномия концептов «дом» и «путь» в пьесе М. Горького «Мещане».....145

Зорин А.Н.
Ремарка в русской драме XVII-XVIII вв.: границы приема, культурный контекст.....153

Покачалов М.В.
Terra incognita: Атлантида в творчестве В.Я. Брюсова и Д.С. Мережковского.....161

Стрельцов В.И.
Предшественники и современники В.Г. Белинского о сравнительно-типологических связях национальных литератур.....167

Стрельцов В.И.
Соотношение теоретико-эстетических позиций В.Г. Белинского и западноевропейских философов в решении проблем исторической компаративистики.....173

Тарасова М.Р.
Диалогические возможности личных местоимений в предметно-эстетической критике И.А. Ильина (на материале статьи «О музыке Метнера»).....180

Федосеева Е.Н.
Оппозиция «свои» – «чужие» в диалогах поэтов пушкинского круга.....187

Публикации аспирантов

Конюхова Л.Н.
Палиндром как инвариант моностиха в русской поэзии XX века.....194

Печенкина А.О.
Принципы «театра панпсихе» в драме Л.Н. Андреева «Екатерина Ивановна».....201

Югай О.В.
Жанр стихотворной новеллы XX века: от поэзии Игоря Северянина к творческим экспериментам Вадима Степанцова 205

Рецензия на книгу: В.В. Щеулин. Русский язык в историческом, социолингвистическом и этнокультурном аспектах рассмотрения. I. – Липецк: ЛГПУ, 2007. – 500 с.....215

РУССКИЙ ЯЗЫК

Е.Н. Бекасова,
Оренбургский государственный
педагогический университет

СТАТУС РЕФЛЕКСОВ *dj В ПАМЯТНИКАХ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА РУССКОГО ИЗВОДА

Аннотация

В статье излагаются основные результаты исследования специфики реализации праславянских рефлексов в важнейших памятниках церковнославянского языка русского извода, гомогенный фон которых нарушается наличием в них восточнославянского **ж**<*dj, и указываются причины устранения гетерогенности в результате определённой направленности никоновской книжной «справы».

Elena Bekasova
Orenburg state pedagogical university

THE STATUS OF REFLEXES *DJ IN LITERARY MONUMENTS IN OF CHURCH SLAVONIC LANGUAGE OF RUSSIAN RECENSION

Abstract

The article states the basic results of research of realisation of pre-slavonic reflexes in the major monuments in Church Slavonic language of the Russian recension which homogeneous background is broken by presence of Eastern slavic **ж**<*dj the reasons of elimination of heterogeneity as a result of a certain orientation Nicon's book editings article also specifies.

Проблема сосуществования генетически неоднородных элементов в истории русского языка не может быть решена без учёта особенностей реализации праславянских по происхождению рефлексов в церковнославянских текстах, постулируемых как гомогенные.

В связи с этим основными источниками лингвистического исследования были выбраны списки различной временной и территориальной принадлежности важнейших памятников церковнославянского языка – Евангелия, Минеи, Псалтири, Апостола. О важности данных памятников свидетельствует тот факт, что «каждая церковь должна иметь Апостол, Евангелие, Служебник, Псалтирь, Октоих» [1]. Евангелие и Псалтырь вообще имели особое положение в русской культуре, так как не только ежедневно читались в церкви, но и по ним шло организованное обучение, цитаты из них образованные люди знали наизусть. По классификации Н.И. Толстого, данные памятники в иерархии жанров входят в первую рубрику, которая занимает «самое высокое, домини-

рующее положение как наиболее сакральная и авторитетная по отношению к другим рубрикам и текстам» [2].

Проникновение инославянских элементов в такие тексты «священного писания», безусловно, ограничивалось их стабильностью. Однако в списках важнейших памятников церковнославянского языка русского извода на фоне генетической однородности, представленной южнославянскими рефлексами сочетаний с плавными *tj, *kt, *gt, выделялись восточнославянские элементы. Как правило, «слабым звеном» становились рефлексы *dj, в реализации которых уже древнейшие датированные списки авторитетных памятников фиксируют две диаметрально противоположные тенденции: то с сохранением исходного рефлекса (89%) в Остромировом Евангелии 1056 г., то с последовательной его заменой восточнославянскими рефлексами (93,3%) в Новгородских Минеях 1095–1097 гг. [3]

Эти две тенденции реализации рефлекса *dj, идущие от рукописей старшей поры, сохраняются в последующих рукописях и в старопечатных книгах. В частности, в Киевской Псалтири 1397 г. альтернанты **жд** составляют 2,24% всех случаев реализации *dj, тогда как в Острожской Библии 1581 г. – 76,65%. Однако со второй половины XVII в. усиливается одна из выявленных тенденций, так как в старопечатных книгах никоновской редакции количество южнославянских по происхождению рефлексов *dj в среднем возрастает до 73, 56%, причём новый уровень гомогенности в Апостоле 1655 г. и особенно Псалтыри 1658 г. настолько высок, что это требует особого рассмотрения.

Известный теолог А.В. Карташев отмечает, что «в ходячей традиции немаловажное дело для русской церкви – исправление книг и обрядов обычно связывается с именем патр. Никона» [4], хотя унификация текстов богослужебных книг назрела уже в середине XVI в., что было документально зафиксировано одним из авторитетнейших собраний иерархов русской церкви – Стоглавым Собором 1551 г. [5] Но в дониконовский период этот процесс в основном ограничивался или простой перепечаткой книг Киевской типографии (например, издание в 1645 г. краткого Катихизиса Петра Могилы), или исправлением с оглядкой на «южнорусские образцы» [6].

Когда в 1652 г. из Дворцового Приказа Никон в своё ведение взял весь Печатный Двор, начался новый этап исправления книг, при этом поспешность и решительность Никона в этом чрезвычайно важном деле и породили раскол русской церкви. Однако в этом процессе необходимо расставить акценты, как это сделал известный теолог А.В. Карташев, утверждающий, что «правка книг была привычна москвичам, а реформа обрядов переживалась как гром из ясного неба. К ошибкам в тексте книг привыкли, это понимали (выделено нами. – Е.Б.)» [7]. Главным было то, что при каждом новом переиздании привлекалась к сравнению новая группа древних текстов, в результате чего возникали многочисленные разночтения. Следует отметить, что русская церковная власть так и не нашла единый руководящий принцип правки книг не только после Никона, но и после осуждения старообрядцев собором 1667 г. В частности, на этом соборе одобрение очередного издания Служебника к печати свелось к простому пресечению дальнейших исправлений: «**Аще и ангел будет глаголати что ино, да не имате ему вѣры**» [8]. Именно эта разноголосица и не устраивала ревнителей древнего благочестия: «**А яже издаде он, Никон, пакостник и живаго сатаны сын, новыя своя служебники еретическия, не токмо сходны**

с прежними святых отец, но и со своими у него первыми выходы разногласны и несходны» [9].

Иными словами, главной проблемой книжной справы была унификация печатных текстов, которые не должны были различаться прежде всего в своих изданиях. В связи с этим необходим был выбор между двумя сложившимися тенденциями в реализации рефлексов праславянских сочетаний *dj – с преобладанием или **ж**, или **жд**, причём он мог быть решён в любую сторону. Однако усилившееся к реформам Никона влияние львовской, виленской, киевской печатной продукции склонялось в сторону южнославянского по происхождению рефлекса *dj. Достаточно в этой связи назвать грамматические труды Лаврентия Зизания, Памвы Берынды, Мелетия Смотрицкого, которые определенно свидетельствуют о тенденции усиления в «славенском речении» альтернанта **жд**.

Уже в Лексиконе Памвы Берынды [10] лексемы с гетерогенными альтернантами **ж** и **жд** в большинстве случаев осмысляются как принадлежащие разным языковым системам: **заграждение – загороженье, заграждаю – загорожую** (с. 40), **отвождение – отвоженье** (с. 145), **обхожду – вколо обхожу** (с. 149), **осуждаю – осужаю, отсуждение – отсуженье** (с. 154) и под.

В грамматике Л. Зизания [11] в примерах используются лексемы только в южнославянской огласовке: **наслеждаю, прихождаю** (с. н7є), **прихожду, раждаю** (с. н7є), **возвождү, рождү, сүждү, въсхождү** (с. в7є), **трүждается** (с. п7) и др.

Более значимым является факт преобладания альтернанта **жд** в московском издании грамматики М. Смотрицкого [12], ставшей своеобразным грамматическим плаццдармом для всей печатной московской продукции, например: **осүждение** (с. л7ѕ), **понүждаютсѧ** (с. л7ѳ), **рождү** (с. с7л), **прехождением** (с. з7), **беждаше** (с. з7і), **наслаждаѧсѧ** (с. є7і), **рождению** (с. и7і) и др. Однако здесь также фиксируются формы с **ж** как реальность канонических текстов, например: **потрүженым** (с. є7і), **осүжати** (с. к7 об.), **үтвержаемых** (с. є7і), **отхожю** (с. н7г), **врежю** (с. т7г), **рожю** (с. с7л), **вожю** (с. н7є) [13] и др.

Исключительность или предпочтительность южнославянского по происхождению рефлекса *dj в продукции «киевской школьности» – явление чрезвычайно важное, так как в церковнославянском языке Московской Руси, не подвергшемся подобного рода грамматической обработке, генетически неоднородные рефлексы *dj имели одинаковый статус. Более того, традиция употребления восточнославянского по происхождению альтернанта **ж** была достаточно сильной: альтернант **ж** не расценивался как отступление от нормы, более того – он в одинаковой степени с альтернантом **жд** был освящен употреблением в богослужебных текстах и в ряде случаев ему предпочитался. Именно поэтому отвергавшие официальную книжность раскольники, для которых «все формы языка, вплоть до грамматических категорий, понимались и толковались как отображение религиозных сущностей и церковных догматов» [14], в равной степени используют гетерогенные рефлексы *dj, несмотря на то, что они встречались в наиболее важных текстах, служащих поводом для споров никониан и старообрядцев, например в Символе веры: **отца нерождена** (и **нерожена**), **сына рождена** (и **рожена**), **Бог Отец нерожден** (и **нерожен**), **от него раждается** (и **ражается**), **дүхү исхожденье** (и **исхоженье**) и т.д.

Показателен в этом отношении своеобразный лингвистический анализ текста из Символа веры, произведенный идеологом раскольников протопопом Аввакумом: «**Праведно бо есть пети и славити глаголати против печати: Бог, а**

не Бого, Спас, а не Спасо, рождается, а не рождаетеся, грядеть же, а не идете же ко крещению. Кая полза многобожие вводити, – рожаетеся, – в знаменных: али не един Христос родися?» [15]. Все внимание «огнепального протопопа» обращено на окончания ед. ч./мн. ч., несущие основную смысловую нагрузку – «введение многобожия», но наличие в непосредственной близости морфонологических дублетов в данном тексте нельзя расценивать как описку, так как, с одной стороны, весь пафос «лингвистического разбора» был направлен против разночтений, возникших в результате книжной «справы», а с другой стороны, допущенные Аввакумом разночтения были именно допустимыми в связи тем, что гетерогенные рефлексы *dj были нормой употребления в богослужебных текстах и, следовательно, фиксация того или иного по происхождению рефлекса не могла быть тем «азом», за который **«нам всем православным подобаєт ѵмирати»** [16].

Анализ особенностей реализации рефлексов *dj в Псалтири 1649, 1658 гг., в Апостоле 1655 г. убедительно показывает, что печатные книги периода церковных реформ тиражировали новую норму – южнославянский по происхождению рефлекс **жд** – в тех системных глагольных образованиях, которые ранее реализовали смешанный тип альтернации. Учитывая, что круг употреблявшихся в данных памятниках лексем с рефлексом *dj достаточно широк, можно утверждать, что формирование южнославянского по происхождению типа чередования происходит во второй половине XVII в. Судьба смешанного типа чередования, активно функционировавшего в церковнославянском, восточнославянском и русском литературных языках была предрешена реформами Никона, соединенными с исключительно широкими возможностями книгопечатания.

Однако в целом, не только в изданиях, переживших правку в период реформ Никона, но и кодифицированных в XVIII–XIX вв. текстах Библии нет единого гомогенного фона. При реализации генетически неоднородных рефлексов *dj в системных образованиях прослеживается определенная закономерность – стремление к гомогенности оформления однокорневых слов. Гетерогенность характерна чаще всего для корней, **-род-, -ход-, -вод-, -суд-, -блуд-**, например в Апостоле 1638 г. [17]: **восхожаста во сѣмтилище** (с. є7) – **восхождаста во сѣмтилище** (с. к7 об.); **осѵжение сѳщиимъ** (с. рл7ѕ) – **или осѳждам брата своєго** (с. п7є об.) и под.

На фоне преимущественного использования **жд**<*dj или вариативности генетического оформления выделяется корень *(ѵ)***тверд-**, образования которого в абсолютном большинстве случаев реализуют восточнославянский по происхождению альтернант, что было также характерно для памятников древнерусского литературного языка различных типов. Закономерно, что именно образования от данного корня нарушают гомогенность и в более поздних изданиях, например в Псалтири 1743 г. [18] **оутверженіи силы єго** (с. р7н). Надо отметить, что именно на данные формы сетует Б.А. Успенский: «после второго южнославянского влияния в соответствии с общеславянским *dj может регулярно писаться не **ж**, а **жд** ...Старое правописание с **ж** может, однако, спорадически встречаться в церковнославянских текстах вплоть до настоящего времени. Так, в современных богослужебных книгах мы встречаем **Таинство странное вижѳ** (вместо **виждѳ** – Рождественский ирмос), **Хвалитє єго во оутверженіи силы єгѡ** (вместо **оутвержденіи** – стих на хвалитех)» [19]. Показательны в этих примерах и форма 1 лица единственного числа настоящего (простого будуще-

го) времени, изначально более лояльная к восточнославянскому по происхождению рефлексу, и образования от корня, стремящегося также к реализации в финали **ж**<*dj. Кроме того, наши исследования печатных изданий авторитетных церковных книг свидетельствуют о том, что говорить о регулярной мене **ж** на **жд** ранее середины XVII в. нельзя, так как в отдельной рукописи или печатном издании реализовалась одна из двух возможных тенденций – с преобладанием или **ж**, или **жд**.

Анализ особенностей реализации рефлексов праславянских сочетаний в важнейших памятниках церковнославянского языка XI–XVII вв. позволяет сделать следующие выводы:

I. Для отдельных рукописей и выпусков старопечатных книг церковнославянского языка характерно стремление к гомогенности в реализации рефлексов праславянских сочетаний, например: **ако рѣша врази мои мнѣ. и стрѣгоущеи дш7ю мою свѣщаша вкоупѣ. гл7ще** Киевская Псалтирь [20] (с. 95); **и ненавидѧщѧѧ его побеждоу ни привреждоу во истинѣ моеи** Псалтирь 1649 г. [21], (с. ꙃ7в) и под.

Генетическая гомогенность во многом определяется реализацией рефлексов дифтонгических сочетаний с плавными и *tj в абсолютном большинстве случаев в южнославянском обличии. Генетически соотносительные элементы исключительны и мотивируются, как правило, экстралингвистическими причинами.

II. В исследованных памятниках церковнославянского языка отчетливо прослеживаются различия в судьбе рефлексов, ярко представляющих старославянскую традицию, и рефлексов *dj, реализация которых во многом соответствует картине их функционирования в памятниках древнерусского языка.

Именно рефлексы *dj нарушают генетическую гармонию текста, например: **и тела одежда ...нетрꙋжаютсѧ ни прѧдꙋтъ ходѧтъ въ одежахъ овча**[х] **преже сꙋть влъци хыщници** Острожская Библия [22] (с. м7а/м7аоб.); **да облекоутъсѧ облагающии мѧ въ срамъ и одеждꙋтъсѧ □ко одежею стоудомъ своимъ** Псалтирь 1649 г. (с. о7н) и под.

Уровень соотношения южнославянских и восточнославянских по происхождению рефлексов *dj устанавливается к XVIII–XIX вв. и колеблется в пределах соотношения 9:1, тогда как в более ранних памятниках возможен разброс соответственно от 9,5:0,5 до 0,2:9,8.

Кодификация преимущественного использования **жд** в важнейших памятниках церковнославянского языка, помноженная на прогресс в издательском деле, привела к формированию южнославянского по происхождению типа чередования и в церковнославянском, и русском литературных языках.

Таким образом, во второй половине XVII в. в церковнославянских текстах восстанавливается идентичность реализации всех групп праславянских рефлексов в южнославянских по происхождению обличии, что приводит к их гомогенности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тихомиров Н.М. Культурная жизнь в России XIV–XVI вв. – М., 1967. – С. 133.

2. Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. –

М., 1988. – С. 169.

3. Подробнее об этом см.: Бекасова Е.Н. О соотношении генетически неоднородных элементов в древнерусских памятниках XI в. // Проблемы славянской филологии: Материалы науч. конф. – Самара, 1996. – С. 45–50; Она же. Соотношение восточнославянских и южнославянских по происхождению элементов в памятниках церковнославянского языка // Вестник / научный журнал ОГПИ. Филологические науки. Актуальные проблемы современной филологии. – Оренбург, 1996. – № 4. – С. 5–16.

4. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. В 2-х т. – Т. 2. – М., 1993. – С. 183.

5. В «Стоглаве», судя по нашим исследованиям опубликованной в 1862 г. Казанской Духовной Академией «господствующей» редакции памятника, имеется большое количество лексем с ж<*dj (около 57%).

6. Подробнее см.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. – Т. I. – Сергиев Посад, 1909; Он же. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. Сергиев Посад, 1912; Он же. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов: Время патриаршества Иосифа. Сергиев Пасад, 1913; Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. – С. 94–132; Устюгов Н.В. Русская церковь в XVII в. // Религия и церковь в истории России. – М., 1975. – С. 140–159.

7. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. – С. 155.

8. Н.Ф. Каптерев в своей работе «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович» (Т. I. – Сергиев Посад, 1909) отмечает, что при Никоне было «6 выходов Служебников и все они разнятся» (с. 241), потому что «справщики проверяли переводы венецианских изданий ныне по одним древним спискам, завтра по другим, ныне находили нужным внести в исправленную книгу из древних списков одно, а завтра другое» (с. 244).

9. Памятники старообрядческой письменности. – СПб., 1998. – С. 305.

10. Лексикон словенороський Памви Беринди / Подг. тексту В.В. Німчука. – Київ, 1961.

11. Зизаний Лаврентий. Грамматика Словеньска: Факсимильное воспроизведение / Підг. факсим. видання В.В. Німчука. – Київ, 1980.

12. Смотрицкий Мелетий. **Грамматика Словенскиѧ правилное Συнтагма.** – М., 1648.

13. Следует отметить, что большинство восточнославянских по происхождению альтернантов (91,5%) встречается в 1 лице единственного числа настоящего (простого будущего) времени.

14. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. / Изд-е 2-е, перераб. и доп. – М., 1938. – С. 33.

15. Сочинения Аввакума // Русская историческая библиотека, т. XXXIX. Памятники истории старообрядчества XVII в. – Кн. I. – В. I. – М., 1927. – С. 896.

16. Подробнее об этом см.: Бекасова Е.Н. Своеобразие языкового пуризма старообрядцев // Язык. Человек. Картина мира: материалы Всероссийской науч. конф. – Ч. I. – Омск, 2000. – С. 62–65; Она же. Синдром «единый аз» и творчество старообрядцев // «Наши» и «чужие» в российском историческом сознании: Материалы Международной науч. конф. – СПб., 2001. – С. 117–120; Она же. Гетерогенность элементов через призму языкового пуризма старооб-

рядцев // V Житниковские чтения. Межкультурные коммуникации в когнитивном аспекте. – Челябинск, 2001. – С. 116–122.

17. Апостол (Издание Василия Бурцева). – М., 1638.

18. Псалтирь с восследованием. – М., 1743.

19. Успенский Б.А. История русского литературного языка. – М., 2002. – С. 311–312.

20. Киевская Псалтирь 1397 г.: Факсимильное воспроизведение. – М., 1978.

21. Псалтирь с восследованием. – М., 1649.

22. Острожская Библия (Издание Ивана Федорова). – Острог, 1580. (Экз. библиотеки Саратовского ун-та, 39 (2)).

Н.С. Ганцовская,
Костромской государственный университет
им. Н.А. Некрасова

КОСТРОМСКОЙ АКАЮЩИЙ ОСТРОВ КАК ОБЪЕКТ АРЕАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Аннотация

Для точной ареалогической характеристики диалекта необходимо пользоваться не только методами диалектологического, лингвогеографического и ареалогического исследования, но руководствоваться также и принципами типологической характеристики сравниваемых единиц, вычленять в них общие, функционально значимые элементы, т. е. универсалии, находить различия и определять соотношение между ними. В типологии ареалов Костромской акающий остров можно определить как инновационное явление в составе костромских говоров, по форме – островное, по функциональным качествам – это говоры смешанного типа с севернорусской основой и южнорусским наслоением.

N. Ganstovskaya

KOSTROMA ISLAND OF AKANJE AS AN OBJECT OF AREALOGICAL AND TYPOLOGICAL STUDY

Abstract

To characterize a dialect arealogically, it is necessary to use not only the methods of dialectological, linguageographical and arealogical research, but also to follow principles of typological characterization of the compared units, to single out their common, functionally important features, i.e. universalities, to expose the differences and to bring them into correlation. In the typology of areas Kostroma island of akanje can be defined as an innovational phenomenon among Kostroma dialects, an island in its form, and functionally these are dialects of mixed type with Northern-Russian base and Southern-Russian later development.

Объектом исследования ареалогии является ареал, некая единица определённой конфигурации в системе говора или языка, имеющая также определённые временные рамки, характеризующаяся как лингвистическими, так и внелингвистическими факторами и противопоставленная окружающим ареалам [1: 47]. Ареальные исследования в языкознании и этнографии на материале русского языка в отечественном языкознании начались в середине прошедшего столетия и во многом были стимулированы деятельностью таких учёных, как В.М. Жирмунский, Р.И. Аванесов, Н.И. Толстой, М.А. Бородина, А.И. Домашнев, И.А. Попов, А.С. Герд и др., научными собраниями по вопросам ареалогии, этнолингвистики и лингвогеографии в России и за рубежом. И.А. Попов под ареалом понимает точное указание границ распространения – изоглосс – какого-либо языкового явления, в том числе и лексического, «поскольку такой подход способствует наиболее оптимальному решению проблем языка в связи с историей народа» [2]. Ареалогия включает в себя диалектологические, лингвогеографические и ареалогические исследования: «Лингвогеография в

качестве методики и теории создания и чтения атласов возникла на базе полевой диалектологии, имея с ней единый объект исследования – исторические и современные диалекты» [1: 147-148]. Лингвогеографический материал включается как составная часть в ареалогические исследования без противопоставления его диалектному: «В диалектологии функциональны только локальные различия. В ареалогии лингвистическое пространство выступает в наиболее цельном и обобщённом виде, выявляя отсутствующие структуры общеязыкового значения» [1].

Для точного определения места того или иного языка или диалекта в системе языков или в системе диалектов одного языка необходимо руководствоваться также принципами типологической характеристики сравниваемых единиц, вычленять в них общие, функционально значимые моменты, т. е. универсалии, находить различия и определять соотношение между ними [3]. Выявление универсалий направлено на изучение закономерностей общего характера, определяющих «типологические существенные связи между структурными единицами языка» [4]. Они объединяют общие свойства разных систем в экстернолингвистическом и интралингвистическом планах, генетически и функционально самостоятельных, но в приложении к определённому сегменту языка способных функционировать как единое целое. Таковы универсалии, присущие всем диалектным объединениям данного языка (например, русского), и универсалии, порознь присущие его крупным и более дробным подразделениям, наречиям, группам говоров, диалектным зонам и др., и нормально функционирующие в единстве (в определённом сочетании) в говорах смешанного типа, таких, как рассматриваемые нами говоры Костромского акающего острова (КАО).

Говоря об основах типологии языков как об особой кодовой системе, когда все языки мира выполняют те же самые функции, Тадеуш Милевский разъясняет, что они выполняют её при помощи разных средств, которые частью выступают в одних языках, частью – в других. Эти средства разделяют на присущие всем языкам – примарные черты, и присущие лишь некоторым из них – секундарные. Примарные черты создают общую, рамочную модель языка, не способную функционировать. Она должна быть дополнена, достроена секундарными чертами, которые являются разными в разных языках. Однако в разных языках разные средства могут выполнять ту же самую функцию. Функция определяется постоянством отношений того или иного элемента языка к другим элементам системы и отношением к его частотности, употребительности в языке (фреквенции). Когда описательное языкознание установит функции всех элементов языка, все отношения между ними, т. е. структуру языка, тогда начинается типологическое исследование языков, сравнение их существенных элементов. Типологическое языкознание, будучи продолжением описательного языкознания, должно, как и оно, опираться на понятие лингвистической функции. Типологическое сравнение – это сравнение функций элементов языка, их отношений к иным элементам той же самой системы: «Pojęcie funkcji musi być tu podstawą pojęcia identyczności. Typologicznie identycne są zatem te elementy dwóch języków, które – każdy w swym systemie – mają tę samą funkcję lingwistyczną, tj. zajmują to samo mejsce w tekście i systemie i wykazują tu i tam tę samą frekwencję» [5].

В типологическом плане могут сравниваться не только языки, но и под-

системы языков – объединение говоров, сами говоры, элементы этих говоров. Б.А. Успенский о членении системы языка на подсистемы писал следующее: «Система языка (представленная на некотором языковом уровне) распадается на совокупность подсистем, которые находятся между собой в тех или иных отношениях <...> каждая подсистема задаётся в определённых признаках, любой из которых может принимать те или иные значения; как сами признаки, так и диапазон их значений могут быть специфичными для данной подсистемы» и что «...один из актуальных типологических подходов призывает сделать непосредственным объектом типологического сравнения языков именно подсистемы, а не общие системы языков» [6]. По его мнению, «можно вычленять внутри данной подсистемы всевозможные более мелкие подсистемы (которые могут находиться между собой в различных отношениях)» [6]. Это могут быть относительно замкнутые системы или системы, находящиеся в отношениях пересечения или характеризующиеся отношением включения и т. д. Если различные подсистемы имеют общие признаки, их можно сравнивать друг с другом.

Типологии русских говоров на всём пространстве их функционирования в пределах территории, очерченной границами сводной карты Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ), посвящено фундаментальное исследование Н.Н. Пшеничновой, обобщённое в монографии «Типология русских говоров» [7]. В истории изучения русских говоров существует известное количество работ, где наряду с принципами ареального и лингвогеографического исследования постулируется и типологический подход. Здесь приоритет по важности поставленных задач, общему количеству исследований и инициатив проведения научных собраний принадлежит, пожалуй, Н.И. Толстому. Назовём некоторые его работы, связанные с типологической характеристикой диалектного материала: «Можно ли представить структурную типологию лексики славянских языков в лингвогеографическом плане?», «Из опытов типологического исследования славянского словарного состава», статьи 1 и 2, [8] и др. В плане типологического изучения языков и диалектов пионерской вехой в России явились конференции 60-х и 70-х гг. по проблемам лингво– и этногеографии и ареальной диалектологии», организованные по инициативе Н. И. Толстого. М.А. Бородина и И.А. Попов, авторы обзора материалов научной конференции под эгидой ЛО ИЯ АН СССР и Института этнографии АН СССР «Ареальные исследования в языкознании и этнографии» (Л.,1971), отметили ряд проблем типологии славянских языков и диалектов, которые были темой обсуждения на этом собрании. Так, в докладе Н.И. Толстого были указаны три фактора, которые следует учитывать в лингвогеографии: 1) внутрилингвистический, 2) «экстернолингвистический» (т. е. внешняя сторона языка, контактирование диалектов и т. п.) и 3) экстралингвистический, в число которых входят этнографические факторы. С учётом этого необходимо разработать типологию материальной и духовной культуры в лингвистических целях. Повышенные требования теоретического плана (структурно-типологические, лингвогеографические и др.) побуждают к более тщательному, полному и планомерному сбору материала. Т.В. Назарова (Киев) обратила внимание на то, что «Проблема типологии ареалов возникает в связи с возможностью спонтанного развития в различных, практически не связанных взаимовлиянием частях диалектного континуума идентичных либо в каком-то отношении сходных элементов,

образующих типологически подобные ареалы или ареальные оппозиции» [9]. По её мнению, задачи типологии диалектных ареалов можно было бы сформулировать как сопоставление однозначных ареалов с точки зрения существования адекватных (неадекватных) ареалов в тождественных (нетождественных) ареальных ситуациях. В рецензии отмечается, что при обсуждении доклада Т.В. Назаровой В.Н. Никонов (Москва) указал на то, что типология лингвистических ареалов не может быть единой и что должно быть несколько «неизоморфных» систем в зависимости от уровня противопоставления.

Б.А. Серебряников, рассматривая природу лингвистических универсалий, которые лежат в основе типологического описания языков, отмечает, «что все сколько-нибудь значительные открытия в индоевропеистике фактически основывались на использовании диахронических универсалий» и что «поиски универсалий в современном языкознании исторически продолжают линию, начатую Шлейхером» [10: 8-9]. Давая теоретическую оценку имеющимся концепциям универсалий в современной лингвистике и приводя многочисленные доводы в пользу тех или иных взглядов на природу универсалий, Б.А. Серебряников солидаризируется с точкой зрения Р.О. Якобсона по поводу того, что «...синтагматический аспект языка являет собой сложную иерархию непосредственных составляющих, точно также и аранжировка элементов в парадигматическом аспекте характеризуется сложной многоступенчатой стратификацией», а также с тем, что «типологическое сравнение различных языковых систем должно учитывать эту иерархию. Любой произвол, любое отклонение от данного и реально прослеживаемого порядка делает типологическую классификацию бесплодной» [11]. Б.А. Серебряников, критикуя положения о лингвистических универсалиях, выдвинутые в фундаментальном труде Дж. Гринберга, Ч. Остгуда, Дж. Дженкинса «Меморандум о лингвистических универсалиях» [12], полагает, что «основу лингвистической универсалии составляет единообразие языкового, а не понятийного признака» и даёт следующее определение лингвистической универсалии: «Языковая универсалия – это единообразный, изоморфный способ выражения внутрисистемных корреляций языковых элементов или однотипный по своему характеру процесс, дающий одинаковые результаты, проявляющиеся с достаточно высокой степенью частотности в различных языках мира» [10: 5]. По его мнению, «принцип единообразия должен распространяться и на семантические универсалии (например, связь названия «устье реки» со словом «рот», наблюдаемая во многих языках). Все явления, обладающие признаком всеобщности и абсолютности распространения, в том числе и универсальные «понятийные категории», при таком определении исключаются из числа универсалий. Лингвистические универсалии должны изучаться как явления особого рода [10: 5]. М.М. Маковский, в целом подчёркивая значимость четырёхтомного сборника “Universals of human language” (ed. By I. H. Greenberg, assoatite editors – Ch. A. Ferguson, E.A. Moravcsik. Stanford University Press. 1978), где собран, описан и обобщён большой фактический материал разноструктурных языков мира, отрицательной стороной ряда работ сборника считает то, что «некоторые из приведённых теоретических тезисов вообще трудно назвать универсалиями или речь идёт об общеизвестных фактах» [13: 154]. При этом он полагает, что сборник «является одним из шагов вперёд на трудном пути познания комбинаторных возможностей и закономерностей, степени близости, совместимости или несовмести-

мости различных типов языковых структур <...> и «безусловно, внесёт свой вклад в дальнейшую разработку лингво-типологических проблем» [13: 154]. Смешение категорий и приёмов лингвистики с признаками, присущими объекту этой науки, в «Меморандуме» Дж. Гринберга, Ч. Осгуда, Дж. Дженкинса, также отмечает и М.М. Гухман. Она полагает, что «универсалии – это прежде всего онтологические категории и свойства, присущие всем или большинству языков», так как в универсалиях раскрываются некоторые общие, сущностные признаки изучаемых объектов [14: 34] и что «приёмы индуктивного и дедуктивного изучения универсалии чередуются на разных стадиях изучения универсалии» [14: 36].

В подразделениях русского языка, севернорусском и южнорусском наречиях, среднерусских говорах, группах внутри них, различных зонах можно выделить общие элементы, обеспечивающие их типологический статус в рамках единого общенационального языка, т. е. универсалии. По мере дробления языка они превращаются во всё более обобщённые интегрирующие признаки, сочетаясь же с дифференцирующими, индивидуальными признаками определённой единицы языка, отграничивающими её от других единиц разных уровней этой и других языковых систем, они обеспечивают её своеобразие как ареальной единицы. Типология ареальной единицы, в отличие от единицы диалектного членения, зависит не только от тех дифференциальных признаков, которые её характеризуют, но и от наличия негативных признаков, которые также отличают её от территорий со схожими признаками. При анализе исследуемых нами говоров Костромского акающего острова (КАО) по данным карт Диалектологического атласа русского языка, Лингвистических карт Г.Г. Мельниченко и Лексического атласа русских народных говоров в сравнении с типологически сходными говорами разных территорий мы выявляли не только общие элементы лексики, но и обращали внимание на отсутствующие лексемы сравниваемых территориальных единиц. Вслед за М. А. Бородиной мы используем термины позитивные и негативные изоглоссы, понимая под первыми те, которые «выделяют диалектное явление как таковое», под вторыми – «отсутствующее явление, также не имеющее места в сравниваемых ареалах» [1: 50]. Полагаем, что это значимо для ареальной характеристики изучаемой нами территории КАО в плане её типологических особенностей [15].

В типологии ареалов КАО можно определить как инновационное явление (до начала XVII в. его, как предполагают, не было), по местоположению – в составе костромских говоров северновеликорусского наречия, по форме – островное, инстратное включение. Данный ареал в основном выделяется по явлениям фонологического уровня (безударного вокализма), на других уровнях, в том числе и лексическом, его специфика как островного образования выглядит в значительной степени нейтрализованной. Изоглоссы аканья и яканья сплошь покрывают территорию острова, явления же других уровней, в первую очередь интересующие нас лексические, многочисленны и имеют на территории ареала самую разную конфигурацию: прерывистую, сплошную, точечную и др. Это относится не столько к изолексам, которые могут и не отличаться от соответствующих севернорусских изоглосс, сколько к изосемам (семантическим диалектизмам). На рассматриваемой нами территории изолексы, как правило, не являются «разделяющими», а продолжают севернорусские лексические изоглоссы. В противном случае, т. е. тогда, когда обнаруживаются южнорусские

изолексы и изосемы, как бы следы былого, их существование подчёркивают соответствующие южнорусские изофоны и изоморфы, т. е. фонетико-грамматический фон текста. На основе использования данных позитивных и негативных лексических изоглосс мы встретились с почти полным отмиранием южнорусских лексических черт говоров КАО и заменой их чертами севернорусской региональной речи. В отличие от конфигурации фонетических, грамматических и лексических изоглосс, окаймляющих границы лотарингского диалекта и совпадающих между собой, вычерченных М.А. Бородиной на основе атласа Жильерона, в нашем случае точно обрисовывают территорию КАО только фонетические изоглоссы [16]. Полагаем, что говоры КАО, переживая те же процессы, что и окружающие их говоры и ни в коем случае не являясь местным койнэ, идут по пути превращения в «региональный язык» (по терминологии М.А. Бородиной [17]), промежуточное состояние между диалектом и литературным языком (в других терминологиях – полудиалект, региолект).

Аканье исследуемых говоров – инновационная особенность, которая появилась вследствие эволюции ряда южнорусских черт, внедрённых в иную, чуждую по многим параметрам севернорусскую лингвистическую и культурно-историческим среду. КАО одновременно можно рассматривать как элемент прерывного и непрерывного лингвистического пространства. Непрерывного – по отношению к массиву севернорусских говоров, частью которых являлись и являются говоры КАО (это их основа) и где южнорусские элементы почти совершенно нивелировались, кроме своего главного плацдарма – безударного вокализма. Прерывным же ареалом они являются по отношению к территории (или территориям, среднерусским, предположительно говорам Подмосковья, или южнорусским), от которых они географически совершенно отделены. Формирование данного ареала обусловлено конкретными историческими причинами. Будучи пространственным понятием, ареал КАО, помимо собственно лингвистических, имеет также и этнические, хронологические параметры. Само многовековое существование КАО в глубине севернорусского наречия – показатель того, что большие диалектные массивы способны к заимствованию при сталкивании с иными по структуре диалектами одного и того же языка. Здесь мы находим определённую опору в теоретических положениях Г. Шухардта, И.А. Бодуэна де Куртенэ, школы неолингвистов, разработках М.А. Бородиной и исследованиях отечественных лингвистов.

Исходя из известного положения о недопустимости классификации языков или деления диалектов по одному лишь признаку, пусть и наиболее сильному, мы полагаем, что для уточнения места КАО в диалектном членении русского языка необходим детальный анализ его говоров не только по фонологическому признаку, но и по признакам других уровней языка. В данном случае работа посвящена анализу лексики говоров КАО в типологическом аспекте.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бородина М. А. Ареалогия и некоторые вопросы романского языкознания // Вопросы языкознания. – 1975. – № 2.

2. Попов И. А. Методы исследования диалектной лексики (лексикографический и ареальные аспекты) // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования). – СПб., 2005. – С. 6–7.

3. Хокетт Ч.Ф. Проблема языковых универсалий // Введение в языкове-

дение: Хрестоматия / Сост. А.В. Блинов, И.И. Богатырёва, В.П. Мурат, Г.И. Рапова. – М., 2000. – С. 82–91.

4. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – Л., 1972. – С. 10.

5. Milewski Tadeusz. Językoznawstwo. – Warszawa, 1967. – С. 204–205.

6. Успенский Б.А. Отношение подсистем в языке и связанные с ним универсалии // Вопросы языкознания. – 1968. – № 6. – С. 3.

7. Пшеничнова Н.Н. Типология русских говоров. – М., 1996.

8. Толстой Н.И. Можно ли представить структурную типологию лексики славянских языков в лингвогеографическом плане? // Межвузовская конференция по исторической лексикологии, лексикографии и языку писателя, 27 сент. – 6 окт. 1961 г. Тезисы докладов. – Л., 1961. – С. 4–6. Он же. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава // Вопросы языкознания. – 1963. – № 1. Он же. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава. 2 // Вопросы языкознания. – 1966. – № 5 и др.

9. Бородина М.А. , Попов И.А. Ареальные исследования в языкознании и этнографии (Научная конференция в Ленинграде) // Советское славяноведение. – М., 1971. – № 5 (отдельный оттиск). – С. 121.

10. Серебряников Б.А. О лингвистических универсалиях // Вопросы языкознания. – 1972. – № 2.

11. Якобсон Р.О. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание // Новое в лингвистике, III. – М., 1963. – С. 98.

12. Гринберг Дж., Остгуд Ч., Дженкинс Дж. Меморандум о лингвистических универсалиях // Новое в лингвистике. V. – М., 1970.

13. Маковский М.М. [Рецензия].“Universals of human languag. 1–4” // Вопросы языкознания. – 1980. – № 6.

14. Гухман М.М. Лингвистические универсалии и типологические исследования // Универсалии и типологические исследования. Мещаниновские чтения. – М., 1974.

15. Ганцовская Н.С. Лексика говоров Костромского акающего острова: проблемы типологии. – СПб. – Кострома, 2007. – С. 73-95.

16. Бородина М.А. Проблемы лингвистической географии (на материале диалектов французского языка). – М. – Л., 1966. – С. 3-5.

17. Бородина М.А. Соотношение понятий «диалект» и «региональный язык» // Лексика и фразеология севернорусских говоров. – Вологда, 1980. – С. 9.

А.Г. Гладышев,
Московский педагогический
государственный университет

СТАТИЧНОСТЬ И ДИНАМИЧНОСТЬ В ГЛАГОЛАХ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЯ

Аннотация

Статичность и динамичность как явления языковые охватывают всю глагольную лексику. Глаголы различных способов действия имеют значение статичности и динамичности. Семантика глаголов, словообразовательные, синтаксические средства актуализируют эти значения. Статика и динамика выявляется не только в глагольных группировках, объединенных характером протекания действия.

STATIC AND DYNAMICS IN VERBS OF SOME WAYS OF ACTION

Aleksey Gladyshev
Moscow Pedagogical State University

Abstract

Static and dynamics as linguistic phenomena cover the whole field of the verb vocabulary. Verbs of different ways of action have the meaning of static and dynamics. Semantics of verbs, word building and syntactic devices make actual these meanings. Static and dynamics are revealed not only in groups, joined by the character of the action progression.

Изучение вида и способов глагольного действия имеет длительную научную традицию. В современной русистике представлено несколько классификаций способов глагольного действия. В работах Ю.С. Маслова, А.В. Исаченко, А.В. Бондарко, М.А. Шелякина и ряда других ученых тонко и глубоко описаны различные способы протекания действия. Также классификация способов глагольного действия отражена в Русской грамматике 1980 (2005). Вместе с тем, несмотря на длительную научную традицию в изучении этого вопроса, он продолжает оставаться дискуссионным и в настоящее время: различные подходы русистов к пониманию самой природы способов глагольного действия приводят к их различной трактовке. Способы действия рассматриваются как семантические (и лишь отчасти словообразовательные) и как словообразовательные (и лишь отчасти семантические) группировки глаголов. Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрение способов глагольного действия в большей степени как словообразовательной группировки представляется излишне формальным, так как семантическая сторона явления отодвигается на второй план. Существуют многочисленные примеры того, что без учёта семантической стороны зачастую вообще невозможно определить принадлежность слова к тому или иному элементу категории. Такие глаголы, как *сидеть, висеть, стоять*, не имеющие формальных морфемных показателей могут относиться к определенному способу действия при наличии достаточных семантических условий.

Русская грамматика определяет способы глагольного действия как «такие семантико-словообразовательные группировки глаголов, в основе которых лежат формально выраженные модификации (изменения) значений беспрефиксных глаголов с точки зрения временных, количественных и специально результативных характеристик» [1]. При таком понимании способов глагольного действия они должны быть обязательно словообразовательно характеризованными. В специальной литературе выделяются непоследовательно характеризованные и нехарактеризованные способы глагольного действия. Определение характера протекания действия, обозначаемого глаголом без специального аффикса, основывается, на первый взгляд, лишь на семантике, но сопоставление с префиксальным образованием устраняет неопределенность значения или позволяет соотнести исходный глагол с глаголом другого способа действия. Так, «оттенок результативности в известной мере зависит от приставки. Семантика приставки может накладывать особый отпечаток на результативное значение» [2]. Например, глагол *лечить* обозначает действие, которое стремится к результату, а *вылечить* однозначно указывает на результативность действия. Глагол *глохнуть* относится к инхоативному способу действия, а *заглохнуть* – к общерезультативному. С глаголами, «имеющими значение постепенного перехода в какое-либо состояние», «соотносятся приставочные глаголы совершенного вида (обычно с приставками *по-*, *о-* или *за-*)» [3]. Приставка подчеркивает новое значение, но ее функция не ограничивается выражением лишь специального значения.

Выделенные в научной литературе способы глагольного действия можно охарактеризовать как группировки, члены которых имеют значение статичности и динамичности. Такая семантическая характеристика является более широкой, чем представленные классификации, и охватывает все глаголы. Обобщенный характер этих значений позволяет разделить глаголы как характеризованных, так и нехарактеризованных (а также и непоследовательно характеризованных) способов глагольного действия на два разряда: глаголы со значением статичности и динамичности. Как правило, префиксальный глагол чаще, чем беспрефиксный, обладает значением динамичности, и, наоборот, беспрефиксный чаще, чем префиксальный, – значением статичности. Такое деление не является строгим. Статика и динамика – явления противоположные, но взаимосвязанные. Динамика начала и конца действия соотносится со значимым отсутствием этого действия, до его начала или после его завершения. Статика осложняется возможностью перехода из одного состояния в другое. Сущность динамичности и статичности как явлений языковых проявляется по-разному. Динамичность по отношению к глаголу носит двоякий характер – «внутренний» и «внешний», на синтаксическом уровне происходит наложение, совмещение этих двух значений. Такое деление сопоставимо с квалификаторами и модификаторами глагольного значения. А.В Исаченко отмечает, что «в отличие от приставок-квалификаторов, характеризующих процесс с внешней стороны, приставки-модификаторы не затрагивают индивидуальной семантики исходного глагола <...>, если приставки-квалификаторы, сообщая исходному глаголу дополнительные, «внешне» уточняющие оттенки значения, способствуют семантическому и грамматическому отрыву приставочных образований от простого, бесприставочного глагола, то приставки-модификаторы, сосредоточивающие внимание на «внутренний» признак протекания процесса

(на один из его «фазисов»), не нарушают семантической (и грамматической) связи между исходным глаголом и его совершаемостями...» [4].

Дополнительные средства, характеризующие степень интенсивности протекания действия и значение статичности, обнаруживаются на синтаксическом уровне. Обстоятельства меры и степени, образа действия, отчасти времени увеличивают или снижают степень проявления интенсивности на уровне предложения. Такие «квалификаторы» позволяют охарактеризовать интенсивность как низкую, среднюю или высокую.

Под статикой понимается 'отсутствие движения, неподвижность; отсутствие развития, неизменность', а под динамикой – 'ход развития, изменения какого-либо явления' или 'движение, действие, развитие' [5]. Применительно к глаголам статика характеризуется такой чертой, как стабильность, а динамика – нарастанием или убыванием количественно-качественных характеристик.

Среди нехарактеризованных способов глагольного действия выделяется статальный способ действия. «Обозначается неподвижная длительность, не связанная с перспективой развития, с какой-либо целью, с количественными или качественными изменениями» [6]. Из этого определения следует, что глаголы, входящие в эту группировку, обладают значением статичности. Архисемой глаголов данного способа действия является «отсутствие движения/стабильность, постоянство». ***Спать*** *не могу, есть не могу. Пить, правда, могу; Лизанька и Эраст Петрович* ***сидели*** *в первом купе на мягких стульях и* ***молчали****; В кобуре за спиной* ***висел*** *«герсталь», в нём как раз три патрона* (Б. Акунин). *Таня танцевала, Тома* ***сидела*** *на стуле возле стены или* ***стояла****, если стульев не было, в обществе двух-трех девиц, не пользовавшихся успехом* (Л. Улицкая).

Отсутствие формальных словообразовательных показателей у глаголов статального способа действия компенсируется семантикой соответствующих корней. Значение статичности выявляется в таких глаголах с помощью трансформации в глагольно-именные словосочетания «быть в состоянии» или «находиться в положении», а также невозможностью сочетания «с такими обстоятельствами, как *быстро, медленно, постепенно* (поскольку эти обстоятельства предполагают действия, связанные с какими-то изменениями)» [7]. Обстоятельства с семой «неподвижность» как средства синтаксические усиливают значение статичности глаголов статального способа действия. *В кустах* ***неподвижно стояла*** *черная фигура в длинном плаще; Её взгляд* ***цепко держал*** *его и не выпускал из своего изумрудного плена; Он* ***лежал ничком*** (Б. Акунин). Статика подчеркивается и другими синтаксическими средствами. Глаголы статального способа действия (обычно со значением положения в пространстве), составляя ряд однородных членов с глаголом *не двигался*, имеют ярко выраженное значение статичности. *Фандорин* ***лежал*** *и* ***не двигался****, неестественно вывернув руку, вроде как без чувств* (Б. Акунин). Обстоятельства времени обозначают границы, начало и конец статичного состояния. ***Весь февраль стояли*** *лютые морозы; ПА* ***долго сидел*** *у меня в комнате* (Л. Улицкая).

Дополнительные средства, указывающие на степень статичности в семантике глагола, не рассматриваются в способах глагольного действия, но их влияния на нее отрицать нельзя. Значение статичности в языковедческих работах, прежде всего, связывается с выражением состояния, которое остается неизменным. Однако глаголы со значением статичности могут приближаться

«к обозначению собственно действия» [8]. *Они* ***стояли*** *с упрямым терпением, как стоял когда-то гвардейский экипаж на морозной Сенатской площади, – бесцельно, безмолвно* (Пример А.В. Бондарко). В явлениях такого типа воля субъекта позволяет проявить в поверхностной неподвижности истинное действие. А.М. Пешковский отмечал, что «в глаголе, раз он изображает действие, должен быть еще оттенок воли, намерения» [9].

Среди характеризованных способов глагольного действия выделяется интенсивный способ действия. Словообразовательные аффиксы придают дополнительный оттенок интенсивности общей семантике глаголов данной группировки. Интенсивность является неотъемлемой частью динамики, характеризуется низкой, средней (близкой к норме) и высокой степенью. А.В. Бондарко в интенсивном способе действия выделяет несколько оттенков: «действие, выходящее за пределы обычного»; «результативность действия», осложненная крайней полнотой и интенсивностью; действие, вызывающее пресыщение; действие, вызывающее исчерпанность или «завершение предшествующих длительных усилий» [10]. Такая семантика характерна для высокой степени интенсивности действия, следовательно, глаголы этого способа действия обладают значением динамичности. *То-то во рту привкус, будто леденцов* ***наелся****; Саша уже* ***дослужился*** *до начальника станции* (Б. Акунин). *Он честно* ***напивался****, и Елена, догадавшаяся об истинной причине его внезапного пьянства, сама звонила в Президиум...; До Обнинска* ***дозвониться*** *было невозможно...* (Л. Улицкая).

Дополнительными средствами, усиливающими степень интенсивности, могут служить определенные синтаксические средства, в частности, наречие *так*, местоимение *весь* и т.д. *Бедный Ландринов* ***весь исстрадался****; Первым делом достал из кармана «брегет», положил перед собой и* ***так*** *им* ***залюбовался****, что у Фандорина возникло сомнение, удастся ли совершить обратный обмен часами, когда надобность в конспирации отпадёт* (Б. Акунин).

Особое место в системе способов глагольного действия в отношении статики и динамики занимает инхоативный способ действия. Глаголы этой группировки имеют «значение постепенного перехода в какое-либо состояние» [11]. Двойственное значение, выражаемое этими глаголами, способствует проявлению в них и статики, и динамики. Состояние – две точки, начальная и конечная, являющиеся стабильными в сравнении с процессом, постепенным переходом, который выражается глаголами на *-ну-ть* и *-е-ть*. Динамичность таких глаголов связана с внутренним признаком протекания действия, характеризуется низкой степенью интенсивности, которая определяется грамматическим значением несовершенного вида и соответствующим лексическим значением. «Лексический состав языка и его грамматические законы очень часто оказываются слитыми воедино» [12]. *Они* [слова – А.Г.] *пропадали лишь тогда, когда бумага* ***чернела*** *и я кочергой яростно добивал их; Не записывал несколько дней:* ***болел*** *инфлюэнцей; Конные точки собрались в ленту и, захватив во всю ширину шоссе, стали* ***пухнуть****,* ***чернеть****, увеличиваться и покатились на Най-Турса* (М. Булгаков). Значение перехода из одного состояния в другое в последнем примере актуализируется глаголом *увеличиваться*, степень интенсивности не проявляется во внешних, синтаксических показателях и является низкой, присущей глаголам инхоативного способа действия вообще. Обстоятельства меры и степени и образа действия внешне характеризуют динамику перехода

в какое-либо состояние, определяя ее интенсивность. *Начало **чуть-чуть темнеть;** Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами, день **темнел страшно быстро**, и еще раз возникло видение – стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные, красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор* (М. Булгаков). В первом примере низкая интенсивность протекания действия, выраженного глаголом *темнеть*, актуализируется обстоятельством *чуть-чуть*, имеющим значение ‘немного, слегка’, а во втором высокая степень интенсивности подчеркивается обстоятельствами *страшно быстро (очень быстро). Быстро (*от *быстрый)* имеет то же значение, что и *скорый* (в 1 значении): ‘совершающийся, осуществляющийся быстро, в короткий промежуток времени, обладающий большой скоростью’, *страшно (*от *страшный)* (во 2 значении) – ‘очень сильный по степени проявления чего-нибудь, весьма значительный’ [13].

Значимое отсутствие динамики или ее появление в синтаксической конструкции обнаруживается в составном глагольном сказуемом с инфинитивом инхоативного способа действия. Вспомогательный компонент указывает на начальную, среднюю, конечную фазу действия или означает его полное прекращение, переход в состояние. «Кинетика» таких сочетаний, включающих статику и динамику, связана с конкретным лексическим значением вспомогательного глагола. *Тотчас предгрозовой свет **начал гаснуть** в глазах у мастера, дыхание у него перехватило, он почувствовал, что настает конец; Свет, и так слабый в спальне, и вовсе **начал меркнуть** в глазах Степы* (М. Булгаков). *Коротко обернувшись, слуга проворно влепил надворному советнику две звонкие оплеухи, отчего Эраст Петрович **перестал киснуть** со смеху и хотел было обидеться, но поленился* (Б. Акунин). Такие глагольные сочетания соотносятся с глаголами начинательного или завершительного способов действия, обозначающими начало действия или его конечную фазу, а также с глаголами финитивного способа действия, имеющими значение «полного прекращения действия или деятельности, отличающихся значительной мерой предшествующей длительности и интенсивности» [14].

Некоторые глаголы инхоативного способа действия в определенном значении выступают как глаголы, которые не имеют значения постепенного перехода в какое-либо состояние. Это глаголы типа *белеть, зеленеть, чернеть*, которые могут выступать как глаголы состояния с семой *виднеться* (о предметах) и выражать значение статичности. В ситуации статической важным является, во-первых, стабильность состояния, его длительность, неизменяемость в течение определенного времени, а во-вторых, проявление постоянных качеств или свойств, характеризующих ее. *Трава зеленеет* (т.е. видится зеленой) *Ср.: Листья желтеют.* Трансформация в глагольно-именное сочетание с именем прилагательным подчеркивает статику в соответствующем значении глагола. В последнем примере, структурно совпадающем с первым, ситуация не статична, а динамична. Ведь листья не «видятся желтыми», а находятся в процессе изменения, становятся желтыми (превращаются в желтые).

Таким образом, значение статичности и динамичности выявляется в глагольной лексике. Оно опирается не только на семантику глаголов, объединенных в те или иные группы, но и имеет формальные средства выражения, представленные аффиксами с определенной функцией. Значение динамичности более отчетливо выявляется в аффиксальных глаголах, относящихся

к характеризованным способам действия; значение статичности – в глаголах нехарактеризованных способов действия. Такое деление не является строгим. Оно предполагает обозначение действия в прямом смысле слова или процесса, связанного с теми или иными изменениями, и обозначение состояния, отношения, проявления качеств и свойств. Значением статичности и динамичности обладают как глаголы формально выраженных способов глагольного действия, так и формально не выраженных. Актуализируют значение статичности и динамичности такие синтаксические средства, как обстоятельства времени, образа действия, меры и степени. Составное глагольное сказуемое с фазисным вспомогательным глаголом определенно указывает на различные временные этапы протекания действия. Переход от одной фазы к другой характерен для ситуации динамической. Значение статичности и динамичности обнаруживается не только в глаголах, относящихся к определенному способу действия, обычно несоотносительных по виду, но и в глаголах, не входящих в эти семантические группировки, соотносительных по виду. Рассмотренные некоторые способы глагольного действия занимают одно из центральных мест в оппозиции динамика/статика.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Русская грамматика. Т. 1. – М., 2005. – С. 596.

2. Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол. – Л., 1967. – С. 24.

3. Там же. – С. 21.

4. Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. – Братислава, 1960. – С. 223-224.

5. Евгеньева А.П. Словарь русского языка в четырех томах. – Т. IV. – М., 1984. – С. 253.

6. Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол. – Л., 1967. – С. 26-27.

7. Там же. – С. 27.

8. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. – Л., 1983. – С. 140.

9. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1938. – С. 99.

10. Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол. – Л., 1967. – С. 18-19.

11. Там же. – С. 21.

12. Русская грамматика. – Т. 1. – М., 2005. – С. 7.

13. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1986.

14. Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол. – Л., 1967. – С. 18.

Г.А. Иванова,
Вятский государственный
гуманитарный университет

КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАУЧНОГО ТЕРМИНА

Аннотация

В статье на материале лингвистической терминологии рассматривается содержательная структура научных терминов, выявляется специфика терминологического значения в отличие от значения общеупотребительного слова. Особое внимание уделяется прагматическому слою терминологического значения, в состав которого входят лексико-этимологический и научно-мировоззренческий субкомпоненты.

Semantic Structure Components of Scientific Term

Vyatka State University of Humanities

Abstract

The article is devoted to study of the semantic structure of scientific terms on basic of to linguistic terminology; the specific features of terminological meaning are revealed. Special attention is paid to the pragmatic meaning, its lexical-etymological subcomponent and scientific world outlook.

Осознание специфики терминологических единиц, специфики терминологической семантики является в лингвистической науке общепризнанным фактом. Тем не менее в терминоведческой литературе, в том числе и в публикациях последних лет, отмечается устойчивый интерес исследователей к проблеме значения термина (работы З.И. Комаровой, А.А. Брагиной, М.Н. Володиной, А.С. Герда, Н.Г. Комлева, М.В. Косовой, В.М. Лейчика, М.В. Марчука, С.Е. Никитиной, В.Н. Прохоровой, В.А. Татаринова, С.Д. Шелова и др.). По-видимому, это объясняется нерешенностью проблемы значения языкового знака, прежде всего слова, в общелингвистическом плане, а также появлением новых подходов к изучению термина в связи с формированием в терминоведении новой научной парадигмы.

Претендовать на окончательное решение проблемы значения языкового знака не приходится, поскольку «она принадлежит к числу лингвофилософских проблем языкознания, и различие философских позиций в понимании языка неизбежно будет сказываться на понимании значения языкового знака» [1]. Отсюда и множество гипотез словесного значения: 1) понятийная (значение слова – это выраженное им понятие, или сигнификат); 2) предметная (значение слова – это предмет, обозначенный словом, или денотат); 3) реляционная (значение слова – это отношение его к предмету, понятию или другому слову) и др.

В современной лингвистике, ориентированной на общественную практику, получила распространение широкая концепция значения (семантики), выдвинутая в качестве одного из лингвистических постулатов: «К области

семантики (в широком смысле) относится вся информация, которую имеет в виду говорящий при развертывании высказывания и которую необходимо восстановить слушающему для правильной интерпретации этого высказывания» [2].

Новое направление в терминоведении, опирающееся на сложившуюся в современном языкознании когнитивно-коммуникативную парадигму и изучающее процессы когниции и коммуникации в специальной сфере деятельности человека, изменило подход к изучению термина. На смену традиционным точкам зрения на сущность термина – субстанциональной (термины – особые слова или словосочетания) и функциональной (термины – слова в особой функции) – появился новый взгляд на термин. С позиций когнитивно-коммуникативного терминоведения термин понимается как единица дискурса профессиональной языковой личности [3], как «основная единица науки, специальных отраслей знания и сфер деятельности человека» [4], как «репрезентант научного знания» [5], как средство «приобретения, хранения и репродуцирования» профессионально-научной информации [6] и т. д.

В рамках данного направления выражаемую термином информацию, не зависящую от типа знаний – собственно лингвистических или экстралингвистических (в ряде случаев их довольно трудно разграничить), будем считать содержанием термина. В силу сложности и многогранности как самого феномена «термин», так и его означаемого представляется целесообразным говорить не о содержании, а о содержательной структуре терминологической единицы как комплексном явлении, включающем в свой состав разные «значения», или компоненты.

Являясь продуктом познавательной деятельности ученых (абстрагирования, отвлечения от конкретных объектов, свойств, отношений), а также метадеятельности, направленной на разработку метаязыка науки, термины разных областей знания (в их числе и термины языкознания) обладают «строгой понятийностью» [7] своего значения. Поэтому процедура описания терминологической семантики сводится прежде всего к описанию сигнификативного слоя значения термина, что осуществляется путем подбора дефиниционного синонима (определения термина), в котором перечисляются наиболее существенные признаки выражаемого данным термином научного или профессионального понятия. Иначе говоря, семантика термина эксплицирована в его дефиниции, являющейся одним из способов представления терминологического значения (наряду с кратким толкованием, метатекстом, терминосистемой, тезаурусом, фреймом). Дефиниция термина определяет его содержательные границы и тем самым способствует выявлению логико-понятийных связей между терминами, но «никогда не передает всего содержания научного понятия и потому никогда с ним не совпадает» [8].

Понятийность термина понимается учеными по-разному. Можно выделить по крайней мере две точки зрения на соотношение терминологического значения и понятия: 1) значение термина равно понятию (В.А. Звегинцев, А.А. Реформатский, Л.А. Капанадзе и др.); 2) значение термина не равно понятию, хотя понятийный (сигнификативный) компонент значения в содержательной структуре термина превалирует (К.А. Левковская, Б.Н. Головин, Р.Ю. Кобрин и др.).

По-видимому, значение термина как единицы лексической системы язы-

ка не может иметь только логическую составляющую и, следовательно, не может приравниваться к понятию, являющемуся категорией логической. В противном случае игнорируется собственно языковая сущность специального слова. О значении термина, как и значении любого другого общеупотребительного слова, нельзя говорить без учета его предметной (денотативной) отнесенности. Ср.: «Между тем принципиальным является то, что соотнесенность терминов с понятиями нельзя описать или определить, минуя их соотнесенность с изучаемыми реалиями действительности» [9]. Нередко расхождения в денотативной отнесенности того или иного термина вызывают идейно-теоретические разногласия ученых, изучающих, казалось бы, один и тот же научный феномен. В качестве примера можно привести лингвистический термин *фонема*, соотносящийся с разными лингвистическими реалиями и, соответственно, по-разному трактуемый представителями Московской и Ленинградской (Санкт-Петербургской) фонологических школ; термины *семантика, смысл, значение* в их традиционном и современном понимании и т. д.

Таким образом, вторая точка зрения представляется более убедительной. В содержательной структуре термина, как и в семантике общеупотребительного слова, выделяется не только сигнификативный (занимающий доминирующую позицию), но и денотативный компонент несмотря на то, что соотнесенность с реальным объектом действительности, или денотатом, «затушевывается».

Осознание особой семантической природы термина затрудняется также в связи с неоднородностью терминологической лексики, включающей в свой состав собственно термины и номенклатуру, профессионализмы и профессиональные жаргонизмы. Кроме того, провести демаркационную линию между термином и общеупотребительным словом оказывается невозможным: наблюдаются случаи взаимоперехода (процессы терминологизации общеупотребительных слов – лингвистическая специализация, семантическая модуляция и семантическая деривация [10], а также процессы детерминологизации терминологических единиц). Выдвигаются разные критерии терминологичности языковых единиц. К ним относится, например, наличие/ отсутствие релевантных признаков термина, таких, как точность, однозначность, краткость, дефинитивность, мотивированность и др.; способность/неспособность выражать специальное профессиональное понятие; наличие/отсутствие особых (терминологических) системных связей и отношений в языке и др., но ни один из них не является универсальным. По мнению В.М. Лейчика, семантические различия между терминами и общеупотребительными словами «являются не дискретными, а непрерывными, наблюдается ряд градаций в этом переходе, и оппозиция в этом смысле оказывается некорректной» [11].

Различная степень абстрагированности научного понятия проявляется в существовании терминов с денотативной (предметной) или сигнификативной (понятийной) ориентацией. На данном основании различаются «предметные» и «понятийные» термины [12], иначе – номены и термины. Так, значение номенов («предметных» имен, или номенклатурных названий специальных объектов) отличается от собственно терминологического значения денотативной направленностью, что не исключает наличие понятийного компонента значения; ср. номены *звук [а], буква «ш», предлог «в», союз «а»*, а также лингвонимы *латинский язык, французский язык, китайский язык, идо, эсперанто*

и др.

Семантика профессионализма может включать в свою структуру эмоциональный и экспрессивно-образный субкомпоненты. Так, в устной речи языковедов в неформальной обстановке встречаются следующие терминологические словосочетания: *синтаксический монстр* (о конструкции, не отмеченной в научной литературе); *синтаксический бомж* (о сверхсложном предложении) [13].

Терминологическое значение можно рассматривать не только в аспекте его понятийности, эксплицированной в дефиниции. По мнению А.А. Реформатского, «значение» термина в современной науке – это его место в теории» [14]. Другими словами, относительно точно определить значение термина можно только с учетом его места в терминосистеме, то есть с учетом логико-понятийных, лексико-семантических, словообразовательных и грамматических связей и отношений (корреляций), в которые вступает этот термин с другими элементами данной подсистемы. Терминосистема, построенная на базе логико-классификационной схемы понятий, является по своей сути языковым аналогом той или иной системы знаний – научного мировоззрения, теории, концепции. Из этого следует, что «любая теория входит как составная часть в семантику термина, отражающего данное понятие» [15].

Очевидно, данная лексическая информация выходит за рамки денотативного и сигнификативного компонентов значения. Она носит социальный, научно-мировоззренческий характер и относится к прагматическому слою содержательной структуры термина.

Так, лингвистические термины могут отражать специфические черты того или иного исторического этапа в развитии языкознания (ср. *понятие* и *концепт*, *речь* и *дискурс*, *профессиональный язык* и *язык для специальных целей*), лингвистического направления (ср., например, традиционную терминологию и термины когнитивного направления: *понятийная структура* и *концептуальная структура*, *коннотация* и *прагматический компонент*, *предметная отнесенность слова* и *референт*, *значение* и *смысл*), школы (ср. термины Пражской школы функциональной лингвистики, Копенгагенской школы структурализма и Американской дескриптивной лингвистики соответственно: *аллофон в свободном чередовании – вариант фонемы – факультативный вариант; контрастная дистрибуция – коммутационная проверка – смыслоразличительная оппозиция*).

Термины языкознания способны нести информацию о той или иной национальной языковедческой традиции (ср. *аблаут* в немецкой и *апофония* во французской лингвистических традициях; *функциональный стиль* в отечественной и *дискурс* во французской лингвистике). Подобный культурно-национальный компонент значения научного термина в специальной литературе был назван идиоэтническим. Ср.: «Рассмотрение научного и идиоэтнического компонентов содержания показывает, что в значении слова, используемого в качестве термина, постоянно происходит взаимодействие предметно-понятийного и исторического моментов» [16].

Лингвистические термины могут соотноситься также с личностными системами научных взглядов и концепций (ср. терминологию А.А. Потебни, Ф.Ф. Фортунатова, И.А. Бодуэна де Куртене, А.А. Шахматова, В.В. Виноградова и др.). Приведем некоторые примеры концептуальных терминов-синонимов,

иллюстрирующих их связь с тем или иным научным мировоззрением, в том числе и с индивидуальными концепциями. Ср.: *морфемный альтернант* (американская лингвистика) – *вариант морфемы* (Г.О. Винокур) – *морф(а)* (Ч.Ф. Хоккетт); *пустой морф* (Ч.Ф. Хоккетт) – *соединительная морфема* (Н.С. Трубецкой); *нулевая суффиксация* (В.А. Лопатин, И.С. Улуханов) – *бессуффиксальный способ словопроизводства* (Н.М. Шанский) – *флексийный способ словообразования* (В.Н. Немченко).

Индивидуально-авторские (окказиональные) терминологические образования, использующиеся в метаязыке лингвистики как синонимы к уже существующим, традиционным терминам, выражают своеобразный взгляд ученого на исследуемый феномен: *вставочный элемент (*ср. *интерфикс); отрицательная форма слова (*ср. *нулевая морфема); падежный суффикс (*ср. *падежное окончание); префигированный словоэлемент (*ср. *префиксоид); слово-усечение (*ср. *аббревиатура); система структурных форм слова (*ср. *словообразовательная система языка); слова-метеоры, эгологизмы, (*ср. *окказионализмы).*

Итак, термины связаны с определенным научным мировоззрением, с научной теорией, концепцией, с культурно-национальными условиями развития науки. Следует отметить, что связь терминологического значения с подобного рода внеязыковыми знаниями отдаляет терминологию от общеупотребительной лексики и составляет специфику термина.

Термин, как и общеупотребительное слово, не лишен образности, экспрессивности и даже эмоциональной оценочности. Эти дополнительные семантические наслоения и оттенки, а также представления говорящего (носителя метаязыка науки), формируемые под воздействием как языковых (лингвистических), так и внеязыковых (экстралингвистических) факторов, также составляют прагматический слой значения термина.

Некоторые ученые-терминологи, выдвигающие требование «интеллектуальной чистоты термина», а следовательно, «отрешенности его от образных и эмоциональных переживаний» [17], отрицают наличие оттенков терминологического значения (Г.О. Винокур, А.С. Герд, Б.Н. Головин, Р.Ю. Кобрин, А.А. Реформатский, С.Д. Шелов).

В свете новых терминоведческих концепций отсутствие коннотаций (образности, экспрессивности, эмоциональности), или стилистическая нейтральность, рассматривается как требование, предъявляемое к идеальному термину. Реальный же термин (термин «в живом функционировании» [18]) обладает всеми признаками общеупотребительного слова, в том числе образностью и экспрессивностью (А.А. Брагина, Н.Г. Комлев, В.М. Лейчик, В.Н. Прохорова).

Образность и экспрессивность создается при помощи внутренней формы термина. Внутренняя форма термина, являясь одним из способов представления понятия (сигнификата) о предмете (денотате), отражает наиболее существенные, с точки зрения исследователя, признаки, в частности образно-ассоциативные, например: ***мертвая, окаменевшая, стертая, сухая, угасшая*** *метафора (ср. безобразная метафора),* ***нанизывание*** *эпитетов (ср. атрибутизация),* ***оттенок*** *фонемы (ср. аллофона),* ***передвижение*** *согласных (ср. мутация согласных),* ***сила*** *звука (ср. интенсивность звука),* ***союз*** *языков (ср. ассоциация языков),* ***зияние*** *(ср. хиатус).* Внутренняя форма может фикси-

ровать также признаки, способствующие логически-классификационному отражению действительности; ср. ***теоретическое*** *языкознание* и ***прикладное*** *языкознание,* ***описательное*** *(синхроническое, синхронное) словообразование* и ***историческое*** *(диахроническое, диахронное) словообразование.*

Следует заметить, что метафорическую и метонимическую экспрессивность и образность компонентов, создаваемую внутренней формой, терминологические единицы сохраняют на начальном этапе своего существования, до тех пор пока не становятся полноправными терминами – элементами терминологической системы. В этом случае экспрессивность и образность переходят в разряд коннотаций, сопутствующих основному (концептуальному) значению термина, но не влияющих на него. Такого рода коннотации, по-видимому, можно отнести к прагматическому слою терминологического значения, условно назвав их лексико-этимологическим субкомпонентом (ср. с терминами «лексико-этимологическое мировоззрение», или «структурно-языковое мировоззрение» [19] .

На основании всего вышеизложенного можно заключить:

1. Значение научного термина – в силу его особой природы – представляется более сложным по своей структуре, чем значение общеупотребительного слова.

2. Содержательную структуру научного термина образуют сигнификативный, денотативный и прагматический компоненты. Специфика терминологической семантики заключается в доминирующем положении сигнификативного компонента.

3. Прагматическая характеристика термина включает два субкомпонента значения – лексико-этимологический и научно-мировоззренческий. Первый отражает образный и логический способ осмысления одного и того же денотата; второй – его различное научное понимание. Научное мировоззрение, будучи особым, специфичным для термина субкомпонентом его прагматики, связано с информацией экстралингвистического характера – с той энциклопедической частью внеязыковых знаний, которая является достоянием специалистов определенной научной области.

Подобная структурированность содержания термина носит, конечно, условный характер. В действительности научное знание (система научных знаний о мире) и система знаний о языке постоянно взаимодействуют друг с другом и на определенном этапе кодирования научной информации уже неразделимы. «Научное знание, нашедшее свое выражение в слове, в термине, переходит в качественно новую стадию, включаясь в семантическую систему и структуру того или иного языка науки, становясь компонентом лексико-семантической системы этого языка» [20]. Развитие научного знания, увеличение объема знаний о мире приводит к изменению границ содержательной структуры термина и возникновению новых значений.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Березин Ф.М. Общее языкознание. – М., 1979. – С. 122.

2. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. – М., 1992. – С. 25.

3. Куликова И.С. Введение в металингвистику (системный, лексикографический и коммуникативно-прагматический аспекты лингвистической тер-

минологии. – Спб., 2002. – С. 101 – 103.

4. Ивина Л.В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем. – М., 2003. – С. 14.

5. Герд А.С. Прикладная лингвистика. – Спб., 2005. – С. 48.

6. Володина М.Н. Информационная природа термина // Филологические науки.– 1996. – № 1. – С. 90.

7. Березин Ф.М. Общее языкознание. – М., 1979. – С. 266.

8. Герд А.С. Прикладная лингвистика. – СПб., 2005. – С. 52.

9. Головин Б.Н. Лингвистические основы учения о терминах. – М., 1987. – С. 42.

10. Косова М.В. Русская лингвистическая терминология: семантические процессы. – Волгоград, 2003. – 328 с.

11. Лейчик В.М. Об относительности существования термина // Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики. – М., 1971. – Ч. 2. – С. 438.

12. Моисеев А.И. О языковой природе термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М., 1970. – С. 133.

13. Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи: Тропы и фигуры. Терминологический словарь-справочник. – М., 2004. – С. 137.

14. Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка // История отечественного терминоведения. – Т.1. Классики терминоведения: Очерк и хрестоматия / Сост. В.А. Татаринов. – М., 1994. – С. 335.

15. Герд А.С. Прикладная лингвистика. – СПб., 2005. – С. 53.

16. Хватов С.А. Идиоэтнический компонент содержания термина // Семантика переходности / Под ред. В.И. Кодухова. – Л., 1977. – С. 50.

17. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // История отечественного терминоведения. – Т. 1. Классики терминоведения: Очерк и хрестоматия / Сост. В.А. Татаринов. – М., 1994. – С. 218.

18. Брагина А.А. Значение термина и оттенки значения в термине // История отечественного терминоведения. – Т. 3. Аспекты и отрасли терминологических исследований (1973 – 1993): Хрестоматия / Сост. В.А. Татаринов. – М., 2003. – С. 92.

19. Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова. – Изд. 3-е, стереотип. – М., 2006. – С. 128.

20. Герд А.С. Прикладная лингвистика. – СПб., 2005. – С. 49.

В.А. Ильина,
Московский Государственный Гуманитарный
Университет им. М.А. Шолохова

НОМИНАНТЫ ОБРАЗА ОДИНОЧЕСТВА В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ

Аннотация

В рамках данной статьи автор предполагает провести анализ номинантов образа одиночества в русском языковом сознании в двух плоскостях. Во-первых, рассмотреть отражение исследуемых номинантов в научной картине мира на основе энциклопедических источников. Во-вторых, проанализировать на 3 уровнях отражение исследуемых номинантов в наивной картине мира с опорой на лексикографические источники.

V.A. Ilyina

LONELINESS APPELLATION IN RUSSIAN AND ENGLISH CONSCIOUSNESS

Abstract

The main aim of this article is to investigate the loneliness appellation in Russian consciousness in two ways. The first way is to investigate the scientific world picture on basis of encyclopedic sourses. The second way is to investigate the unscientific world picture. The author is going to divide this process into three levels using different types of dictionaries.

Одиночество как феномен XXI века многолико, а значит, многозначно, а это подразумевает наличие номинантов, обладающих этими значениями. Анализ таких номинантов автор предполагает провести в двух плоскостях. Во-первых, рассмотреть отражение исследуемых номинантов в научной картине мира на основе энциклопедических источников. Во-вторых, проанализировать на 3 уровнях отражение исследуемых номинантов в наивной картине мира с опорой на лексикографические источники. На первом уровне мы будем анализировать словарные статьи номинантов «ненужность», «непонимание», «опустошенность», представленные в толковых словарях русского языка. На втором уровне рассмотрим иллюстративный материал, который также является неотъемлемой частью словарной статьи и представляет несомненный интерес для исследователей. На третьем уровне рассмотрим синонимический ряд исследуемых номинантов на основе словарей синонимов русского языка.

Начнем с репрезентации номинантов в научной картине мира и отметим отсутствие дефиниций в рассмотренных нами энциклопедических источниках [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Таким образом, мы приходим к выводу, что исследуемые номинанты не отражены в русской научной картине мира.

Продвигаясь дальше, перейдем к анализу фрагментов наивной картины мира на первом уровне и рассмотрим определения номинанта «ненужность», «непонимание», «опустошенность», предложенные в филологических словарях [7, 8, 9, 10, 11, 12]. Приведем определение, представленное в толковом сло-

варе А.П. Евгеньевой: «нену'жность, -и, ж. 1. Свойство по знач. прил. ненужный. 2. обычно мн. ч. (нену'жности, -ей). разг. то, в чем нет нужды, необходимости» [10: 457]. Во многих словарях дается ссылка на лексему «ненужный». Поэтому мы также приводим определение данной лексемы. «нену'жный, -ая, -ое; -ну'жен, -нужна', -ну'жно, -ну'жны и -нужны'. Такой, в котором нет нужды, необходимости, действительной потребности; лишний, бесполезный» [10: 457].

На основании анализа дефиниций мы выделяем следующие семантические компоненты: родовая сема «отсутствие необходимости», сема «отсутствие потребности», «свойство», «состояние», «отрицательная знаковость».

Проанализируем, насколько глубоко лексикографируется номинант «непонимание», и приведем наиболее общие определения: «непонима'ние, -я, ср. отсутствие понимания; неспособность, неумение понять кого-, что-л.» [10: 465]; « непонимание, непонимания, мн. нет, ср. Отсутствие понимания, невозможность понять» [11: 531]. В словаре А.П. Евгеньевой предлагается дефиниция причастия: «непонима'ющий, -а я , -е е . Такой, который не понимает чего-л., плохо разбирается в чем-л ‖ Выражающий непонимание» [10: 465].

Опираясь на приведенные выше толкования номинанта, выделим следующие дифференциальные семантические элементы: родовая сема «отрицательная знаковость», сема «отсутствие компетентности», сема «умение», «состояние».

Далее мы переходим к определениям номинанта «опустошенность» и отмечаем, что слово «опустошенность» означает «состояние по знач. прил. опустошенный; душевная, нравственная пустота» [10: 633]; «опустошенность, -и, ж. утрата нравственных сил, ощущение душевной пустоты» [9: 421]; «опустошенность ж. отвлеч. сущ. по знач. прил.: опустошённый» [7: 1139].

Выделим следующие семантические компоненты слова «опустошенность»: родовая сема «состояние», сема «духовная пустота», сема «отсутствие душевных сил», «отрицательная знаковость».

В связи с ссылкой на лексему «опустошённый» приводим также ее дефиниции: «опустошённый прил. Ощущающий духовное опустошение, не способный к активной жизни» [7: 1139]; «опустошённый, -ая, -ое; -ён. Лишившийся нравственных сил, богатства внутреннего содержания. ‖ сущ. опустошённость, -и, ж» [8: 391]; «опустошённый, опустошённая, опустошённое; опустошён, опустошена, опустошено. 1. Прич. страд. прош. вр. от опустошить. 2. перен., только полн. формы. Нравственно и духовно пустой, бесплодный, неспособный к активной жизни (книжн.)» [11: 839].

Родовая сема «духовный кризис», «обеднение внутреннего мира», «духовное бесплодие» были выделены в качестве семантических маркеров.

Мы приводим определения лексемы «опустошить», т.к. на эту ссылку указывается в дефиниции лексемы «опустошенный». «Опустоши'ть, опустоша'ть что, разорять впухъ, напусто, изводить, истреблять разоромъ, уничтожать вразоръ.‖ Опустоше'нье [ср.] дuйствiе по гл. ‖ Опустоши'тель [м.], -ница [ж.] кто опустошаетъ что-либо. ‖ Опустu'нье ср. состн. по гл. Опустu'лый, опустuвшiй» [12: 839]; «опустоши' ть, -шу', -ши'шь; -шённый (-ён, -ена'); сов. 1. что. Сделать пустым, превратить в пустыню, разорить. 2. перен., кого-что. Лишить нравственных сил, богатства внутреннего содержания. ‖ несов. опустоша'ть, -а'ю, -а'ешь. ‖ сущ. опустоше'ние, -я, ср» [8: 392]; «опустоши'ть, -ш у ', -

ш и ’ ш ь ; прич. страд. прош. о п у с т о ш ё н н ы й , -ш ё н , -ш е н а ’, -ш е н о ’; сов., перех. (несов. опустошать). 1. Сделать пустым, пустынным, разорить. 2. Освободить от содержимого, опорожнить. 3. перен. Лишить нравственных сил, сделать не способным к творческой, активной жизни» [10: 633]; «опустошать несов. перех. – 1. Делать пустым; опорожнять. 2. Приводить в запустение; делать безлюдным, нежилым. 3. перен. Лишать нравственного, духовного содержания» [7: 1139].

Далее мы выделяем дифференциальные семантические элементы слова «опустошить»: родовая сема «разорение», сема «депривация», «освобождение от содержимого».

Таким образом, при анализе номинанта «опустошенность» мы выделяем следующие семантические компоненты: родовая сема «состояние», родовая сема «духовный кризис», видовая сема «разорение», сема «депривация», «освобождение от содержимого», «обеднение внутреннего мира», «духовное бесплодие», сема «духовная пустота», сема «отсутствие душевных сил», «отрицательная знаковость».

Таким образом, нам удалось выделить 5 дифференциальных семантических признака при анализе «ненужности», 4 семы – при анализе «непонимания», 10 сем – при анализе «опустошенности». Сема «отрицательная знаковость» и «состояние» объединяет все исследуемые номинанты в одну общую группу слов, вербализующих образ одиночества.

На втором уровне нашего исследования проведем анализ примеров, зафиксированных в описывающих номинант «ненужность» словарных статьях, т.к. именно в данном материале содержатся особенности языкового осмысления образов сознания в разных культурах. Проанализировав лексикографические примеры в толковых словарях, мы выделили следующие семантические маркеры:

• Сема «несвоевременность» – *Он спросил, чтобы только что-нибудь сказать, и в то же время чувствуя, что Тарас Гаврилович понимает ненужность его вопроса* (А. Куприн, Дознание).

• Сема «покинутость» – *Все рушилось в эту минуту. Впереди я видел только жгучее одиночество и свою ненужность* (К. Паустовский, Далекие годы).

• Сема «мелочь» – *В числе этих ненужностей купила она десятка четыре модных книг* (А. Герцен, Кто виноват?).

• Сема «бесполезная информация» – *Я хотел было узнать у моих спутников, как называются эти деревья, но вовремя спохватился. Зачем обременять память очередной ненужностью?* (Ю. Нагибин, Немота).

• Сема «мыслительный процесс» – *Бесконечной вереницей тянулись друг за другом ненужные и неясные мысли* (И. Тургенев, Гамлет Щигровского уезда).

• Сема «бесполезность» – *Рассвет овладел комнатой, и ненужным и жалким стал свет электрической лампочки* (Лебединский, Неделя).

• Сема «сожаление» – *Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений! сколько изысканности! а сверх всего, как мало жизни!* (А. Пушкин).

• Сема «невостребованность» – *Окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный, Плату приявший свою, чуждый работе другой?* (А.

Пушкин).

В результате анализа были выявлены семантические маркеры, которые не представлены в приведенных выше словарных определениях и которые расширяют и дополняют значение толкуемого номинанта. Таким образом, мы говорим о пяти выделенных семах при анализе дефиниций и восьми дополнительных семах, выделенных при анализе иллюстративного материала.

Далее мы переходим к анализу иллюстративной части словарной статьи, описывающей номинант «непонимание», и выявляющей особенности восприятия и осмысления образов языкового сознания представителями разных культур. В результате анализа примеров мы выявили следующие семантические маркеры:

• Сема «черта характера» – *Ваш Михаила Тимофеич человек непонимающий, не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить* (А. Чехов, Степь).

• сема «реакция» – *Иногда он таращил на него непонимающие глаза* (К. Горбунов, Ледолом).

• сема «разногласие» – *Между барином и Фролом Пантелеевым было, очевидно, полное непонимание, и говорили они на разных языках* (Каронин-Петропавловский, Рассказы о парашкинцах).

• сема «стимул» – *Не нужно бояться, что ребенок чего-то не поймет, — пускай он чего-то не поймет, непонимание всегда есть импульс к творчеству* (А.Н. Толстой, Книга для детей).

• сема «состояние» – *О Грех не в темноте, а в нежелании света, не в непонимании, а в сопротивлении пониманию, в намеренной слепоте и злостной предвзятости* (М. Цветаева. Мой Пушкин).

• сема «моральный принцип» – *Именно это — понимание или непонимание чести — делят людей и сегодня на любящих честь больше жизни и любящих жизнь больше чести* (Е. Богат).

Сравним количество семантических компонентов и отметим наличие 5 сем, выделенных при анализе дефиниций, и еще 6 – при анализе иллюстративного материала.

Ниже рассмотрим примеры употребления номинанта «опустошенность», приведенных в словарной статье, и наглядно демонстрирующих особенности восприятия и осознания образа одиночества. В результате анализа мы выявили следующие дифференциальные семантические признаки:

• сема «разорение» – *Война опустошаетъ земли. Все опустошу и конскимъ хвостомъ пепелъ размету! Пожары, падежи да конокрады насъ опустошаютъ; Край, опустошённый войной; Повсюду меч звенит и свищет. Прелестный край опустошен* (А. Пушкин, Руслан и Людмила)*; К довершению их* [крестьян] *бедствия и пожар опустошил их деревню* (Наумов, Погорельцы).

• сема «душевная боль» – *Безъ тебя опустилъ мни и билый свитъ.*

• Сема «отсутствие смысла жизни» – *Жизнь без цели опустошила этого человека.*

• Сема «процесс еды» – *Изголодавшись, Павел незаметно для себя опустошил третью тарелку* (Н. Островский, Как закалялась сталь)*; Саранча опустошила поля.*

• Сема «процесс питья» – *Опустошить бутылку.*

• Сема «глубокое разочарование» – *Вы уничтожили мечту всей моей жиз-*

ни, опустошили мою душу (А. Островский, Богатые невесты)*; С опустошенной душой скакал в глубь калмыцких бесплодных степей Иван Кочубей* (Первенцев, Кочубей).

• Сема «смерть» – *Всей же коннице, кроме нескольких драгун, приказано идти в Верхнюю Польшу и в Польскую Россию, где легче было ее продовольствовать, нежели в Лифляндии, коей все почти селения опустошены были чумою.*

• Сема «воровство» – *Опустошить кошелек; О. карманы.*

• Сема «деградация личности» – *Разврат опустошил его. Разврат опустошил его душу; Какая это была прелестная, нежная и кроткая женщина! Я развратил ее, опустошил* (А.Н. Толстой, Сестры).

• Сема «чувство» – *Серегин бродил по редакции, испытывая облегчение от того, что работа сдана, и вместе с тем странное ощущение опустошенности* (А. Гончаров, Наш корреспондент).

Таким образом, получается, что при анализе словарных дефиниций мы выделили 10 сем, а при анализе иллюстративной части нам удалось выявить еще 9 дополнительных семантических множителей: сема «чувство», «деградация личности», «воровство», «смерть», «процесс питья», «глубокое разочарование», «процесс еды» и «душевная боль». Семы, которые не были репрезентированы в словарных определениях, выполняют функцию конкретизации и детализации значения исследуемого номинанта.

На третьем этапе исследования рассмотрим качественную и количественную характеристику парадигматических связей синонимов номинантов «ненужность», «непонимание», «опустошенность» с целью обнаружения и дальнейшего сравнения дифференциальных и общих семантических признаков данных номинантов с опорой на синонимические словари русского языка [13,14, 15]. По данным лексикографических источников, синонимический ряд лексемы «ненужность» состоит из таких слов, как бесполезность, ненадобность, никчемность [15: 215]. Синонимический ряд лексемы «ненужный» включает прилагательные бесплодный, бесполезный, лишний, излишний, никчемный [15: 215]. Общими для синонимов выступают признаки – «знаковость», «характеристика контактов с окружающими», «непригодность». Различие обнаруживается в следующих компонентах: сема «отсутствие результата», «отсутствие пользы», сема «избыточность».

Рассмотрим синонимический ряд номинанта «непонимание». В результате анализа мы обнаруживаем следующие синонимы: недопонимание, несообразительность [15: 219]. Если рассматривать синонимы соответствующего прилагательного «непонятный», то следует выделить такие, как малопонятный, неясный, темный, невразумительный, маловразумительный [14: 653]. Общими для синонимов выступают такие признаки, как «неясность», «характеристика контактов с окружающими», «характеристика процесса», «знаковость», «отсутствие обратной связи». Различие обнаруживается в следующих компонентах: «степень усвоения информации», «качество информации», «способность субъекта к усвоению информации», «качество артикуляции».

Синонимический ряд номинанта «опустошенность» включает в себя следующие слова: опустошение, пустота, разорение. В словаре Н. Абрамова предлагаются синонимы глагола «опустошать: «опустошать См. разорять…; разорять: разрушать, разгромлять, опустошать»; доводить до нищеты, пускать по

миру; расстроить состояние. См. уничтожать; уничтожать: губить, разрушать, разорять, гасить, изводить, истреблять, искоренять, сокрушать, задавить, подавлять, душить, заглушать, убивать, отменять, упразднять, кассировать, сводить на нет, повергать в прах, аннулировать, атрофировать, нейтрализировать, парализировать; смывать, выводить, сплавлять, вырывать с корнем, вытравлять, выедать» [13: 284, 380]. В словаре А.П.Евгеньевой предлагается следующий синонимический ряд: опустеть, запустеть, обезлюдеть [14: 61].

При анализе номинанта «опустошенность», мы выделяем следующие общие семантические элементы: «характеристика контактов с окружающими», сема «знаковость», сема «причинение вреда», сема «агрессия», сема «вакуум». Дифференциация проходит по признакам: сема «объект действия», сема «субъект действия», «обратимость процесса», «способ избавление от содержимого», «доведение до запустения».

Таким образом, мы приходим к выводу, что при выявлении качественной характеристики синонимического ряда номинантов «опустошенность», «непонимание» и «ненужность» можно выделить только два общих для всех номинантов признаков («характеристика контактов с окружающими» и «знаковость»). Оценивая количественные характеристики синонимического ряда исследуемых номинантов, заметим, что при анализе номинанта «ненужность» было выделено 4 общих и 3 дифференциальных признака, при анализе слова «непонимание» – 5 общих и 4 различительных, при анализе номинанта «опустошенность» – 4 общих и 5 дифференциальных признаков. При всей очевидности вывода о качественном и количественном несовпадении признаков, выделенных при анализе синонимического ряда исследуемых номинантов, вербализующих образ одиночества в русском языке, все же мы полагаем наличие двух общих признаков достаточным основанием для объединения синонимов в одну группу слов, имеющих непосредственное отношение к одиночеству.

В результате нашего исследования нам удалось показать разницу репрезентации исследуемых номинантов в научной и наивной картинах мира, а также определить основания для объединения данных номинантов в одну группу слов, имеющих непосредственное отношение к одиночеству, т.е. к его вербализации в языковом сознании русских. Однако автор полагает, что данный подход к проблеме одиночества может быть расширен и дополнен в рамках других исследований сравнительным анализом номинантов, вербализующих образ одиночества не только в русском языковом сознании, но и, например, в английском.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Большой психологический словарь/ Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – СПб., 2007. – 672 с.

2. Большая психологическая энциклопедия. – М., 2007. – 544 с.

3. Всемирная энциклопедия: Философия/ Главн. науч. ред. А.А. Грицанов. – М., 2001. – 1312 с.

4. Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. – М., 2007. – 560 с.

5. Новейший психологический словарь / Под ред. В.Б. Шапарь, В.Е. Россоха, О.В. Шапарь. – Ростов-на-Дону, 2007. – 806 с.

6. Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести то-

мах / Ред.-сост. Л.А.Карпенко. Под общ. ред. А.В.Петровского. – М., 2005. – 250 с.

7. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный в 2-х тт. Т. 1. – М., 2000. – 1209 с.

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 14-е изд., стер. – М.: «Русский язык», 1986. – 797 с.

9. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; Под общей ред. Н.Ю. Шведовой. – М., 1998. – 800 с.

10. Словарь русского языка: В 4-х т. Т.2 / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985–1988. – 736 с.

11. Толковый словарь русского языка: В 4-х т. Т. 2. / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1994. – 523 с.

12. Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ св. 200 тысяч слов. Т. 2. – М., 1938. – 736 с.

13. Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений: Около 5 000 синонимических рядов. Более 20 000 синонимов — 7-е изд., стереотип. — М., 1994.– 502 с.

14. Словарь синонимов русского языка /Под редакцией А. П. Евгеньевой – М., 2002. – 656 с.

15. Словарь синонимов русского языка / Под редакцией З.Е. Александровой. – М., 1995. – 495 с.

В.С. Картавенко,
Смоленский государственный университет

ЯЗЫЧЕСКИЕ ВЕРОВАНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ТОПОНИМИИ СМОЛЕНСКОГО КРАЯ

Аннотация

В статье рассматриваются собственные географические названия Смоленского края, запечатлевшие отголоски древних языческих верований нашего народа. Имена древнеславянских божеств (*Волос/Велес*, *Мокошь*) сохранились в многочисленных топонимах, отраженных в смоленских памятниках деловой письменности XVII-XVIII вв. и в большом количестве дошедших до настоящего времени.

Наряду с именами древних божественных представителей языческой религии находим в топонимах и указание на низшие существа и духи (*бес*, *леший*, *черт*), которые в христианстве воспринимаются как враждебные человеку.

Рассмотренная группа топонимов являет собою драгоценные свидетельства духовной жизни нашего народа, воссоздает картину мира, дорогую и понятную нашим далеким предкам.

PAGAN BELIEFS AND THEIR REFLECTION IN PLACE NAMES OF SMOLENSK REGION

Abstract

The article examines the proper geographic names of the Smolensk region, which have the traces of ancient pagan religion of our people.The names of old Russian divines (Volos, Mokosh) have been preserved in numerous toponyms, hydronyms, microtoponyms, which are reflected in the Svolensk monuments of writing of the XVII-XVIII centuries. A large number of them still exist.

We also find indications to the lowest beings and spirits which are taken as alien to a man (devils, goblins) in Christianity.

This group of tohonyms is a precious evidence of the spiritual life of our people, it reconstitutes the picture of the word, that was dear and clear to our distant ancestors.

В далеком прошлом на землях будущего Смоленского княжества жили восточные балты [1]. Начиная с IX в. можно говорить о проживании здесь славянских племен [2]. Мировосприятие населявших эту территорию людей отражало их языческие верования. По мнению многих ученых, каждая языческая религия характеризуется многобожием. Один бог покровительствовал огню, другой – природным явлениям, третий помогал в повседневной деятельности человека и т. д. Люди наделяли сверхъестественными качествами также все живое и неживое: воду, землю, огонь, деревья и цветы, камни. Они поклонялись древним божествам, которым ставили идолы, приносили жертвы, устраивали святилища. Вот как описываются подобные святилища на территории Смоленского края: «Городище-святилище – либо укрепленные поселки типа городищ-убежищ, на которых были специальные культовые сооружения в

виде круглых построек из вертикально поставленных столбиков, в центре которых устанавливались изображения языческих божеств..., датируемые V-VIII вв., либо специальные сооружения, относимые к так называемым «болотным городищам», возведенным в труднодоступных местах, иногда на небольших всхолмлениях среди болот. Они имели округлую форму и небольшие площадки диаметром до 24 метров, были окружены одним или двумя невысокими кольцевыми валами, возможно, с деревянными стенами на них. Городища-святилища служили местами отправления языческих культов и в IX-XI вв., но, не исключено, и позднее» [3].

Древние божества в каждой местности могли быть своими, непохожими на других. И лишь трем богам люди поклонялись повсеместно, это были *Перун*, *Волос* (*Велес*) и *Мокошь*. Помимо этих трех богов, широко известными также являлись *Хорс*, *Симаргл*, *Стрибог*, *Дажьбог*, *Сварог* и некоторые другие. Великий киевский князь Владимир Святославич начал свое княжение с того, что на холме в Киеве поставил «кумиры» – изображения *Перуна*, *Велеса*, *Хорса*, *Мокоши* и иных языческих богов и приказал поклоняться им и приносить жертвы. Читаем об этом в «Повести временных лет» следующее: «И нача княжити Володимиръ въ Кыеве единъ, и постави кумиры на холму, вне двора теремнаго: Перуна деревянна, а главу его серебрену, а ус злат, и Хорса, и Даждьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Макошь» [4].

Самым почитаемым у древних славян был *Перун* – бог грозы, грома и молнии, главным его оружием были камни, стрелы и топоры. Перун уподоблялся Зевсу и Юпитеру; он считался покровителем военной дружины и ее предводителя — князя. Общеславянский культ Перуна восходит к культу бога грозы (грома) в индоевропейской мифологии и имеет много общих черт с аналогичным культом Перкунаса (Перконса) в балтийской мифологии [5]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля даны такие сведения о *Перуне*: «Въ Великой-Руси осталось мало следовъ этого бога грома и молнии, грозы; въ Белорусіи более, там его описываютъ; это высокий, плечистый головачъ, черноволосъ, черноглазъ, борода золотая, в правой руке лукъ, в левой колчанъ со стрелами; онъ ездитъ по небу въ колеснице, пускаетъ огненныя стрелы» [6].

Волос (*Велес*) считался покровителем домашних животных, его поэтому еще называли ‘скотий бог’. В древнем Киеве идол Перуна возвышался на горе, а идол Велеса стоял на Подоле (в нижней части города). В социальном аспекте это различие проявлялось в том, что Велес считался богом «всей Руси», а Перун – богом княжеской дружины. Полагают, что позже, после принятия христианства, *Волос* воспринимался как ‘лютый зверь’, ‘черт’ (ср. диалектные *волосатик*, *волосень* – ‘нечистый дух, черт’, также в чеш. *Велес* – ‘злой дух, демон’) [7].

Единственное женское божество – *Мокошь* – связывают, по одним данным, с прядением и представляют в виде женщины с большой головой и длинными руками, прядущей по ночам пряжу, по другим – с водой, дождем, воздевающей руки к небу с просьбой о солнце и дожде. Идол Мокоши стоял в Киеве на вершине холма рядом с кумирами Перуна и других божеств. Мокошь считалась олицетворением Матери-Сырой Земли, посредницей между небом и землей. Это было древнее земледельческое божество плодородия и женской жизненной силы, «мать урожая», богиня изобилия, покровительница полей и

скота, а также женских работ, в первую очередь прядения и ткачества [8].

С конца X в. на Руси начинает распространяться христианство, былые символы веры заменяются новыми. Князь Владимир, приняв христианство, приказывает уничтожить языческие идолы.

Но даже после 988 года, когда Древняя Русь приняла христианство и язычество было объявлено «вне закона», на протяжении целого тысячелетия языческие верования так или иначе сосуществовали с православием, видоизменяясь, приспосабливаясь к новым условиям. Многие древние божества становились неузнаваемыми, меняли свой статус, превращаясь в ‘нечистую силу, бесов’ (ср., например, *Волос*). В своей языческой традиции Велес воспринимался позднейшей православной традицией как ‘лютый зверь’, ‘черт’.

Представители официальной религии заставляли людей перестать поклоняться идолам, но не могли вытравить из народной памяти веру в языческих богов и духов. Несмотря на все гонения, языческие представления еще много веков были живы в сказках, былинах, песнях и других жанрах устного народного творчества.

Память о древних верованиях осталась и в топонимах. Имеются исследования по различным территориям, в которых освещены вопросы отражения языческих представлений в топонимии [9; 10; 11; 12; 13; 14 и др.].

Не является исключением и топонимия Смоленского края, в составе которой сохранились топонимы, отразившие в себе и донесшие через века до наших дней свидетельства былых языческих верований русского народа. Если о *Перуне* – повелителе грома и грозы – топонимических следов мы не обнаружили, то бог *Волос* (*Велес*), почитаемый как покровитель домашних животных, оставил память о себе в некоторых названиях населенных пунктов Смоленского края. Так, неоднократно упоминается в памятниках смоленской деловой письменности XVII-XVIII вв. река *Велеса* (РГАДА, 15170, 435. 1655-1680 гг.; ГАСО, 113/1, 205, 1 об. 1758 г.). Обратим внимание и на название пустоши *Волосаново* (РГАДА, 15170, 197 об. 1655-1680 гг.), заметим, правда, что данный микротопоним мог образоваться и позже от фамилии владельца. В настоящее время в Смоленской области есть несколько населенных пунктов, названия которых прямо или косвенно тоже свидетельствуют об их связи с древним божеством *Волосом* (*Велесом*): с. *Велисто*, д. *Волосово*, д. *Волоста* и сложный по составу топоним – пос. *Волосторечинский* [15 (в дальн. – АТУ)].

Есть в Смоленской области город *Велиж*, один из древних городов северо-западного региона Смоленщины. Традиционно название города связывали со словом *великий*, поскольку, по мнению белорусского топонимиста В.А. Жучкевича, Западная Двина в ее верхнем течении называлась *Велья*, суффикс *-иж* указывал на принадлежность, следовательно, *Велиж* – город, стоящий на *Велье* [16]. Хотя официальная его история ведется с XVI в., но упоминания о нем имеются и более ранние. Так, по свидетельству смоленских историков, в западнорусской летописи, так называемой хронике Быховца, город *Велиж* называется уже в середине XV в. Существует и другое мнение о происхождении названия *Велижа*. Недалеко от города есть озеро *Велисто*, речка *Велица* и другие топонимы, в которых прослеживается корень *вел-*. Возможно, «эти топонимы восходят к имени одного из почитаемых восточнославянских богов, покровителя диких и домашних животных, а потому подателю плодородия и богатства – *Велесу*. В лесном краю, каким была северная территория Смоленской зем-

ли (до сих пор здесь сохраняются остатки древнего Оковского леса), не мог не пользоваться особым почитанием именно *Велес*. Поселение с таким названием вполне могло появиться здесь еще в X- первой половине XI веков, когда земли уже осваивались кривичами, но христианство еще не пустило прочные корни. Заметим, что одноименное божество было и у балтов, которые жили в этих местах раньше» [17].

Интересным, на наш взгляд, является название одной из смоленских деревень *Волоста-Пятница* [АТУ. С. 147], соединившее в себе отголоски и языческого, и христианского мировоззрения. По некоторым данным, языческое женское божество *Мокошь* нашло свое дальнейшее продолжение и воплощение в христианской святой *Параскеве Пятнице*. Известно, что в пятницу нельзя было прясть, по этому поводу находим напоминание у Даля: «*Параскева-льняница*, день 14 октб.; начинаютъ мять и трепать льны; онъ же *Параскевья-грязная*, грязнуха. *Парасковья-временная*, день 28 октября; если же день этотъ упадетъ на пятницу, то онъ *Парасковьи-Пятницы*»; «По пятницамъ мужики не пашутъ, бабы не прядутъ. Кто въ пятницу прядет, святымъ родителямъ кострыкой глаза запорашиваетъ. // Не прясть в пяток, потому что въ сей день Спаситель претерпелъ оплевание, а на пряжу нельзя не плевать» [18].

Также на святую *Параскеву Пятницу* перенесли и связь древней *Мокоши* с водой: иконы *Святой Параскевы Пятницы* было принято помещать рядом с источниками и родниками, которые были известны как святые. «...приносили ей в дар первые снопы льна и вытканные убрусы, а также пряжу и кудель, которые бросали в колодец (такой обряд носил название *мокрида*; это название, как и имя Макоши, было связано с корнем *мокрый* и, возможно, с *mokos* – ‘прядение’). Таким образом, фактически все функции языческой Макоши перешли на святую Параскеву, и вообще Параскева в народных поверьях больше напоминала языческую богиню, чем святую» [19].

Возвращаясь к нашему смоленскому топониму *Волоста-Пятница*, отметим, что в нем соединились даже не два, а три божественных представителя: *Волос*, *Мокошь* – языческие божества – и *Параскева Пятница* – христианская святая.

Следы древнего языческого мировоззрения несут на себе и низшие существа и духи (*бес*, *леший*, *черт* и др.), которые в христианстве воспринимаются как враждебные человеку.

Самым, пожалуй, неприятным всегда был *бес*. Вот как описан он в Словаре Даля: «Бесъ, злобное, безплотное существо, злой духъ, демонъ, сатана, дIаволъ, чортъ, вельзевулъ, царь или князь тьмы, царь ада, преисподней; змIй, кромешный, врагъ, ворогъ, вражья сила, недругъ, неистовый, лукавый, нечистый, луканька, не-нашъ, недобрый, нелегкий, нелегкая, нечистая сила, неладный; соблазнитель, блазнитель, морока, мара, ляхой, игрецъ, шутъ, шайтанъ; черная, неключимая сила, некошной, ненавистникъ рода человеческаго, наше место свято» [20].

В смоленских памятниках письменности отмечаем следующие микротопонимы с корнем *бес-*: поле *Бесищевское* (РГАДА, 15171, 333 об. 1670-1697 гг.), пустошь *Обернибесово* (РГАДА, 15177, 568 об. 1680-1685 гг.). пустошь *Бесково* (РГАДА, 15175, 143. 1685-1690 гг.). Топонимы с корнем *бес-* существуют в топонимии края до настоящего времени: д. *Бесищево*, д. *Бесково*, д. *Бесовка*, д. *Бесово* [АТУ. С. 125].

Не был обойден вниманием и *черт*. Это слово также нашло отражение в микротопонимии: п. *Чертова* (РГАДА, 1355/1, 1440, 55 об. 1781 г.), ручей *Чертавъ* (ГАСО, 2/104, 37, 23. 1768 г.), п. *Чертоватка*, п. *Чортоватка* (РГАДА, 15175, 428 об., 430. 1685-1690 гг.), п. *Чертов починок* (РГАДА, 15171, 480 об. 1670-1697 гг.), луг *Чертарыга* (РГАДА, 1355/1, 54/1487, 50. 1776-1779 гг.), с-цо *Высочерт*, оз. *Высочерт* (РГАДА, 15171, 334 об. 1670-1696 гг.). Согласно Э.М. Мурзаеву, «топонимические образования со словом *черт* убеждают, что народ использует это слово при определении географических объектов, трудных для освоения, преодоления: чертова каменка, чертова лестница, нп. *Чертова Гора* в Иркутской обл. Сюда же – восклицание при досаде и трудных ситуациях: О, черт! // *Черторой* – рукав Днепра у Киева; *Чертория* в Черновицкой обл., оз. *Чарторыя* в бас. Вислы в Польше. Сюда же – руч. *Черторый* (ныне в трубе) в Москве» [21]. Подобные топонимы встречаем до настоящего времени и на Смоленщине: пос. *Чертки*, д. *Чертовка*, д. *Чертово*, д. *Чертовщина*, *Чертень*, д. *Высочерт* [АТУ. С. 379, 411, 396].

Также *дьявол, леший*, *мамона* стали основой для смоленских топонимов: д. *Дьяблово* [АТУ. С. 179], д. *Лешенки*, д. *Лешино*, д. *Лешно* [АТУ. С. 243], погост *Мамона* (1355/1, 54/1487, 49. 1776-1779 гг.), д. *Мамоново* [АТУ. С. 255].

«Нечистые», нехорошие места связывались со словами *поганый, смердячий*. Следующие топонимы и микротопонимы обозначали, по-видимому, также места, труднодоступные или недоступные, «нечистые»: д. *Поганки* (РГАДА, 15171, 240. 1670-1697 гг.), д. *Паганково* (ГАСО, 113/1, 154, 7. 1781 г.), *Поганцовский* ручей (РГАДА, 15170, 370. 1655-1680 гг.), речка *Смердяча* (РГАДА, 15175, 246 об. 1685-1690 гг.), п. *Смердово* (РГАДА, 15170, 388. 1655-1670 гг.), *Смердячее верховье* (РГАДА, 15170, 403 об. 1655-1670 гг.). До сих пор существуют в Смоленской области населенные пункты с такими названиями: д. *Поганки*, д. *Поганкино*, д. *Поганцево*, д. *Поганьково* [АТУ. С. 300].

Таким образом, топонимы, отразившие языческие верования, являются драгоценными свидетельствами прошлой духовной жизни нашего народа. Они, как крохотные бусинки из древних курганов, доносят до нас отзвуки былых обрядов, обычаев, законов, воссоздают для нас по крупицам ту картину мира, которая была понятна и дорога нашим предкам.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья // Материалы и исследования по археологии СССР. – 1970. – № 1. — С. 163.

2. Алексеев Л.В. Смоленская земля в IX-XIII вв. — М., 1980. — С. 33.

3. Шмидт Е.А. Городище-святилище // Смоленская область. Энциклопедия: В 2-х т. — Т. 2. — Смоленск, 2003. — С. 102-103.

4. Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто въ Киеве нача первее княжити, и откуду русская земля стала есть // Памятники литературы Древней Руси. XI- начало XII века. — М., 1976. — С. 94.

5. Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. — Т. 1. — М., 2003. — С. 227.

6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. – Т. 3. – М., 1990. – С. 103.

7. Славянская мифология: энциклопедический словарь. – М., 2002. – С. 88.

8. Шапарова Н.С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. – М., 2001. – С. 339.

9. Иванов В.В., Топоров В.Н. Мифологические географические названия как источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории славян // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев: Методология и историография. — М., 1976.

10. Мурзаев Э.М. Тюркские географические названия. — М., 1996.

11. Летова И.А. О следах языческих представлений в русской топонимии // Вопросы ономастики. — Свердловск, 1982. — Вып. 15.

12. Кузнецов А.В. Об отражении языческих верований северных славян в топонимии Вологодской области // Вопросы топонимики Подвинья и Поморья. — Архангельск, 1991.

13. Березович Е.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. – Екатеринбург, 2000.

14. Шилов А.Л. Топонимические свидетельства языческого прошлого Москвы // Вопросы ономастики. — Екатеринбург, 2006. – № 3.

15. АТУ – Административно-территориальное устройство Смоленской области. — М., 1981. — С. 142, 147.

16. Жучкевич В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. — Минск, 1974.

17. Смирнова А.Т. Велиж. Исторический очерк // Смоленщина в российской истории. Люди. События. Мнения: Сборник научных работ. — Смоленск, 2005. — Вып. 2. — С. 173.

18. Даль В.И. Указ. соч. — Т. 3. — М., 1990. — С. 18; 554.

19. Шапарова Н.С. Указ. соч. — С. 340.

20. Даль В.И. Указ. соч. — Т. 1.— С. 157.

21. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. – М., 1984. – С. 614.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

РГАДА – Российский государственный архив древних актов, фонд 1209/2 – Поместный приказ, опись 2, дд. № 15170, 15171, 15175, 15177; фонд 1355/1 – Экономические примечания, опись 1, дд. № 1440, 54/1487.

ГАСО – Государственный архив Смоленской области, фонд 113/1 – Личный фонд Клетновой Е.Н., опись 1, д. 205; фонд 2/104 – Смоленское губернское правление, д. 37.

В.А. Лаврентьев,
Московский педагогический
государственный университет

СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЛИЦО В КОНСТРУКЦИЯХ С ПРЕДИКАТОМ В ФОРМЕ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛА

Аннотация

В статье дан анализ семантики (определенность, обобщенность, неопределенность) синтаксического лица, которое выражено изосемическим средством; выявлены причины возможности употребления глагольных форм с различными значениями и условия, которые накладывают ограничения на употребление предложений с той или иной семантикой; описаны модальные и экспрессивные оттенки значений и средства их выражения.

A SYNTACTIC CATEGORY OF A PERSON IN CONSTRUCTION WITH A PREDICATE IN A FORM OF THE INDICATIVE MOOD OF A VERB

Vitaliy Lavrentjev

Abstract

The article gives semantic analysis (definity, generalization, indefinity) of a syntactic person, which is expressed by a verb forms; we define the reasons of using probability of verb forms with different meanings and conditions which put limits on the usage of sentences with different forms of semantics, we describe here modal and expressive variations and the ways of their expression.

Категория лица всегда находилась в поле зрения ученых. Особенно актуальными, на наш взгляд, являются вопросы, связанные с исследованиями категории синтаксического лица. «Категория лица меньше исследована, чем модальность и время, в чем, конечно, сказалось «отлучение» ее от предикативности» [1]. Действительно, в одних работах синтаксическое лицо не входит в число категорий, формирующих предикативность [2], в других – рассматривается как ее компонент [3]. «Категория лица, – пишет П.А. Лекант, – должна рассматриваться в системе предикативных категорий, в соотношении с ними. В ней самой (как и в категориях модальности, времени) должны быть определены и разграничены различные аспекты и описаны соответствующие показатели» [4].

Синтаксическое лицо указывает на отношение высказывания или его элементов к говорящему как совпадение субъекта с говорящим, с собеседником или с третьим лицом, как указание на авторство модальных оценок. Синтаксическое лицо может быть представлено определенно, неопределенно, обобщенно. Изосемическим средством выражения синтаксического лица являются личные глагольные формы. В работе рассматриваются значения лица, выражаемые формами изъявительного наклонения глагола.

Форма 1-го лица единственного числа является наиболее конкретной и устойчивой и способна употребляться с определенно-личным и (весьма редко) с обобщенно-личным значением.

С *определенно-личным* значением форма 1-го лица единственного числа

употребляется во всех стилях устной и письменной речи: *Во вторник поеду, еще раз поговорю* (А. Чехов); *Я люблю страну, но не переношу то, что в ней происходит* (В. Пелевин). Вставки или пропуск местоимения-подлежащего служат средством выражения разнообразных экспрессивных и смысловых оттенков.

Обобщенно-личное значение в форме 1-го лица единственного числа вызывается содержанием предложения, его грамматической структурой. Значение формы зависит от смысла целого предложения, а не выражается само собой: *Кого журю, того люблю* (В. Даль).

Обобщенно-личное значение является для формы 1-го лица единственного числа необычным и непостоянным. «Форма 1-го лица единственного числа иногда служит для обозначения обобщенного субъекта, – отмечает В.В. Виноградов, – и в этом случае индивидуально-личное значение ее ослабевает» [5]. Здесь же ученый заключает, что с «грамматической точки зрения наиболее устойчива и наименее многозначна форма 1-го лица единственного числа как форма субъекта речи» [6].

Форма 2-го лица единственного числа способна выражать два грамматических значения лица (определенно- и обобщенно-личное), однако, в отличие от формы 1-го лица единственного числа, одинаково употребительна как с тем, так и с другим значением.

Форма 2-го лица единственного числа с *определенно-личным* значением употребляется в роли сказуемого двусоставного предложения или главного члена односоставного определенно-личного предложения: *Бредишь, милый* (И. Гончаров); *Как ты думаешь, сигарет прислали?* (Т. Устинова).

Обычным для формы 2-го лица является употребление с обобщенно-личным значением: *Жить и сгорать у всех в обычае, Но жизнь тогда лишь обессмертишь, Когда ей к свету и величию Своею жертвой путь прочертишь* (Б. Пастернак).

Основными грамматическими средствами, выражающими обобщенность в форме 2-го лица единственного числа, являются:

1. Односоставность конструкции обобщенно-личного предложения, которая так же, как и в неопределенно-личных предложениях, служит грамматическим средством редукции грамматического субъекта, средством частичного устранения личного оттенка.

Форма 2-го лица единственного числа с обобщенно-личным значением встречается и в двусоставных личных предложениях, например: *Книга не принесет тебе радости, если ты не научишься углубляться в чтение* (К. Федин). Наличие подлежащего создает конфликт между формой и содержанием предложения, которое имеет обобщенное значение, но подлежащее в таком предложении не несет на себе смысловой акцентации, которая противоречила бы общему смыслу и функции предложения.

2. Само грамматическое содержание формы 2-го лица единственного числа. «В отличие от форм 1-го лица единственного и множественного числа, в которых даже при переносном употреблении отчетливо сохраняется отношение к конкретному субъекту речи, значение форм 2-го лица гораздо более неопределенно и растяжимо. Формы 2-го лица абстрактнее форм 1-го лица. Теряя прямое отношение к данному конкретному собеседнику, они получают обобщенное значение» [7]. Употребление форм 2-го лица с обобщенно-личным значением соотносительно и синонимично употреблению инфинитива или сочетания

безлично-предикативного слова (слова категории состояния) с инфинитивом с безличным значением: *Кашу маслом не испортишь* (В. Даль) – *Кашу маслом не испортить – Кашу маслом нельзя испортить*.

В конструкции с обобщенно-личным значением форма 2-го лица единственного числа передает действие нереальное. Например, в предложении *Без труда не вынешь рыбку из пруда* действие *не вынешь* только предполагается как невозможное без осуществления труда, так как само предложение (пословица) употребляется переносно, метафорично, в качестве определения и характеристики какого-либо состояния человека и обозначает вывод-сентенцию «*Ничего не дается без труда*», «*Все делается посредством труда*».

3. Значение обобщенности в форме 2-го лица единственного числа связано через обозначаемое действие со значением времени, вида, наклонения, залога, поэтому нетрудно заметить, что одни значения времени, вида, наклонения, залога способствуют развитию значений обобщенности в этой форме, другие не способствуют. Глагол в форме 2-го лица единственного числа с обобщенно-личным значением совершенного вида изображает или повторяющееся действие, или действие, которое может осуществиться в любой момент: *Какову дружбу заведешь, такову и жизнь поведешь* (пословица); *Когда влюбишься, даже и луна кажется в новинку* (К. Федин). Глагол в форме 2-го лица единственного числа с обобщенно-личным значением несовершенного вида изображает действие или повторяющееся, обычное, возможное в любой момент, или действие, имеющее обобщенно-фактическое видовое значение, например: *А я говорю о том, как ошибаешься по дороге к цели* (К. Федин).

В современном русском языке в предложении выявляются собственно обобщенно-личное и определенно-обобщенно-личное значения действия в форме 2-го лица единственного числа.

Собственно обобщенно-личным является значение обобщенности лица в таких формах 2-го лица единственного числа, в которых действие, приписываемое говорящим собеседнику, в то же время соотносится со всеми другими лицами: *За недобрым пойдешь, на худо набредешь* (В. Даль).

Формы с собственно обобщенно-личной семантикой выражают различные модальные значения: *индикативное*, такое модальное значение, которое выражает осуществимую возможность: *Чего хочешь, того и просишь* (В. Даль); значение *невозможности*, то есть обозначение действия, которое не может быть действительным при известных условиях: *Из одной курицы на бригаду лапши не сваришь* (М. Шолохов); значение *возможности*, то есть обозначение такого действия, которое может быть совершено лишь при известных условиях, но пока еще не действительно: *Тут с тобой и умом тронешься* (М. Шолохов); *Раньше начнешь, раньше поспеешь* (пословица). Возможность действия выражается глаголами совершенного (реже несовершенного) вида и мыслится как осуществимое в будущем при определенном развертывании сложившихся событий или соблюдении известных условий, поэтому формы 2-го лица глаголов со значением возможности широко используется в обобщенно-личных предложениях, входящих в состав сложных конструкций.

Формы 2-го лица с собственно обобщенно-личным значением употребляются не только в обобщенно-личных, но и двусоставных предложениях с формально выраженным подлежащим-местоимением *ты*, где они так же, как и в односоставных предложениях, могут выражать индикативное значение, воз-

можность и невозможность действия.

Определенно-обобщенно-личным является значение в таких формах 2-го лица единственного числа, в которых действие, приписываемое говорящим самому себе, в то же время соотносится со всеми другими лицами: *Помню, влезешь на скирд, замаскируешь в копнах полуавтоматические пушки и ждешь* (А. Первенцев). В данном предложении одна форма употреблена в значении другой. При такой транспозиции наличие оттенка обобщенности лица отрицать не приходится.

С определенно-обобщенно-личным значением не употребляются лишь глаголы, содержание которых не понимается как обычное, повторяющееся явление (*родиться, умереть* и др.), а также глаголы, действие которых не может быть соотнесено с лицом (*блестеть, кипеть* и др.).

Предложения, в которых используется форма 2-го лица с определенно-обобщенно-личной семантикой, могут иметь значение вывода, но не могут быть пословицами и поговорками из-за присутствия конкретно-личного оттенка. Форма 2-го лица единственного числа с определенно-обобщенно-личным значением используется преимущественно в односоставных предложениях, повествующих о событиях, происходивших в прошлом. Она нередко употребляется в сочетании с частицей *бывало* и выражает большое количество (в сочетании с другими средствами языка) модальных значений и экспрессивных оттенков.

От форм 2-го лица с определенно-обобщенно-личным значением, употребляющихся в предложениях, содержащих вывод, намечается переход к формам 2-го лица с собственно обобщенно-личным значением. Между этими двумя значениями можно обнаружить ряд промежуточных значений лица, например: *Посмотришь навстречу этому блестящему потоку – слепят глаза лучи сотен фар, посмотришь вслед – мигают, отражаясь в асфальте* (В. Пелевин). Между содержанием предложения и личным значением формы 2-го лица в таких конструкциях устанавливается закономерность: чем ярче вывод (сентенция) в предложении, тем значение формы 2-го лица единственного числа ближе к собственно обобщенно-личному, и наоборот, то есть степень яркости сентенции в предложении прямо пропорциональна степени обобщенности лица в форме глагола.

Разновидностями прямого личного значения формы 3-го лица единственного числа являются определенно-, обобщенно- и неопределенно-личное.

В отличие от форм 1-го и 2-го лица, форма 3-го лица глагола может иметь определенно-личное и определенно-предметное значение: – *Никогда не попросит! – сказал Петр Иванович, затворяя за собой дверь* (И. Гончаров); *Костер красит медным цветом их лица* (Н. Островский).

Форма 3-го лица единственного числа с *обобщенно-личным значением* употребляется в современном русском языке редко, что обусловлено ее грамматическими свойствами: – *В любви, знаете ли, Володечка, только дуры и курицы гордые – и мещанки. Ах, скажите, она скорее* ***умрет****, чем пожертвует своей гордостью. Значит,* ***не любит****, если горда* (Ю. Герман). «Она [форма. – В. Л.] не может (или может только в исключительных случаях) обозначать обобщенное представление о лице», – отмечал В.В. Виноградов [8]. Последнее объясняется ее грамматической омонимичностью.

С *неопределенно-личным* значением форма 3-го лица единственного числа

также употребляется редко. Например: *В окопы ползком протаскивали пищу. **Ляжет** на брюхо, **вытянет** руки с котелком или суповой чашкой и **ползет** – **ползет**, как червяк, **извивается** – на локтях да на коленках от самой кухни **строчит*** (Д. Фурманов). Значению неопределенности лица в таких формах сопутствует значение обобщенности. Действие здесь не распространяется на всех лиц вообще, как в обобщенно-личных предложениях со 2-м лицом единственного числа с собственно обобщенно-личным значением, а может быть приписано хотя и каждому лицу, но из определенного круга людей и в конкретной ситуации: – *Только без ваших штучек, – сказал он севшим со сна голосом. – А то бывает – **плеснет** серной кислотой, потом разбирайся* (Ю. Герман).

Форма 1-го лица множественного числа может быть употреблена с определенно- или обобщенно-личным значением.

С *определенно-личным* значением она одинаково употребительна как в роли главного члена односоставного предложения, так и в роли сказуемого в двусоставном предложении: *У окошка с полукруглой надписью «Касса», мы **дышим** друг другу в затылок. **Переминаемся** с ноги на ногу, в десятый раз **читаем** плакат, предлагающий «Волгу» за тридцать копеек* (В. Песков).

Употребление формы 1-го лица множественного числа с *обобщенно-личным* значением в односоставных или двусоставных предложениях представляет в современном русском языке явление редкое, что объясняется грамматическими свойствами этой формы. Известно, что постоянным компонентом личного значения в форме 1-го лица множественного числа является 1-е лицо в единственном числе (говорящий), которое всегда как-то конкретизирует действие: *Чего в детстве просим, то под старость бросим* (В. Даль); *И всегда от одной мысли, что мы едем в Москву, каждая поездка кажется нам и новой и неизведанно радостной, точно мы никогда не лежали на верхней полке пассажирского вагона* (С. Бабаевский). «В обобщенных сентенциях 1-е лицо множественного числа может означать неопределенную группу лиц, с которой говорящий объединяет себя в силу солидарности, общности характера или привычек. Это так называемое неопределенное 1-ое лицо множественного числа: *поживем – увидим; что имеем, не храним, – потерявши, плачем* и т. п.» [9].

Форма 2-го лица множественного числа может быть употреблена с определенно- и обобщенно-личным значениями.

С *определенно-личным* значением она одинаково употребительна в роли главного члена односоставного и сказуемого двусоставного предложений: *Мы все тут пропадем: ни один боевой приказ не выполняется. Разве **не видите?*** (А. Серафимович); – *Турникет **ищете**, гражданин?* (М. Булгаков).

С *обобщенно-личным* значением форма 2-го лица множественного числа употребляется, как правило, в двусоставных предложениях, не содержащих вывода-сентенции: *Иногда снятся странные сны, невозможные и неестественные; пробуждаясь, вы **припоминаете** их ясно и **удивляетесь** странному факту* (Ф. Достоевский).

Формы 2-го лица множественного числа с обобщенным значением используются в определенных стилях как средство выражения экспрессии. В романе А. Чаковского «У нас уже утро» при описании богатств Сахалина на одной странице дается 20 предложений, в которых форма 2-го лица множественного числа имеет обобщенно-личное значение. В них автор обращается к любому неопределенно представляемому читающему или слушающему лицу: *Если вы*

***умеете** и **любите работать**, ручаюсь, дел у вас будет по горло. Вы **заставите** нашу землю родить хлеб. Вы **будете добывать** здесь торф, ртуть, медь; вы **превратите** наш остров в остров счастья.*

Формы 2-го лица множественного числа с обобщенно-личным значением употребляются в предложениях, широко используемых в научной литературе при описании опытов, экспериментов и т. п. Использование форм с обобщенно-личным значением в научной литературе оживляет изложение, делает его более доходчивым: *Вы **применяете** продолжительное действие нижнего недействительного прибора. Если короткое время спустя после этого вы **испытываете** верхние приборы, то все они недействительны. Но чем более вы **удлиняете** промежуток времени...* (И.П. Павлов).

Форма 3-го лица множественного числа употребляется с определенно-, неопределенно- и обобщенно-личным значениями.

Определенно-личное значение в форме 3-го лица множественного числа указывает на то, что реальным субъектом действия, обозначенного этой формой, являются конкретные лица или предметы: *Немного обидно было узнать, как именно ребята из рекламных агентств на Мэдисон-авеню **представляют** себе свою аудиторию, так называемую target group* (В. Пелевин).

То, что форма 3-го лица множественного числа способна употребляться с *неопределенно-личным* значением, объясняется абстрактностью обозначаемого ею значения личности. Форма множественного числа (а также 3-го лица) имеет в неопределенно-личных предложениях более общее, чем обычно, значение: она обозначает, что производителем действия не является какое-нибудь определенное лицо, точнее – что вопрос о точном определении лица-производителя не имеет в данном случае значения: ***Говорят**, что "чужие" довели страну до ручки* (Т. Устинова). Неопределенность лица, выражаемая формой глагола 3-го лица множественного числа в неопределенно-личных предложениях, проявляется в разнообразных значениях и оттенках.

Различие *обобщенно-личного* и неопределенно-личного значений в форме 3-го лица множественного числа отражается в грамматических свойствах предложения, в котором употреблена эта форма глагола, а также в лексических и грамматических свойствах самого глагола (вид, время и др.): *За ученого трех неученых **дают**, да и то **не берут*** (В. Даль); *Знаете, как **поступают** с такими франтами* (И. Гончаров).

Способность глаголов употребляться с различными значениями лица связана с их лексической семантикой: не могут употребляться с личными значениями (исключая определенно-предметные) глаголы, которые обозначают действия нелиц (*мерцать, сочиться* и др.), наоборот, свободно употребляются с различными значениями лица глаголы, которые обозначают обычные, часто повторяемые лицами действия (*звать, бить* и др.).

Формы прошедшего времени единственного числа в современном русском языке способны обозначать только две разновидности грамматического значения лица: определенно- и обобщенно-личное.

С *определенно-личным* значением они используются в двусоставных предложениях с грамматически выраженным или опущенным (в неполных предложениях) подлежащим, например: *Я просто **тосковал** по «Моряку»* (К. Паустовский); *Ах, **догадался**, дядюшка!* (И. Гончаров).

С *обобщенно-личным* значением может выступать лишь форма муж-

ского рода. Большая конкретность родового значения (наличие флексии *-а*) в форме женского рода, а также грамматическая омонимичность (личность-безличность) формы среднего рода мешают употреблению анализируемых форм с обобщенно-личным значением: *Чему **учился**, тому и **пригодился*** (В. Даль).

Личные формы прошедшего времени множественного числа глаголов способны употребляться с определенно-, неопределенно- и обобщенно-личными значениями.

Определенно-личное значение указывает на то, что реальным субъектом обозначаемого этой формой действия являются или *я, ты, он (она)* плюс другие лица, или предметы, что определенно устанавливается из контекста: *Павел и Рита встали* (Н. Островский).

Форма прошедшего времени с *неопределенно-личным* значением употребляется преимущественно в односоставных (неопределенно-личных) предложениях, которые сообщают о факте действия, имевшем место в действительности: *А Чехова **не вылечили** от чахотки. Тоже – медицина ваша!* (Ю. Герман).

Формы прошедшего времени множественного числа с обобщенно-личным значением малоупотребительны, что объясняется конкретностью их временного значения. С обобщенно-личным значением они встречаются преимущественно в составе сложных предложений, не представляющих сентенций: *И всегда от одной мысли, что мы едем в Москву, каждая поездка кажется нам новой и неизвестно радостной, точно мы еще никогда не **лежали** на верхней полке пассажирского вагона* (С. Бабаевский).

Таким образом, из всех форм наиболее способными к употреблению с разными личными значениями являются формы 2-го лица единственного числа и 3-го лица множественного числа настоящего и будущего времени, наименее способными – формы 1-го и 3-го лица единственного числа. В статье не анализировались случаи переносного употребления глагольных форм, это станет предметом отдельного исследования.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лекант П.А. Структура синтаксической категории лица // Грамматические категории слова и предложения. – М., 2007. – С. 108.

2. Шведова Н.Ю. Входит ли лицо в круг синтаксических категорий, формирующих предикативность? // Русский язык: Избранные работы. – М., 2005; Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М., 1991.

3. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. – М., 2004; Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. – М., 2004; Современный русский язык / Под ред. С.М. Колесниковой. – М., 2008.

4. Лекант П.А. Структура синтаксической категории лица // Грамматические категории слова и предложения. – М., 2007. – С. 108.

5. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) – М., 1986. – С. 377.

6. Там же. – С. 377.

7. Там же. – С. 378.

8. Там же. – С. 380.

9. Там же. – С. 378.

Е.Ю. Махницкая,
Ростовский государственный
экономический университет

ТЕРМИН И АСПЕКТЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ С ПОЗИЦИИ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Аннотация

В данной статье говорится о необходимости изучения тех проявлений в семантике и прагматике термина, которые сближают его с обычным словом. Когнитивный подход диктует понимание терминосистемы как языка в языке со всеми присущими живому языку особенностями, выделяя в термине все типы значения и допуская возможность выполнения термином любой из функций, характерных для слова общего языка.

E. Makhnitskaya

TERM AND ASPECT OF ITS INVESTIGATION FROM THE POSITION OF COGNITIVE APPROACH

Abstract

The paper deals with necessity of study of termins semantics and pragmatics which bring it together with a common word. Approach determines the understanding of a term system as language within a language with all it's vivid pecularities. Approach singles out all types of meanings in a term can fulfill any function typical for a word.

Понятие «терминосистема» является одним из базовых терминов традиционной лингвистики. Исследователи, занимающиеся изучением механизмов организации терминосистем, их формированием и функционированием в русле когнитивной лингвистики, используя понятие «терминосистема», употребляют его как общепринятый и не предпринимают попыток сформулировать дефиницию понятия в русле когнитивистики.

Очевидно, что терминосистема представляет собой концептуальную систему отражения научной либо профессиональной картины мира, поскольку отображает результаты опыта и практической деятельности людей. Терминосистема принадлежит к явлениям не причинного, а целевого характера, которая определяется своей функцией, заключающейся в фиксации профессионально-научных знаний о свойствах терминируемых объектов и дефинировании их существенных признаков. Термин имеет специальную коммуникативную значимость и способствует обогащению научной картины мира. В связи с указанными уточнениями в качестве рабочего определения терминосистемы можно предложить следующее:

терминосистема – это когнитивная система специальной области науки или деятельности, представляющая собой совокупность концептов, эксплицированных различными типами структур представления знаний (фреймы, скрипты, гештальты, схемы, картины) в виде терминов и терминологизированных сочетаний, обеспечивающих номинацию основных понятий опреде-

ленной области знаний или сферы деятельности.

Структура различных специализированных, отраслевых терминосистем характеризуется как специфическими, только ей присущими чертами, обусловленными целями, задачами, объектом и предметом, так и некоторыми общими чертами. В частности, в их рамках принято различать общенаучные термины (*теория, гипотеза, методы*) и термины, которые используются в нескольких областях знаний или сферах деятельности (например, термин *аккумуляция* и его дериват *аккумулирование* употребляется в терминосистемах биологии, медицины, политики, экономики, физики и т.д.), но при этом являются омонимичными по отношению друг к другу. Помимо этих двух групп, Л.В. Ивина [1] предлагает выделять так называемые абсолютные термины, которые служат характерной чертой отраслевой терминосистемы, корпусом специальных терминов, именующих специфические для каждой конкретной области знания реалии, понятия, категории.

Предложенная классификация с позиции когнитивно-дискурсного подхода требует некоторого уточнения. Дело в том, что институциональный дискурс как речемыслительная деятельность в определенной сфере и среде предполагает фундаментальное членение, в результате которого выделяются, например, медицинский дискурс, юридический дискурс, экономический дискурс и т.д. Внутри каждого из перечисленных институциональных дискурсов идет членение на «субдискурсы», например, внутри медицинского дикурса выделяется хирургический, терапевтический, стоматологический и т.д., внутри юридического – судебный, уголовный, законолательный и т.д., внутри экономического – банковский, бухгалтерский, биржевой и т.д. Из этого следует, что терминосистемы как ядерные образования указанных дискурсов также подвержены фундаментальному членению – медицинская, юридическая, экономическая – и более детальному внутри каждой соответственно.

Данный подход предполагает наличие общенаучных терминов, межотраслевых и узкоспециальных. *Общенаучные термины* являются общими для всей научной сферы и при этом не являются омонимичными, а употребляются, как правило, в основном «общенаучном» значении: *концепция, понятие, гипотеза, конституанта, квант* и т.д.

Межотраслевые термины – это термины общемедицинские (*здоровье, заболевание, диагноз, анамнез*), общеюридические (*право, закон, презумпция невиновности, уголовная ответственность*) и общеэкономические (*продажа, прирост, юридическое лицо, оборот денежных средств*) соответственно.

Узкоспециальные термины – специфические, специализированные единицы конкретной отрасли знания или деятельности.

Термины, которые используются в нескольких областях знаний или сферах деятельности, но при этом не являются общенаучными логичнее рассматривать как омонимы и не включать в данную классификацию.

Термин как центральное понятие терминологии уже давно находится в фокусе интересов лингвистов и в связи с этим имеет немало дефиниций, представленных различными авторами. Долгое время приоритетным и единственно правильным считалось изучение терминов как «лингвистических «трупов» [2]». Причины этого, возможно, кроются в том, что к середине XX века сложилось понимание термина как «рафинированной» единицы специальной области знания или деятельности (ср.: «Термин принципиально лежит вне экспрес-

сии... <...> Термин точен и холоден, и сфера экспрессии для термина в пределах терминологии внеположна» [3]).

Особо отмечалось, что при дефинировании термина следует учитывать *семантические, формальные* и *прагматические* (в зн. «функциональные») требования, предъявляемые ему как особой единице [4].

К *семантическим характеристикам* относится непротиворечивость семантики (т.е. соответствие термина понятию); однозначность (т.е. исключение категориальной многозначности); полнозначность (т.е. отражение в значении термина минимального количества признаков, достаточных для идентификации обозначаемого им понятия), отсутствие синонимов.

Формальные требования заключаются в соответствии нормам языка (т.е. в устранении или замещении отклонений от фонетических и грамматических норм, профессиональных жаргонизмов), лексической и формальной краткости (т.е. предпочтение нетавтологичности и кратким формам), деривационной способности, инвариантности форм, мотивированности, систематичности (т.е. возможности отражения в структуре термина связи называемого понятия с другими в данной системе понятий, и места этого понятия в данной понятийной системе).

Прагматические, или в данном случае – функциональные, *требования*, включают в себя внедренность в профессиональную коммуникацию (т.е. общепринятость и употребительность), интернациональность (т.е. стремление к одинаковости или близости форм, совпадению содержания терминов, употребляемых в нескольких национальных языках), современность (т.е. замена устаревших терминов современными эквивалентами), благозвучность (т.е. удобство произношения и отсутствие ассоциативной неблагозвучности) и эзотеричность (т.е. намеренная недоступность для неспециалистов).

Данные требования декларировались во многих работах по терминоведению, но, к сожалению, многие из них не соблюдались и не соблюдаются даже в лингвистической терминологии. К ярким нарушениям семантических требований относится, например, гетерогенность и противоречивость семантики терминов «прагматика» и «дискурс» и, несмотря на нежелательность синонимов в рамках терминосистемы, наличие эквивалентов «орфография» = «правописание», «арго» = «жаргон» = «сленг», «префикс» = «приставка» и т.д. Такие синонимы, как «аллофоны, находящиеся в отношениях дополнительной дистрибуции» и «аллофоны, находящиеся в отношениях контрастной дистрибуции» вместо общелингвистических терминов «звуки» и «фонемы», вступают в противоречие и с формальными требованиями.

Другими словами, декларируемые терминоведами требования к терминам на поверку оказываются несостоятельными, тем не менее методология изучения терминосистем «в самих себе и для себя» сохранялась вплоть до конца столетия. Естественным продолжением и логичным обобщением проведенных в рамках традиционной лингвистики исследований в области терминологии явилась статья Н.В. Васильевой в «БЭС: Языкознание», где сказано, что термин – это «слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности» и что «термин входит в общую лексическую систему языка через посредство конкретной терминологической системы (терминологии), а все его отличительные особенности, как-то: *системность, наличие дефиниции, тенденция к моносемичности, отсутствие экспрессии, стилис-*

тическая нейтральность – реализуются только внутри терминологического поля, за пределами которого термин теряет свои дефинитивные и системные характеристики» [5]. Эти свойства термина признаются аксиомой многими исследователями (А.Н. Баранов, В.П. Даниленко, В.М. Лейчик, А.В. Лемов, А.В. Суперанская и др.). И даже существует мнение, что «искать в термине все то, что свойственно обычному слову, едва ли целесообразно» [6].

Подобная категоричность при характеристике термина представляется неоднозначной. Ведь очевидно, что игнорирование тех проявлений в семантике и прагматике термина, которые сближают его с обычным словом, обедняет наше представление о терминологии и ее возможностях.

Г.О. Винокур утверждал, что «в роли термина может выступать всякое слово, как бы оно ни было тривиально, и что *термины – это не особые слова, а только слова в особой функции* (выделено мной. – Е.М.)» [7]. «Всякое слово» может выступать в роли термина при условии, что его значение включается в некоторую достаточно четко определенную систему понятий, «относящуюся к определенной систематизированной предметной области» [8]. Термином может быть заимствование, калька, транслитерация, слово, образованное на основе метафорического переноса, слово, созданное из морфемного инвентаря собственного языка или из интернациональных элементов и т.д. Но в любом случае новообразование, созданное по словообразовательной модели общего языка и обладающее лексико-грамматическими признаками, на основе которых оно вступает в семантические и синтаксические отношения, органично вливается в общий лексический состав языка, а это значит, что терминам, по образному выражению Н.З. Котеловой, «ничто языковое не чуждо» [9].

С позиции когнитивно-дискурсного подхода, язык – это небольшая часть целостного явления, которое мы стремимся познать, и для его познания необходимо привлечение знаний о мире, социального контекста высказываний, способов взаимодействия и организации всех типов знаний, а также всей деятельности человека [10]. А терминология как ядерное образование языка для специальных целей – это небольшая часть общего языка как целостного явления. Если говорить с применением традиционной метафоры, язык – это организм, язык для специальных целей – орган, терминология – молекула как «наименьшая частица вещества, обладающая всеми его свойствами», а термин – атом, т.е. «мельчайшая частица элемента, сохраняющая его свойства». Из этого следует, что язык для специальных целей нужно изучать в рамках определенного дискурса с учетом факторов «внутренней» и «внешней» лингвистики, терминологию – с привлечением лексикологических категорий в аспекте системных отношений и стратификации терминоэлементов, а термин – как слово, выделяя в нем все типы значения и допуская возможность выполнения термином любой из функций, характерных для слова общего языка.

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось появлением работ, авторы которых словосочетание «прагматика термина» не считают оксюмороном, а, напротив, наполняют определенным смыслом. Ср.: «термины, будучи главным средством обеспечения высокой степени информативности научного текста и интегрирования, в то же время могут обладать и коммуникативно-прагматическими свойствами. Поскольку научный текст бывает эмоциональным и экспрессивным, то и его главная составляющая – терминология – также вовлекается в передачу прагматических смыслов» [11].

Каждый научный текст репрезентирует научное знание в виде концепта, который *эмоционально* переживается. Использованный в каждом конкретном научном тексте термин выступает в качестве особой когнитивной репрезентации и моделирует не только исследуемую реальность, но и когнитивные стратегии автора, а через них его менталитет. И если «терминологическое значение не содержит этнокультурных, квалификационных и эмоциональных коннотаций» [12], то сам термин, «помимо общей позитивной прагматики особого информационного знака, несущего знание, может обладать всеми оттенками оценочности по параметрам “свое//чужое”, “необычное//традиционное”, “удачное//неудачное”, “модное//устаревшее”, “мелиоративное//пейоративное”» [13].

В терминологиях социально-экономического блока очень часто есть не только понятийные (идеографические) синонимы, но и прагматические синонимы, отличающиеся коннотативными приращениями в семантическом содержании. Причем наличие синонимических рядов позволяет не только точнее (в понятийном смысле) номинировать явление, но и выразить определенное к нему отношение, ср. (в экономике): *бросовый экспорт* = демпинг, *отмывание денег* = легализация, оффшор = *налоговый рай, налоговый оазис.*

Следует помнить и о том, что существует принципиальное отличие подъязыков социально-экономического блока от других подъязыков для специальных целей, которое коренится в соотношении объективных и субъективных факторов, особенностях социального познания, прежде всего той ролью, которую играет в них субъективное начало. Именно здесь следует искать объяснение тому, что

1) значительное число терминов специальных языков социально-экономических наук оказывается подверженным так называемой концептуальной дифференциации;

2) некоторым терминам социально-экономического блока присуще такое свойство, как неопределенность или размытость значений;

3) отражать ценностную составляющую социальных понятий призваны коннотативно и прагматически окрашенные слова.

Особенность внутренней организации терминологии можно рассмотреть на примере профессионального языка экономистов как подъязыка социально-экономического блока, которая заключается прежде всего в том, что экономика является не только областью науки, но и областью практической деятельности, включая в себя специальную лексику теоретических экономических наук, прикладных экономических наук и профессиональной практической экономики.

В терминологии теоретических экономических наук на первый план выступает соотнесенность термина и понятия. В языке профессиональной практической экономики, где первенствуют предметы, вещи, объекты, на первое место выходит номинативная направленность терминов. В прикладных экономических науках соотношение понятий и предметов примерно одинаково. Поэтому применительно к профессиональному языку экономистов особую значимость приобретает обоснование разделения *терминологической лексики*, к которой целесообразно причислить кроме собственно терминов также и профессионализмы, и профессиональные арготизмы, – и *номенклатурных единиц.*

Различие между термином и номенклатурой емко и лаконично сформулировал А.А. Реформатский: «Терминология, прежде всего, связана с системой понятий данной науки, номенклатура же лишь этикетирует ее объекты» [14]. Это значит, что номенклатура прямо не соотнесена с понятиями науки и «не репрезентирует науку в системе ее понятий» [15]. Данное положение вытекает из идей Г.О. Винокура, писавшего чуть ранее: «Что касается номенклатуры, то в отличие от терминологии под ней следует понимать систему совершенно абстрактных и условных символов, единственное назначение которой состоит в том, чтобы дать максимально удобные с практической точки зрения средства для обозначения предметов, вещей без прямого отношения к потребностям теоретической мысли, оперирующей этими вещами» [16].

Термины для каждой науки «исчислимы и принудительно связаны с понятиями данной науки, так как словесно отражают систему данной науки» [17]. Номенклатура неисчислима, хотя и сопряжена с понятиями, но более номинативна [18]. Термин – конституанта терминологического поля и может жить вне контекста, если известен «терминологический ключ» (термин А.А. Реформатского), ср.:

узус (в экономике) «в предпринимательском праве торговый обычай, который используется для определения воли участников сделки, не нашедшей прямого отражения в договоре; срок оплаты векселя, установленный торговым обычаем»;

узус (в языкознании) «общепринятое употребление языковой единицы в отличие от его окказионального употребления».

Данное свойство – принадлежность к терминологическому полю и способность существовать вне контекста – присуще и профессионализмам и (в некоторой степени) профессиональным арготизмам, ср.:

стрижка (в экономике) «1) фактор риска, используемый для оценки ценных бумаг при расчете нетто-капитала биржевика; 2) сумма, которая вычитается из стоимости ценных бумаг при подсчете чистого капитала брокера».

Термины, в том числе профессионализмы и профессиональные арготизмы, обязательно понятийны. Для номенов строгая понятийность не обязательна. Для них важнее предметная закрепленность.

Номен – «слово или словосочетание, имеющее прямую связь с предметом как с видом, представляющим собой неопределенное множество идентичных единиц, являющихся объектом какой-либо отрасли науки, техники, производства, искусства и т.п.» [19]. Номены составляют особый слой специальной лексики, отличной от терминов, от общеупотребительной («бытовой») лексики в логико-понятийном и языковом планах. Бывают случаи, когда номен одного терминологического поля омонимичен профессионализму (разновидность терминологической лексики) другого терминологического поля:

угол (в экономике – профессионализм) «монопольное поведение компании, состоящее в контролировании объема совокупного предложения товара»;

угол (в геометрии – номен) «геометрическая фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки».

Однако случаи, когда омонимичными являются номены различных специальных языков, гораздо более часты, ср.:

связка (в экономике) – «общий пакет в виде совокупности разных выпус-

ков корпоративных ценных бумаг, предлагаемый к продаже инвестиционным дилером по единой цене»;

связка (в языкознании) – «служебный грамматический элемент составного сказуемого»;

связки (в физиологии) – «плотные соединительнотканные тяжки и пластины, соединяющие кости скелета или отдельные органы».

лев (в экономике) – «денежная единица Болгарии»;

лев (в зоологии) – «хищник семейства кошачьих».

Среди номенов в подъязыке экономики отчетливо выделяются так называемые коммерческие номены, или прагматонимы, которыми по сути являются эргонимы и товарные знаки. «Словарь русской ономастической терминологии» дает следующее определение эргонимам и товарным знакам:

эргонимы – «собственное имя делового объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка» [20].

Товарные знаки – «словесное (или иное) обозначение марки товара или вида бытовых услуг данного мастера или предприятия, охраняемое законом» [21].

Все обозначенные конституанты терминологического поля экономики – термины (включая профессионализмы и профессиональные арготизмы) и номенклатурные знаки (номены, в том числе прагматонимы – товарные знаки и эргонимы) – способны образовывать синонимические ряды, антонимические и конверсивные пары, иметь паронимы (чаще в качестве незаконного использования товарных знаков) и омонимы.

Таким образом, с позиции когнитивно-дискурсного подхода терминология является цементирующим базовым ядром специализированного институционального дискурса и предполагает фундаментальное, межотраслевое и узкоспециальное членение, в результате которого выделяются *общенаучные, межотраслевые и узкоспециальные* термины.

Терминологическая лексика на основании различной функциональной ориентированности предполагает наличие терминов, к которым относятся собственно *термины, профессионализмы и профессиональные арготизмы,* и номенклатурных единиц, в подгруппе которых выделяются *номены* и прагматонимы – *эргонимы и товарные знаки*.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ивина Л.В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем (на примере англоязычной терминологии венчурного финансирования): Учебно-методическое пособие. – М., 2003. – С. 25.

2. Ср.: «В медицине строение человека изучается на трупах, но это изучение не дает представления о функционировании живого организма. Лингвистический «труп» так же изучается самым настоятельным образом. Это главное содержание традиционной лингвистики.» [Звегинцев В.А. Мысли о лингвистике. – М., МГУ. – С. 147].

3. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология. – М., 1959. – С. 11.

4. Гринев С.В. Введение в терминоведение. – М., 1993. – С. 34–41.

5. Васильева Н.В. Термин // // Большой энциклопедический словарь.

Языкознание / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М., 1998. – С. 508.

6. Азарова Л.Е. Лексико-семантические особенности термина // Языковые единицы: логика и семантика, функции и прагматика: Сб. научных трудов к 75-летию П.В. Чеснокова. – Таганрог, 1999. – С. 193.

7. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Тр. Моск. ин-та истории, философии и литературы. Сб. статей по языкознанию. – Т. 5. – 1939. – С. 5.

8. Пиотровский Р.Г., Рахубо Н.П., Хажинская М.С. Системное исследование лексики научного текста. – Кишинев, 1981. – С. 20.

9. Котелова Н.З. Значение слова и его сочетаемость. –Л., 1975. – С. 39.

10. Герасимов В.И. На пути к когнитивной модели языка // НЗЛ. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. – М., 1988. – С. 6.

11. Ларина Ю.Е. Прагматика термина как семиотическое свойство (на материале русской лингвистической терминологии): автореф. дисс… канд. фил. наук. – Краснодар, 2007. – С. 6.

12. Лемов А.В. Система, структура и функционирование научного термина (на материале русской лингвистической терминологии). – Саранск, 2000. – С. 103.

13. Ларина Ю.Е. Указ. соч. – С. 13.

14. Реформатский А.А. Указ. соч. – С. 3.

15. Реформатский А.А. Указ. соч. – С. 4.

16. Винокур Г.О. Указ. соч. – С. 8.

17. Реформатский А.А. Указ. соч. – С. 6.

18. Там же.

19. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М., 1978. – С. 90.

20. Подольская Н.В. Указ. соч. – С. 166.

21. Подольская Н.В. Указ. соч. – С. 135.

С.В. Мкртычян,
Военная академия воздушно-космической обороны

ТИПОЛОГИЯ РЕЧЕВЫХ ТАКТИК УСТНОГО ДЕЛОВОГО АРГУМЕНТАТИВНОГО ДИСКУРСА

Аннотация

В статье уточнено понятие аргументирования с позиций когнитивно-прагматического подхода; предложены критерии классификации речевых тактик аргументирования; рассмотрена типология речевых тактик подбора аргумента в устном деловом межличностном дискурсе, разработанная на основе анкетирования, проведенного среди представителей бюджетной (в том числе военной) и коммерческой сфер общения, и анализа дискурсивной практики; приведены примеры реализации описанных речевых тактик в тактических ходах и сделаны наблюдения относительно специфики их речевого оформления.

Svetlana Mkrtytchian

A TYPOLOGY OF ARGUMENTATIVE SPEECH TACTICS IN ORAL ARGUMENTATIVE BUSINESS DISCOURSE

Abstract

The notion of argumentative practice is defined more exactly in the article within fame of cognio-pragmatic (that is joint cognitive and pragmatic) approach; a few new criteria of argumentative speech tactics classification have been introduced by the author of the article; an outline is given of a typology of argument invention speech tactics in oral interpersonal business communication, based on questionnaire methods, which have been applied within frame of commercial, military and civil communication and corresponding discursive practices analysis as well; a set of cited examples in 'tactical moves' realization in particular argumentative speech tactics is provided, the attention is paid to their characteristic linguistic features.

Вопросы аргументации и аргументирования получили широкое и разностороннее освещение в литературе.

Под аргументированием мы понимаем процесс дискурсивного воплощения такого способа речевого воздействия, интенциональный потенциал которого направлен на убеждение оппонента в чем-либо (что рассматривается как реализация скрытых/явных интенций) и/или на достижение победы в споре (нейтрализацию/подавление противостояния). Аргументирование – это не просто выраженный в речи способ рассуждения, но и «инструмент», позволяющий человеку осуществлять эффективное общение в социальной среде. Оно выполняет функцию посредника в развитии «обусловленных социальных представлений и моделей обусловленного социального поведения» [1].

Аргументирование осуществляется посредством активации интерактивных фреймов стереотипных ситуаций – речевых тактик. С помощью речевых

тактик можно предпринять попытку дискретизировать многомерный смысл разнообразных коммуникативных ситуаций, поскольку «процесс выбора фреймов и составление сценария определяется какими-то лингвистическими (прагматическими) правилами» [2]. При этом не приходится рассчитывать на создание такой модели, в которой будут учтены все параметры коммуникативной ситуации, или, как пишет об этом М. Минский, «хотя нам и хотелось бы свести смысл к очень небольшому числу «примитивных» понятий, я не вижу оснований надеяться, что эта цель достижима» [3]. По этой причине классификация речевых тактик имеет один трудно устранимый недостаток – условность и приблизительность, что не противоречит наличию глубинной семантической структуры речевых тактик у каждого из носителей языка.

В основу предлагаемой типологии тактик устного делового аргументативного дискурса положены наиболее типичные мыслительные операции, конструирующие его, такие, как подбор аргументов, выбор способа их расположения и использования, метадиалоговый фактор инициальности / респонсивности, а также установка личности на конфликтность / кооперативность общения.

Подробнее остановимся на тактиках подбора аргумента.

В зависимости от характера аргумента можно выделить тактику апелляции к рациональному и тактику апелляции к иррациональному. Дихотомия иррациональное/рациональное применительно к аргументации имеет длительную историю.

Со времен Аристотеля аргументы классифицировали на: *естественные доказательства* (все то, что позже было названо «эвиденцией», т.е. неоспоримые факты) и *искусственные доказательства,* которые подразделялись на *логические (*индукция, дедукция и аналогия), *этические* и *чувственные.* Позднее естественные доказательства были объединены с логическими доводами и получили название *«ad rem» («по существу»),* а остальные искусственные доказательства были названы *«ad hominem» («к человеку»)* [4].

Логические аргументы, реализующие тактику апелляции к рациональному, обращены к разуму и основываются на здравом смысле. Как показал материал анкетирования, проведенного среди представителей бюджетной (в том числе военной) и коммерческой сфер делового общения, а также анализ дискурса перечисленных сфер общения, тактика апелляции к рациональному предполагает обращение прежде всего к фактам: речевая тактика «ссылка на реальные факты действительности» и речевая тактика «ссылка на данные авторитетных источников» (нормативно-правовых актов, статистики и т.д.) [см. об этом: 4, 5, 6]. Примеры тактических ходов, реализующих эти речевые тактики, приведены ниже.

Хочу поблагодарить Вас за хорошую организацию внеаудиторного мероприятия для курсантов. Вы удачно рассчитали время, все остались довольны выступлением приглашенного коллектива. Все выступления курсантов были отрепетированы. В общем, всё очень гладко. Спасибо!

Тактика апелляции к иррациональному базируется на психологических аргументах, обращенных к чувствам (под чувством понимаем «высшую, культурно обусловленную эмоцию человека, связанную с некоторым социальным объектом» [7: 683]) и эмоциям («элементарным переживаниям, возникающим у человека под влиянием общего состояния организма и хода процесса удов-

летворения актуальных потребностей» [7: 684]).

Мы не ставим перед собой заведомо невыполнимую задачу дать классификацию чувств и эмоций с целью построения таксономии речевых тактик апелляции к иррациональному. Полагаем, что целесообразнее обратиться к дискурсивному материалу, позволяющему выделить наиболее частотные речевые тактики устного делового аргументативно-информативного дискурса. Некоторые названия тактик, данные в кавычках и снабженные ссылками, заимствованы из работы С. И. Поварнина «Спор: О теории и практике спора», например: тактика «подмазывания» аргумента, «ставки на ложный стыд», «карманного» / «палочного» аргумента, «сведения к абсурду», «кунктации» [6: 10-53]. Другая группа тактик (ставки на свой возраст, навязывания пресуппозиции, дискредитации и обструкции, указания на противоречие между словом и делом, оценки / интерпретации / замены / переадресации / предвидения аргумента (вопроса) оппонента, «Фомы Неверующего») предлагается нами.

В рамках данной статьи мы сосредоточили свое внимание на уточнении сущности тактик применительно к деловому дискурсу, а также на выявлении особенностей их лексико-грамматического оформления. Опишем тактики и проиллюстрируем их конкретными тактическими ходами.

1. Тактика «подмазывания» [6: 10-53] аргумента (или тактика комплимента) заключается в сопровождении аргумента комплиментом оппоненту, сделанному в расчете на то, что противник примет довод без возражений. Противнику тонко дают понять, что к нему лично относятся с особым уважением, высоко ценят его ум и признают его достоинства. В соответствии с принципом вежливости оппонент должен быть благодарен за проявленную симпатию, что позволяет осуществлять власть над адресатом. Формальная организация комплимента, как правило, имеет вид позитивной констатации, т.е. незатейливый комплимент. Например:

Вы, как человек умный, не станете это отрицать.

Всем хорошо известны ваши честность и принципиальность, поэтому вы, конечно, согласитесь.

2. Тактика «ставки на ложный стыд» заключается в высказывании точки зрения таким образом, как будто она не нуждается в обосновании в силу своей очевидности [6: 10-53]. Подразумевается, что человек, неспособный увидеть бесспорность предлагаемой ему точки зрения, должен быть либо некомпетентным в предмете спора, либо просто глупым.

Вам это, конечно, известно.
Этот факт является общеизвестным.
Наука давно установила.
Неужели вы до сих пор не знаете?

Использование тактики рассчитано на то, что оппонент не пожелает уронить себя в глазах окружающих, не признается, что ему что-то неизвестно, поэтому вынужден будет соглашаться с аргументами противника.

Реализация тактики осуществляется несколькими способами:

За счет введения модальных слов (*конечно, безусловно* и т.д.). Например:

Эту точку зрения, безусловно, разделяют все присутствующие.

Путем постановки прямых вопросов с частицами *неужели, разве, ли*. Например:

Разве это неизвестно?

Путем апелляции к аудитории с помощью «принудительно-блокирующих вопросов» [5: 120]. Например:

Вы же согласны с тем, что очевидно?

Путем пассивизации синтаксических конструкций, т.е. выведением агенса, в том числе превращением предложения в безличное или неопределенно-личное:

Трудно спорить с этим фактом.

Путем введения специфичного логического субъекта. Например:

Даже ***ребенку*** *ясно.*

Ни один ***здравомыслящий человек*** *не станет отрицать.*

3. Тактика «карманного» / «палочного» аргумента связана с подчеркиванием выгоды / вреда для оппонента или для общества / коллектива [6: 10-53]. Например:

Скажите, ну Вам-то зачем это всё нужно, жили бы себе спокойно?

Вы приобретете себе головную боль, если согласитесь на это предложение…

Это в Ваших интересах.

Конечно, я целиком предоставляю вам самому решать это, но вы должны понимать, что ваша позиция до добра не доведет.

Заметим, что тактика «палочного» аргумента в устном деловом дискурсе является более продуктивной, чем тактика «карманного» аргумента.

4. Тактика ставки на свой возраст основана на воздействии путем ссылки на собственный авторитет, опыт, возраст.

Приведем некоторые выявленные тактические ходы, реализующие эту тактику:

Я со своим жизненным опытом хорошо понимаю, что …

Вот доживите до моих лет, тогда и судите…

5. Тактика навязывания пресуппозиции осуществляется путем помещения семантической информации в условно имплицитный компонент плана содержания. Например:

Нет смысла обсуждать ваши ***скандальные*** *решения относительно кадровых перемещений.*

Этот ***невероятно запутанный*** *проект не позволит нам найти выход из этой* ***сложной ситуации****.*

Содержащиеся в ваших возражениях ***иллюзии*** *только тормозят работу.*

Предложенный вами ***трюк*** *неуместен.*

Зачастую данная тактика реализуется посредством вопросов с ложными (или бессмысленными) альтернативами. Их логическая форма имеет следующий вид: А или В? При этом сразу возникает необходимость следования правилам корректности разделительных вопросов. В простом разделительном вопросе (А или В?) одна из запрашиваемых альтернатив должна быть верной. В противном случае весь вопрос превращается в некорректный. В сложном разделительном вопросе вопрос «Верно ли, что А…» должен подтверждаться одной из запрашиваемых альтернатив. Иначе вопрос также превращается в некорректный.

Чтобы вопрос был полным, число запрашиваемых альтернатив должно быть исчерпывающим. В противном случае вопросы могут быть некорректны-

ми по причине того, что они неполные. Например:

Вы действительно не понимаете или издеваетесь надо мной?

Вы с нами или против нас?

Вопросы могут быть бессмысленными, предлагающими в качестве альтернатив два несопоставимых качества. Они основаны на нарушении правил определения и классификации:

Что вам нравится больше — жадность или ревность?

Вариантом реализации тактики навязывания пресуппозиции может быть «множественный вопрос». Например:

Чем вы объясните низкое качество вашей работы?

6. Тактика дискредитации и обструкции, цель которой состоит в опровержении идеи через дискредитацию без обсуждения и анализа высказанных оппонентом аргументов. Реализующие ее тактические ходы содержат обидные эпитеты, насмешки, язвительные замечания, проявляющиеся в форме обращения к партнеру, различные варианты отрицательных оценок, адресованных прежде всего автору высказывания и, уже косвенно, его позиции. Возможно прямое оскорбление, в частности через навешивание ярлыка. Например:

Как вам не стыдно!

Вы в этом ничего не понимаете!

Косвенное оскорбление осуществляется путем причисления или непричисления к группе и созданием определенных дискредитирующих адресата ассоциаций и сравнений. Например:

Мужчинам не дано понять.

Ах, у Вас же военные мозги.

Тактика дискредитации зачастую пересекается с тактикой навязывания пресуппозиции:

Ваше блестящее выступление стало предметом бурного обсуждения (о неудачном выступлении).

Критика самого оппонента, особенно сочетающаяся с давлением на него, является еще более эффективной, если достигается имплицитными средствами.

7. Тактика «сведения к абсурду» состоит в искусственном усилении и доведении до абсурда позиции оппонента [6: 10-53]. Например:

Если мы все будем так рассуждать, то коллектив развалится.

Дай волю одному, и все туда же.

Зачастую эта тактика реализуется посредством встречных риторических вопросов:

Ж 45: Мне показалось, что вы несколько агрессивно со мной разговариваете.

Ж 50: Мне что, теперь в ноги вам упасть?

8. Тактика указания на противоречие между словом и делом. Например:

Вам ли, такому неорганизованному человеку, который постоянно опаздывает, учить нас дисциплине.

Психологизм аргумента заключается в его переносе с факта на личность.

9. Тактика «кунктации» (от лат. cunctator – медлительный). Применяя этот прием, стараются занять выжидательную позицию в споре или отложить ответ [6: 10-53]. Например:

Я думаю, что гораздо полнее смогу ответить вам на этот вопрос не

здесь и сейчас, а через несколько дней, когда я просмотрю соответствующие материалы.

Можно выделить различные варианты реализации этой тактики путем использования тактики контрвопросов, которая заключается в переложении бремени доказывания на оппонента. Она реализуется посредством большого количества уточняющих встречных вопросов. Например:

- Я так больше не могу.

- Что значит «так», что значит «больше» и что такое «не могу», когда Вам говорят «надо»?

Достаточно часто тактика контрвопросов реализуется посредством встречного уточняющего вопроса. Например:

Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы попросить пояснить, что вы понимаете под словами "ответственность" и "социальная справедливость"?

Давайте уточним, что такое для вас «совесть»?

10. Тактика оценки / интерпретации / замены / переадресации / предвидения аргумента (вопроса) оппонента.

Пример 1 (оценка).

Это довольно сложный вопрос, подробный ответ на него займет у нас много времени, которым мы, увы, не располагаем.

Пример 2 (интерпретация).

Задавая мне вопрос относительно моих доходов, Вы, наверное, хотите узнать доволен ли я в целом своей зарплатой. Скажу Вам: да.

Деструктивная стратегия аргументирования часто бывает направлена не столько на интерпретацию самого аргумента, сколько на определение мотива оппонента. У С.И. Поварнина эта тактика называется «чтением в сердцах». Например:

Вы говорите из жалости к нему.

Вы наверняка думаете так же, только из самолюбия не хотите признать своей ошибки.

Пример 3 (замена).

Чтобы ответить на Ваш вопрос относительно плеча финансового рычага, думаю, для начала целесообразно выяснить, как обстоят дела с долгосрочными кредитами.

Пример 4 (переадресация).

Этими вопросами у нас занимается Павел Иванович, и я думаю, что он более компетентно ответит на заданный вопрос, поэтому я советую вам обратиться именно к нему.

Пример 5 (предвидение аргумента).

На вашем месте я обязательно спросил бы про сверхурочные работы и схему их оплаты.

11. Тактика «Фомы Неверующего» заключается в том, чтобы ни с чем не соглашаться и одновременно не аргументировать свою позицию. Например:

У меня на этот счет собственная позиция.

Категорически против такого решения.

Анализ привлеченного дискурсивного материала и анкетных данных показал, что количественно соотношение тактик апелляции к рациональному и тактик апелляции к иррациональному составляет соответственно 10% и 90%.

Тактики аргументирования возможно классифицировать в зависимости от того, какое место занимает тезис, насколько целостно представлено доказательство в интеракции в рамках одного коммуникативного хода, под которым, вслед за М.Л. Макаровым, понимаем «коммуникативный акт или последовательность актов, функционально объединенных иерархически доминантной целью в сложный макроакт с точки зрения динамического развития дискурса» [8]. Кроме того, в качестве основания классификации можно использовать наличие контраргументов и нейтральных аргументов.

Нейтральные аргументы – аргументы, которые реализуют видимое согласие. Их нельзя отнести ни к аргументам «за», ни к аргументам «против». Например:

Р Ж 52: Вы снова не сдали отчет в срок. Все мое терпение лопнуло.

П М 34: Да, я совершенно с Вами согласен, что отчеты нужно сдавать в срок...

Таким образом, анализ материала позволяет сделать следующие выводы:

1. Предлагаемая типология тактик устного делового межличностного дискурса является результатом анкетирования, проведенного среди представителей бюджетной (в том числе военной) и коммерческой сфер общения, и анализа дискурсивной практики, что позволяет достаточно объективно и полно отразить специфику устного делового межличностного дискурса.

2. Аргументирование рассматривается нами как процесс дискурсивного воплощения такого способа речевого воздействия, который направлен на убеждение оппонента в чем-либо и/или на достижение победы в споре (нейтрализацию / подавление противостояния).

3. Аргументирование осуществляется посредством применения речевых тактик. В основу предлагаемой типологии тактик устного делового аргументативного дискурса положены наиболее типичные мыслительные операции, конструирующие его, такие, как подбор аргументов, выбор способа их расположения и использования, метадиалоговый фактор инициальности / респонсивности, а также установка личности на конфликтность / кооперативность общения. Данная типология речевых тактик в аспекте оценки эффективности коммуникации (выявления причин коммуникативных сбоев и неудач) может обладать лингводидактическим потенциалом.

4. Знания и умения, связанные с активным использованием эффективных речевых тактик аргументирования и пассивным усвоением неэффективных, являются дискурсивно-тактической составляющей коммуникативной компетенции. Формирование её может быть положено в основу создания концепции обучения эффективному устному деловому общению.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Цепцов В.А., Куарье П. Когнитивная модель аргументации // Психологический журнал. – Т. 18. – 1997. – С. 32.

2. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М., 2006. – С. 90.

3. Минский М. Структура для представления знания // Психология машинного зрения. – М., 1978. – С. 295.

4. Хазагеров Т. Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций; Словарь риторических фигур. – Ростов н/Д, 1999. – С. 41-42.

5. Мкртычян С. В. Белая риторика. Черная риторика. Материалы интеллектуальных тренингов по развитию навыков ведения полемики. – Тверь, 2007. – 152 с.

6. Поварнин С. И. Спор: О теории и практике спора // Вопросы философии. –1990. – № 2. – С.10-53.

7. Немов Р. С. Психология: учеб. для студ. высш. пед. уч. заведений: в 3 кн. – М., 2004. – Кн. 1. Общие основы психологии. – 687 с.

8. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. – М., 2003. – 280 с.

Е.В. Назарова-Евенко,
Тамбовский государственный
технический университет

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ ТЕКСТА КАК СРЕДСТВО, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ ПОСТРОЕНИЮ СМЫСЛА-ТОНАЛЬНОСТИ

Аннотация

В основе данной статьи – фоносемантическая организованность художественного текста. Количественное накопление звуковой доминанты на предложенном отрезке текста (поэтического или прозаического) создает определенную звуковую организацию, которая соответствует особой звуковой тональности текста. Количественное накопление звуковых доминант вызывает звуковые ассоциации, основанные на явлении звукоподражания и звукосимволизма.

PHONOSEMANTIC ORGANIZATION OF THE TEXT AS A MEANS OF MEANINGFULLNESS-TONE BUILDING

E. Nazarova-Yevenko
Tambov State Technical University

Abstract

Phonosemantic organization of the text is in the center of the article. Sound dominant quantitative accumulation for the space of the part of the text (poetic or prosaic one) creates a definite sound organization which corresponds to a specific meaningfulness-tone of the text. Sound dominant quantitative accumulation causes sound associations based on the soundimitation and soundsymbolism phenomenon.

Окружающий нас мир изобилует звуками. Воспринимая те или иные звуки языка, человек ассоциирует звуки с определенными фонетическими значениями.

Благодаря единой речемыслительной базе человечества, каждый индивид может наделить определенными свойствами воспринимаемые им звуки подсознательно. Он не осознает, почему он наделяет звук теми или иными характеристиками. В это время его мозг проделывает огромную работу, в которой задействован целый механизм, состоящий из цепочки последовательно выполняемых действий, обрабатывая и декодируя ту информацию, которую получают органы зрения, обоняния, вкуса и слуха. Изучением данных процессов, базирующихся на звукоизобразительности, занимается довольно молодая наука фоносемантика, основоположником которой можно признать С.В. Воронина [1].

Возникновение такой языковедческой науки, как фоносемантика обусловлено исследованием одного из сложнейших вопросов теории языка, касающегося явления звукоизобразительности, при котором между звучанием слова и его значением, бесспорно, существует прямая естественная связь. Обобщение, систематизация и анализ огромного фактического материала способствовали

развитию науки фоносемантики и различных ее аспектов.

Фоносемантическая теория основывается на фундаментальных постулатах, утвердившихся как в лингвистической науке, так и во всей совокупности дисциплин, объектом которых является человек и окружающая его действительность.

Звукоподражательную подсистему образуют звукоподражательные слова. В основу номинации звукоподражательного слова положен звук, т.е. акустический денотат. Звукоподражание также можно определить как условную словесную имитацию звучаний окружающей действительности средствами данного языка. Артикуляция звукоизобразительного корневого слова с физической точки зрения почти воспроизводит природный процесс, производящий звук. Объективная классификация звукоподражательных слов-ономатопов, разработанная С. В. Ворониным, строится на основе психоакустических параметров звучаний различных типов денотатов.

Другим важным направлением в изучении звукосимволической системы языка является звукосимволизм. Звукосимволическую подсистему образуют звукосимволические слова. Номинация звукосимволического слова основывается на признаках объекта, воспринимаемых в любой (кроме слуховой) сенсорной модальности человека, а именно через зрение, обоняние, осязание, вкус). Сфера мотивации начальной денотации звукосимволического слова – не акустико-артикуляторные свойства звука. Психофизиологической основой звукосимволического слова являются кинемы и явление синестэмии. Кинемы – это различные жестовые (в том числе мимические) движения, представляющие собой рефлекторные и «выразительные» движения, сопровождающие «внутренние» (сенсорные, эмотивные, волюнтативные, ментальные) процессы в сфере сознания человека, а также «симпатические» движения, служащие мимическими подражаниями «внешним» неакустическим объектам (их форме, размеру, движению) [1]. Совокупность указанных выше кинем С. В. Воронин называет «синкинемией». Механизм, который помогает переводить стимулы одной сенсорной модальности в другую носит название «синестезия». Синестезия – возникновение «ощущения определенной модальности под воздействием раздражителя совершенно другой модальности» [2: 56]. С. В. Воронин ввел более широкое понятие синестэмии (буквально – «соощущения» плюс «соэмоции»), учитывающее, помимо чисто сенсорных переносов, и эмоциональные переносы. Таким образом, в основе звукосимволической лексики лежит синкинемия и синестэмия, предстваляющие в совокупности «синкинестэмию».

В процессе построения смысла-тональности мы опираемся на классификацию звукосимволизма, разработанную А.Б. Михалевым (эхоический, синестетический и физиогномический звукосимволизм). Данная классификация выбрана нами потому, что в классификации звукосимволизма, разработанной А.Б. Михалевым, предусмотрены все модальности восприятия, а также эмотивные и психофизиологические свойства ассоциированного звука [3: 92-93].

Артикулируемый звук, являясь отражением чувственно воспринимаемых явлений, представляет собой потенциально знаковую единицу. От Платона до М. Граммона не прекращались попытки уловить определенные параллели между свойствами речевого звука и символизируемыми им понятиями.

Сводная таблица потенциальных значений фонем А. Б. Михалева, используемая в настоящей статье для построения смысла-тональности, выгля-

дит следующим образом:

Фонемы	**Звукоподражательные значения**	**Артикуляционно-символические значения**	**Синестетическое развитие**
[I]	Высокие, резкие, тонкие, протяжные звуки	«Высокий», «ближний», малый»	«Светлый»,«легкий», «веселый», «острый», «угловатый», «быстрый»
[A]	Низкие, густые, протяжные звуки	«Низкий» «дальний», «большой»	«Тяжелый», «медлительный»
[O/U]	Завывающие звуки	«Округлый», «глубокий»	«Тяжелый», «медлительный»
[B/P]	Взрывные, бьющие, булькающие звуки	«Удар», «объемное», «раздутое», «речевая деятельность»	«Круглое», «полное», «большое» и т.д.
[V/F]	Звук воздушной струи	«Речевая деятельность»	«Течение, «протекание», «выход», «вход»
[D/T]	Короткие глухие шумы (инстанты)	«Твердость», «преграда», «протыкание», «напряжение», «давление»	«Плотный», «густой»
[G/K]	Голосовые звуки, глотание, глухие низкие шумы	«Гортань», «горловая деятельность»	Презрительно-уничижительное значение
[S/Z/S/J]	Длительные свистящие шумы, звук вообще	«Щель», проход», «вход», «выход», «узкий», «сильный», «быстрый»	«Диффузность», «дисперсность»
[R]	Длительные дрожащие шумы (континуанты)	«Дрожание, «колебание», «повторяемость», «вращение, круговое движение», «напряженность»	«Круглый», «движение вообще»
[L]		«Лакание», «лизание», «жидкость»	«Льющийся», «плавный», «ровный»,гладкий», «липкий»,«скользкий», «легкий»
[M]		«Речевая деятельность», «ротовая деятельность», «удар», «мягкий»	«Приятный»
[N]	Протяжные «стонущие» звуки	«Носовая деятельность», «собственно нос», «внутреннее местонахождение»	«Отрицание»
[H]	Различные виды шумов	«Щель», «проход», «вход», «выход», «вдох-выдох»	«Дыхание»

Перечисленные звукоизобразительные значения используются в настоящей работе в качестве ключевых фоносемантических характеристик в процессе построения смысла-тональности.

Гипотеза состоит в том, что подготовленный реципиент может строить смысл-тональность в процессе рецепции художественного текста.

При восприятии звуковой организации в тексте реципиент формирует смысл-тональность. **Под звуковой организацией текста понимается фонетически согласованная автором структура текста.** В настоящей работе рассматривается мыслительный механизм построения смысла-тональности, выражен-

ный через алгоритм, представленный в данной работе. А также рассматриваются фоносемантические средства текста, которые являются необходимыми единицами в процессе построения смысла-тональности.

Процесс построения смысла-тональности непосредственно связан с психологией таких познавательных процессов, как ощущение, восприятие, мышление, категоризация. «Сличение и объединение объектов, процессов и их признаков происходит на основе установления отношений сходства или смежности» [3: 13]. Исходя из сказанного, можно утверждать, что категоризацию в процессе понимания можно рассматривать как мыслительный процесс, в котором происходит оценивание и отнесение к определенному классу фоносемантических средств. С нашей точки зрения, *категоризация – это механизм, встроенный в мышление, с помощью которого мы оцениваем все объекты внешнего мира, окружающего нас, и относим их к определенному классу.*

Мыследеятельность при рецепции звуковой организации текста представляет собой осмысление таких фоносемантических единиц, которые воспринимаются как необычные, лишенные автоматизма, и в силу этого привлекающие внимание и организующие смысл-тональность в тексте.

Смысл-тональность в настоящей работе трактуется как эмоциональная настроенность текста, определяемая особой аранжировкой лексических единиц, которые создают тон звучания.

Термин «тональность» взят нами из музыковедения, где он трактуется как: «высота звуков лада, определяемая положением главного тона на той или иной ступени основного ряда» [4: 510]. В языкознании тональность определяется как «основная, эмоциональная настроенность в художественном произведении» [4: 736]. Исходя из этого определения, мы пришли к выводу, что эмоциональность в тексте создается тоном звучания. Следовательно, **тональность представляет собой звуковую аранжировку текста,** а тон звучания характеризуется такими параметрами, как интонация, высота, тембр. Итак, в процессе своей мыслительной деятельности индивид формирует представление о звуковой организации текста.

В когнитивном механизме построения смысла-тональности в поэтическом и прозаическом тексте выявляется следующий алгоритм понимания:

1) восприятие текста;

2) категоризация воспринимаемой звуковой организации;

3) осмысление звуковой организации;

4) усмотрение ассоциаций, вызываемых звуковой организацией текста;

5) категоризация усматриваемых ассоциаций;

6) построение смысла-тональности.

Ассоциация (от лат. associatio – соединение**) – это возникающая в опыте индивида закономерная связь между двумя содержаниями сознания (ощущениями, представлениями, мыслями, чувствами и т.п.), которая выражается в том, что появление в сознании одного из содержаний влечет за собой и появление другого** [5: 26].

В этой связи рассмотрим в качестве примера построения смысла-тональности по представленному в данной работе алгоритму, следующий текстовый отрезок, опираясь в своем анализе на сводную таблицу потенциальных значений фонем А. Б. Михалева: «И дробный топот гопака перед порогом кабака» [6: 105].

После восприятия данного отрезка текста, в ходе категоризации и осмысления выявляется звуковая организация из смычных согласных доминант [т], [п], [к], частотность употребления которых вызывает ассоциации с «резкими ударами ног» или с «топотом копыт» и характеризует употребляемый автором звукокомплекс набором следующих ассоциативных признаков: «твердые, сухие, сильные, агрессивные». В данном примере звуковая организация из доминант [т], [п], [к] представлена в фонологической оппозиции по глухости/звонкости со своими парными фонемами [д], [б], [г], которые отличаются некоторыми ассоциативными оттенками от своих аллофонов – «более сильные, громкие и грубые». Звуковая аранжировка поддерживается также и вибрантом [р], который при своем количественном накоплении обладает широкими звукоподражательными возможностями в изображении различных «дрожащих шумов и колебаний» (в соответствии с таблицей А.Б. Михалева), а отсюда звуковая доминанта [р] ассоциируется с «многократным возвращением в первоначальное положение, повторяемостью». Основные акустико-артикуляционные ассоциации звуковой организации с преобладанием доминанты [р] – «энергичный, напряженный, долгий». Все перечисленные фонемы (как мельчайшие значимые единицы) образуют такую звуковую организацию, которая в ходе звуко-ассоциативного анализа формирует в этом отрывке смысл-тональность «прерывистое», «резкое», «агрессивное».

В предлагаемом исследовании мы выделяем следующие типы смысла-тональности по критерию превалирования звуковых доминант: мажорному, минорному, смешанному.

Смысл-тональность мажорного типа характеризуется употреблением основных звуковых доминант мажорной тональности -[а], [э], [i], [l], [m], (и русские эквиваленты [л], [м], [н]). **Под звуковой доминантой понимается количественное накопление определенного звука на анализируемом отрезке текста.** Количественное накопление данных звуков вызывают ассоциации со «светлыми, радостными, громкими» (о гласных) и «мягкими, нежными, медленными, приятными» тонами (о согласных). Указанные ассоциации выявлены в ходе исследования звуко-ассоциативного процесса при построении смысла-тональности по следующим критериям оценки: акустико-артикуляторные ассоциации; образные ассоциации; физиогномические ассоциации.

Смысл-тональность минорного типа характеризуется накоплением строгих и мрачных звуковых доминант [у], [ы], [о]. Такое накопление вызывает ассоциации с «тоскливыми, протяжными, темными, неприятными» тонами, а количественное накопление [t], [d], [k], [r], [o], [p], [f] [w] и [х], [ж], [ч], [з] (шипяще-свистящие или фрикативные) вызывает ассоциации с «твердыми, грубыми, агрессивными» тонами. Соответствующие характеристики выявляются в ходе исследования звуко-ассоциативного процесса, также по указанным выше критериям оценки.

Смысл-тональность смешанного типа характеризуется частотностью употребления звуковых доминант двух предыдущих типов смысловой тональности (мажорной и минорной), т.е. [а], [н], [у], [о], [ы], [д], [р] [m], [l], [ч], [ш] и др. по основным критериям оценки.

Рассмотрим на примере и проанализируем мыслительный процесс построения смысла-тональности по предложенному алгоритму понимания.

1 шаг алгоритма (восприятие) представляет собой первичное ознакомление реципиента с художественным текстом (рецепция текста):

Балаган
Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман,
Везут, покряхтывая дроги,
Мой полинялый балаган... (А. Блок, [7]).

При рецепции отрезка текста происходит категоризация средств текстопостроения, к которым относятся грамматические, стилистические и фоносемантические средства текста. В центре внимания в нашей работе – фоносемантическая организованность художественного текста. Процесс категоризации и осмысления не имеет четких границ, поскольку в активном процессе мыследеятельности категоризация всегда требует осмысления. В процессе осмысления и категоризации в данном отрезке категоризуются фоносемантические средства, способствующие построению смысла-тональности (аллитерация, ассонанс, паронимия, звукосимволизм, звукоподражание). Кроме того, осмысливается та звуковая организация текста, которую образуют частотно употребляемые звуки (звуковые доминанты). При количественном накоплении на данном отрезке текста определенная звуковая организация вызывает ассоциации, которые также проходят этап категоризации. Фоносемантические средства являются начальным звеном в процессе осмысления средств текстопостроения. Такой процесс осмысления заканчивается построением смысла-тональности.

В данном отрезке текста сближены по смыслу рифменно-паронимические слова *дроги* и *дороги*, их составляет звуковая организация из согласных [д], [р], [г], и гласных [а], [о]. Звуковые доминанты [д], [р], [г] при своем количественном накоплении ассоциируются с «дребезжащим, дрожащим, подпрыгивающим», а звуковые доминанты [а], [о] ассоциируются с тем-то «большим, низким», «тяжелым и долгим». Слово *покряхтывая* представляет собой имитатив, отчетливо мотивированный акустико-артикуляторными свойствами образующих его звуков. Звук [ч], усиленный сочетанием [сля], создает ассоциацию с картиной движения по разъезженной мокрой дороге. Звуковая доминанта [о] ассоциируется с чем-то «округлым, тяжелым, глубоким». В отрезке текста в звуковой организации прослеживается сочетание звукоизобразительных, звукоподражательных и паронимических звуковых отношений в построении смысла-тональности.

Текст необычен по качеству доминантных звуков. Здесь преобладают глухие взрывные смычные [к], [п], [х], которые в соединении с плавным дрожащим сонантом [р] вызывают ассоциации – «трудный, тугой, тяжелый».

При рецепции текста, проходя 3 и 4 шаги алгоритма (осмысление и усмотрение ассоциаций), строки *Не поднимается туман* и *Мой полинялый балаган* воспринимаются контрастно по отношению к первой, звукоизобразительной, и к третьей, звукоподражательной, строкам и имеют очень плотное стяжение близких и повторяющихся звуков. На фоне этого сходства ассоциативно сближаются вызванные представления «туман» и «балаган».

Благодаря такой звуковой организации в стихотворении А. Блока возникают образные ассоциации яркой зрительной картины: «не поднимается туман – занавес в полинялом балагане – и шире: окружающее – это балаган, дорога – сцена, над которой туман – занавес».

В ходе 6 шага алгоритма (построения смысла-тональности) смысловое ядро «балаган» имеет отчетливо слышимый, но не названный в тексте сино-

ним – театр нищих, бродяг. Итак, смысл-тональность в этом стихотворении «театральный, фальшивый и истинный; трудный, тяжелый». Этот смысл определяется такой звуковой организацией, подкрепленной ассоциативной мотивировкой, которая основана на различных фоносемантических приемах.

В нашей работе мы охарактеризуем не каждую отдельную единицу, а фоносемантическую организацию единиц в строфе (в поэтическом тексте) и сверхфразовом единстве (в прозаическом тексте). Именно эта организация вызывает определенные ассоциации, на основе которых и строится смысл-тональность.

Таким образом, в ходе исследования нами выявлено, что фоносемантическими средствами, способствующими образованию смысла-тональности в художественном тексте, можно считать звукоподражание, основанное на акустико-артикуляторных критериях оценки звука, и звукосимволизм, базирующийся на ассоциациях, свойственных любой сенсорной модальности человека (образных, тактильных, вкусовых, обонятельных и эмоциональных), которые объединяются в физиогномические критерии оценки звука. К основным фоносемантическим средствам в организации смысла-тональности по предложенному алгоритму понимания (восприятие; категоризация; осмысление; ассоциирование и построение смысла-тональности) в поэтическом тексте можно отнести ассонанс, аллитерацию, паронимию, так как в основе организации данных средств текстопостроения лежит структурный звукосимволизм.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Воронин С.В. Основы фоносемантики. – Л., 1982. – 244 с.

2. Величковский Б.М., Зинченко В. П., Лурия А. Р. Психология восприятия. – М., 1973. – 246 с.

3. Михалев А.Б. Теория фоносемантического поля. – Краснодар, 1995. – 213 с.

4. Словарь иностранных слов. – М., 1979. – 624 с.

5. Психологический словарь. / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряковой. – М., 1988. – 440 с.

6. Пушкин А. С. Стихотворения. Поэмы. Драмы. Сказки. - М., 1988. – 608 с.

7. Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. – М.; Л., 1960 – 1963. – Т. 6. – 1962. – С. 74.

Н.В. Рубцова,
Нижегородский государственный
педагогический университет

МОТИВИРОВАННОСТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ КАК ОСНОВА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация

Статья посвящена вопросам систематизации (категоризации) денотатов русского языка на основе их мотивированной номинации. Внутренняя форма терминологии разных языковых уровней позволяет выделить в русском языке категорию отношений *«главное» – «неглавное»*. Она является новым «инструментом» как системного описания русского языка, так и его изучения с позиций интегративного подхода – в аспекте формирования межпредметных связей.

N. Rubtsova

VALIDITY OF THE LINGUISTIC TERMINOLOGY AS THE BASIS OF KNOWLEDGE SYSTEMATIZATION IN EDUCATIONAL PROCESS

Abstract

The article is dedicated to the questions of systematization (categorization) of denotatum in the Russian language on the basis of its motivated denomination. Inner form of terminology of different language levels allows marking out the category of relations "*principal*" – "*secondary*". It is a new "instrument" in the system description of the Russian language and the integrative approach – in the aspect of forming inter-subject connections.

Статья посвящена вопросам систематизации (категоризации) языковых фактов на основе мотивированности лингвистической терминологии.

Внутренняя форма терминологических обозначений лингвистических реалий разных языковых уровней дает возможность выделить в русском языке категорию отношений «*главное*» – «*неглавное*». Эта категория является новым «инструментом» анализа и описания русского языка как системного образования с позиций интегративного подхода к обучению – в аспекте формирования внутридисциплинарных связей.

Систематизация знаний в учебном процессе – одна из важнейших задач методики преподавания русского языка как родного, так и РКИ; в связи с этим методические приемы по обобщению лингвистических фактов и методические находки в области поиска межпредметных и внутридисциплинарных связей с позиций системного обучения приобретают особую значимость.

На страницах этой статьи мы, основываясь на свойстве мотивированности лингвистической терминологии, докажем существование в русском языке внутридисциплинарной категории отношений «главное» – «неглавное» и продемонстрируем понятийные парадигмы этой категории как дополнительного к традиционным средства систематизации знаний; но вначале определим для себя необходимые для предъявления материала понятия «система языка»,

«категория» и «понятийная категория».

Систематизация знаний по русскому языку – это представление языковых явлений в виде системы, целого (от греч. sistema – целое, составленное из частей соединение) [1]. Первые попытки обоснования системного характера языка и описания языка как целого были предприняты Вильгельмом фон Гумбольдтом: язык «обладает прочно *взаимосвязанными* элементами и единством»; «никакой язык не был бы вообще мыслим без единства формы, и в процессе речи люди неизбежно скрепляют свой язык в такое *единство*» [2]; «языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно все, благодаря чему он становится единым *целым*» [3] (курс. – Н.Р.).

Однако в сознании начинающего языковеда понятие «системности языка» чаще всего связывается с именем швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра, который на основе философской категории отношений объяснил системообразующие связи между элементами языка: «Язык есть *система*, все *части* которой могут и должны рассматриваться в их *синхронической связи*» [4] (курс. – Н.Р.).

В нашем исследовании под системой мы будем понимать «*совокупность элементов, организованных связями и отношениями в единое целое*» – определение, предложенное Б.Н.Головиным и созвучное представлению о языковой системе Ф. де Соссюра [5]. Одним из способов отражения системных связей в русском языке являются грамматические категории – в толковых словарях «категория» определяется как родовое понятие, обозначающее наиболее общий разряд явлений, предметов или их признаков.

Внешние выразители категорий, как считал классик русского языкознания Л.В. Щерба, «могут быть самые разнообразные: изменяемость слов разных типов, префиксы, суффиксы, окончания, *фразовое ударение, интонация, порядок слов* и т.д.» [6] (курс. – Н.Р.). Однако грамматические категории русского языка в традиционном их понимании соотносятся чаще всего с морфологическими «выразителями» и выделяются, как правило, на морфологическом уровне – грамматические категории *рода*, *числа*, *падежа*, *лица*, *наклонения* и т.д.

К сожалению, лингвистическая наука мало что нового предлагает в области категоризации языковых реалий на других уровнях языка, кроме морфологии, – «процесс категоризации представляет собой результат отнесения слова (объекта) к более общему классу (группе)» [7]. К тому же почти без внимания ученых остаются внутридисциплинарные связи, в то время как систематизация, интеграция знаний – это вехи модернизации высшего образования [8]. Интеграция знаний, предполагающая межпредметные и внутрипредметные связи, может быть представлена лишь обобщающими категориями.

Об обобщающих категориях, развивая идею разнообразия оснований категоризации языковых явлений, в книге «Введение в языкознание» пишет известный современный лингвист профессор Б.Н. Головин. Ученый предлагает описывать русский язык категориями более высокой степени абстракции: морфологию языка – как совокупность и систему грамматических категорий слов и словесных форм, а синтаксис языка – как совокупность и систему грамматических категорий словесных позиций и словесных конструкций [9].

Категории языковых реалий более высокой степени абстракции отражают не только системные связи языка, но и соотнесенность языка и мышления, языка и действительности. Датский лингвист О. Есперсен в книге «Философия

грамматики» попытался рассмотреть взаимоотношения между грамматическими и логическими категориями, т.е. связь между языком и мышлением. О. Есперсен ставил себе целью выяснить, какие категории мышления находят отражение в грамматических категориях и в какой степени грамматические категории соответствуют логическим или расходятся с ними [10]. Ученый сделал вывод о том, что «наряду с синтаксическими категориями ... имеются еще внеязыковые категории, не зависящие от более или менее случайных фактов существующих языков. Эти категории являются универсальными...» [11]. Ученый предлагает называть их понятийными.

Понятийные категории как отображение системности внешнего мира в человеческом сознании интересовали исследователей еще на заре философской мысли. Античность – начало определения в философии закономерностей построения системных знаний. Так, Аристотель считал, что условием познания является индуктивное обобщение; переход от чувственного опыта к абстракции, от единичного к общему и есть путь научного описания мироздания. Аристотель выделил десять философских категорий, среди которых важное место занимают сущность, качество, количество и категория отношений [12].

В данной статье, основываясь на понятийной категории отношений и следуя общедидактическим принципам преемственности, системности, доступности и наглядности, мы предложим, как уже говорилось выше, один из возможных новационных способов систематизации знаний русского языка: используя свойство мотивированности лингвистической терминологии, мы опишем междисциплинарную (межуровневую) категорию отношений «главное» – «зависимое» («неглавное»).

Поиск однотипных бинарных противопоставлений главных и зависимых языковых реалий в процессе изучения каждого отдельного раздела языка (лексикологии, морфологии и др.) является дополнительным приемом обучения, который позволяет не только более продуктивно изучать русский язык, но и убеждает обучаемого в том, что русский язык – это не разрозненная совокупность лингвистических фактов, а системное образование.

В освоении русского языка как системы терминология, будучи основной частью языка любой специальности, играет очень важную роль, поэтому в педагогической деятельности следует уделять должное внимание терминоведческой работе. При обучении русскому языку каждому педагогу необходимо объяснять учащимся, что термины русского языка очень многое могут рассказать о том явлении, для обозначения которого они используются. Это связано с тем, что многие термины образованы от общеупотребительных слов русского языка и мотивированы значениями этих слов.

Под мотивированностью мы понимаем такое явление, при котором «данное содержание поддается более или менее непосредственному соотнесению с соответствующим выражением» [13]. Поэтому, говоря о мотивированности терминоэлементов «главное» – «зависимое» (например, «главное слово словосочетания» – «зависимое слово словосочетания»), мы ориентируем обучаемых на соответствующие значения общеупотребительных слов главное и зависимое, используемых в качестве терминоэлементов, ибо термин – конвенциональный знак и процесс терминологизации общеупотребительного слова (превращения его в термин) является не простым переходом общеизвестного слова в разряд терминов: из числа семантических множителей терминируемого общеупот-

ребительного слова выбираются только те, которые отражает мотивацию наименования соответствующего понятия. Поэтому в учебном процессе педагогу важно показать, что следует не столько заучивать определения изучаемых явлений, сколько обдумывать форму их терминологического обозначения, соотнося наименование изучаемого понятия с его значением.

Именно форма терминологического обозначения языковых реалий привела автора статьи к мысли о существовании в русском языке структурной категории «простое» – «сложное», категории отношений «главное» – «неглавное» и структурно-синтаксической категории «однородности» [14; 15; 16]. В предлагаемом читателю материале мы остановимся на категории отношений «главное» – «неглавное» («зависимое»).

Попытаемся выяснить, для всякого ли языкового уровня свойственны отношения, в которых один языковой денотат выступает как главный компонент этих отношений, а другой – как зависимый. Часто эти отношения отражаются непосредственно в наименовании языковых реалий соответствующими общеупотребительными словами, например: «*главное* слово словосочетания» – «*зависимое* слово словосочетания»; «*главные* компоненты словосочетания» – «*зависимые* компоненты словосочетания» и т.п.

На первый взгляд может показаться, что предложенные противопоставления касаются только синтаксических явлений: «главный член *предложения*», «главное *предложение*», «зависимое слово в структуре *словосочетания*» и т.п. Но если, например, обратиться к трудам пражских структуралистов, то мы найдем, в частности, мнение В. Скаличка о том, что под грамматикой следует понимать все, что относится к сфере языка, кроме фонологии [17], а под синтагмой, вопреки наиболее распространенному в практике отнесению этого термина к области синтаксиса, Ф. де Соссюр понимал также и синтактику морфем в структуре слова [18].

Поэтому в класс указанных выше противопоставлений могут быть отнесены дихотомические пары: «главная морфема *слова*» – «служебная морфема *слова*»; «главное *ударение*» – «добавочное *ударение*» и т.п.

Однако в приведенных парах атрибуту «главный» противопоставлено не определение «зависимый», а атрибуты «служебный» и «добавочный». Чтобы убедиться в том, что эти согласованные определения соотносятся с атрибутом «зависимый», надо узнать совокупность семантических множителей общеупотребительных слов «главный» и «зависимый», используемых в качестве терминоэлементов. А поскольку мотивированное значение и мотивирующее значение сосуществуют в одном и том же слове [19; 20], то следует обратиться к толковым словарям, чтобы найти значения общеупотребительных слов «главный» и «зависимый», положенных в основу их терминологизации.

Для этого автором статьи вместе с обучаемыми был осуществлен дефинитивный анализ общеупотребительных слов главный и зависимый с целью выяснения всей совокупности их семантических множителей и выделения тех множителей, которые использовались при терминологической номинации соответствующих понятий.

Толкование нас интересуемых слов рассматривалось в различных словарях [21, 22, 23, 24, 25]. Путь отсылок от одних словарных статей к другим различных толковых, лингвистических, философских и прочих словарей собрал воедино следующую совокупность семантических множителей для слова «главный»: *«знаменательный», «основной», «самый важный», «централь-*

ный», «существенный среди других», «доминанта» и т.п.

Семантическая парадигма слова «зависимый» содержит семы: *«находящийся в чьем-то подчинении», «гипотаксис», «субординация», «не старший по какому-либо положению»* и т.п. Последняя сема *«не старший по какому-либо положению»* ассоциативно расширяет это класс синонимии дополнительными условными эквивалентами: *«второстепенный», «не главный», «не основной», «служебный», «вспомогательный»*. Таким образом, проведенный анализ показывает, что одним из семантических множителей слова «зависимый» является сема *«не главный»*, что позволило автору статьи расширить дихотомию «главное» – «зависимое» до противопоставления «главное» – «неглавное» и использовать это противопоставление для наименования предлагаемой категории отношений.

Рассмотрим, какими терминами в русском языке (вернее, атрибутами в структуре терминологических словосочетаний) отражается противопоставление «главности» – «неглавности» между языковыми реалиями различных языковых уровней: фонетика – «*главное* ударение» – «*добавочное* ударение»; словообразование и формообразование – «*основная* морфема слова», «*неслужебная* морфема», «*знаменательная* морфема», «*главная* морфема», «*корневая* морфема» – «*второстепенная* морфема», «*служебная* морфема»; морфология – «*самостоятельные* слова», «*знаменательные* слова», «*полнознаменательные* слова», «*знаменательные* части речи» – «*служебные* слова», «*служебные* части речи»; синтаксис – «*главные* компоненты словосочетания» – «*зависимые* компоненты словосочетания», «*главные* части сложного предложения» – «*зависимые* части сложного предложения», «*главные* члены предложения» – «*второстепенные* члены предложения», «*главное* предложение» – «*придаточное* предложение» и т.д. [26; 27].

Как видим, отношение «главное» – «неглавное» свойственно для реалий всех языковых уровней, а мотивация этих отношений отражается во внутренней форме терминологических обозначений соответствующих лингвистических денотатов.

Теперь сопоставим эти отношения с противопоставлениями понятий известных грамматических категорий: *единственное* число – *множественное* число, *действительный* залог – *страдательный* залог, *совершенный* вид – *несовершенный* вид.

Мы видим, что название категорий передается именем существительным (грамматическая категория *числа*, грамматическая категория *вида*), а атрибуты (*единственный, множественный* и т.д.) формируют видовые противопоставления входящих в эту категорию денотатов. В нашей категории ее названием являются не существительные, а атрибуты «*главное*» – «*неглавное*». Но так как «тенденция семантико-парадигматической регулярности», т.е. стремление к отображению в форме термина родо-видовых отношений [28] является характерной чертой терминообразования, то видовые понятия рассматриваемой категории в структуре словосочетания представлены и называются именами существительными (*ударение, морфема, слово* и т.д.). Таким образом, противопоставление понятий «главное» – «неглавное» является родовым для всех денотатов, содержащих в своем названии эти атрибуты.

Ниже запишем результаты проведенного анализа в несколько иной форме – в виде родо-видовых парадигм. Ограничивая себя необходимыми рамками

публикации, предложим здесь лишь часть понятийных парадигм «главное» – «неглавное» (символ «с» означает синонимию терминов):

Главное

главное ударение
прямое значениие
доминанта синонимического ряда
корневая морфема
с *главная* морфема
знаменательная морфема
неслужебная морфема
основная морфема слова
знаменательные части речи
главные компоненты словосочетания
главные части сложного предложения
главные члены предложения

Неглавное

добавочное ударение
переносное значение
не доминанта синонимического ряда
второстепенная морфема
служебные части речи
зависимые компоненты словосочетания
второстепенные члены предложения
зависимые части сложного предложения

Рассматривая видовые компоненты предложенных понятийных парадигм «главное» – «неглавное»: «ударение», «значение», «синонимический ряд», «морфема», «часть речи», «словосочетание», «член предложения», «предложение», мы видим, что противопоставление денотатов с атрибутами «главное» – «неглавное» охватывает все языковые уровни, т.е. носит обобщающий (категориальный) характер; следовательно, мы можем говорить, что в русском языке существует категория отношений «главное» – «неглавное».

Последним, на чем бы хотелось остановиться в данной статье, является то, что синонимический ряд терминологических атрибутов «главное» – «неглавное» и совокупность семантичесских множителей общеупотребительных слов-источников для терминообразования несколько отличаются, что необходимо продемонстрировать в учебном процессе.

Предложим здесь сопоставительную таблицу семантических множителей общеупотребительного слова «главный» и членов синонимического ряда терминоэлементов-атрибутов, мотивированных этими семами:

Главный (общеупотребительное слово)	**Главный** (терминоэлемент)
знаменательный	*знаменательный*
основной	*основной*
самый важный	-

центральный	-
существенный среди других	-
доминанта	*доминанта*
–	*прямой*
–	*неслужебный*
–	*корневой*

Как видим, часть семантических множителей терминируемого общеупотребительного слова *главный* полностью повторяется в терминологических обозначениях, части же из них (в основном словосочетаниям) не нашлось такого соответствия; а к числу терминоэлементов добавились новые терминоэлементы-прилагательные – *прямой, неслужебный, корневой,* которые, тем не менее, в своем значении соотносятся с семами «центральный», «главный» общеупотребительного слова *главный.*

Проведенный терминоведческий анализ углубляет знания обучаемых о русском языке, а изучение русского языка с позиций внутридисциплинарных связей, т.е. использование категории отношений «главное» – «неглавное» как дополнительного «инструмента» для анализа языковых реалий всех уровней языка, создает у обучаемых не только представление о русском языке как о системном образовании, но и формирует навык задаваться этим вопросом при изучении и других дисциплин. Последнее способствует развитию абстрактного мышления обучаемого.

Автор статьи надеется, что предложенная категория отношений «главное» – «неглавное» в русском языке найдет профессиональный отклик у лингвистов - особенно у методистов русского языка и методистов РКИ, а также сможет использоваться в учебном процессе в качестве дополнительного средства изучения русского языка с позиций систематизации знаний.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Большой толковый словарь русского языка. – СПб., 2000. – С. 1189.

2. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – С. 246.

3. Там же. – С. 308.

4. Фердинанд де Соссюр. Курс общей лингвистики. – М., 1933. – С. 91-93.

5. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М., 1979. – С. 93.

6. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Избранные работы по русскому языку. – М., 1957. – С. 64.

7. Семантика и категоризация. – М., 1991. – С. 5.

8. Глуздов В.А., Николина В.В., Шапошников Л.Е. Проблема качества подготовки учителей в условиях модернизации высшего образования // Подготовка педагога в условиях модернизации образования: Материалы регион. науч.-практ. конф. – Нижний Новгород, 2003. – С. 6.

9. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1977. – С. 148.

10. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958. – С. 6.

11. Там же. – С. 56-58.

12. Философский энциклопедический словарь. – М., 2001. – С. 204.

13. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М., 1972. – С. 37-38.

14. Рубцова Н.В. О методах формирования профессиональной языковой

картины мира в процессе воспитания профессиональной языковой личности // Проблемы интеграции в современном образовании: Научн. труды Межд. науч.-практ. конф. – Самара-Москва, 2001. – С. 94-103.

15. Рубцова Н.В. Системность научного текста: русский язык в таксономических категориях и определениях понятий: Монография. – Н. Новгород, 2006.

16. Рубцова Н.В. Социализация личности и профессиональная картина мира учителя: роль термина в формировании лингвистических знаний: Монография. – Н. Новгород, 2007.

17. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М., 1975. – С. 217.

18. Там же. – С. 186.

19. Головин Б.Н. Указ. соч. – С. 78.

20. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики. – М., 1961. – С. 38.

21. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М., 1985.

22. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1987.

23. Словари лингвистических терминов.

24. Словарь современного русского литературного языка в 16-ти Т. – М., 1961-1964.

25. Толковый словарь русского языка в 4-х Т. – М., 1994.

26. Русский язык. Энциклопедия. – М., 1997.

27. Немченко В.Н. Основные понятия морфемики в терминах. – Красноярск, 1985.

28. Толикина Е.Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М., 1970. – С. 65.

Л.П. Рупосова,
Московский государственный
областной университет

ФИГУРЫ РЕЧИ В ПАМЯТНИКАХ ПИСЬМЕННОСТИ XI – XVII ВВ.

Аннотация

В статье рассматриваются специальные наименования средств выразительности, присущих высокому стилю в начальный период формирования отечественной терминологии риторики.

FIGURES OF SPEECH IN LITERARY MONUMENTS OF XI – XVII CENTURIES

L. Ruposova

Abstract

The present article deals with specific names for the means of expressiveness intrinsic to elevated style in the initial formative period of Russian rhetorical terminology.

Со времен античности к важнейшим средствам украшения речи относили не только тропы, но и фигуры (лат. figura –«очертание; внешний вид; образ») – обороты речи, отступающие от некоторой нормы разговорной естественности в целях создания нового образа. Фигура – воспроизводимый адресантами прием словесного оформления мысли. Термин *фигура* – «изменение смысла; уклонение от нормы» исследователи связывают с именем Анаксимена из Лампсака (IV в. до н.э.). Фигуры – основной объект раздела риторики, обращенного к «поэтической» семантике, где доказывается отсутствие прямой взаимосвязи слово – вещь. Древнегреческий софист Горгий (V - IV вв. до н.э.) выделил риторику как самостоятельную науку из философии. Он считался «изобретателем» фигур. Деметрий Фалерский различал фигуры мысли и фигуры речи. Аристотель понимал под фигурами структуру речи. Его ученик и последователь Теофраст противопоставлял художественную речь обыденной. Основным признаком художественной речи он считал «величавость», которая создается отбором слов, их сочетаемостью, использованием фигур. Углубляя учение о художественной речи, Афиней из Навкратиса, Аполлоний Молон и др. поставили вопрос об отклонениях от нормы (стилистических отличиях) как способствующих «услаждению» слуха и воздействующих на душу слушателей.

Классификации фигур восходят к работам Цецилия (I в.н.э.), Псевдо-Лонгина (I в.н.э.), александрийского грамматика Трифона, Квинтилиана, Цицерона и др. Квинтилиан (I в.н.э.) первым предложил деление фигур на грамматические и риторические. Фигуры второго рода ритор называл *изысканными*. В каждом роде фигур Квинтилианом были выделены виды, иногда – подвиды, которые образуются разными путями: с помощью добавления, сокращения, созвучия и противопоставления. Фигуры были соотнесены ритором с парадигматикой – отбором слов и синтагматикой – положением слов во фразе [1]. Римскими риторами был поставлен и решен вопрос об «универсальности» фигур и утрате ими особых свойств при «стертости» – многократном или избыточном

повторении. Были разработаны критерии использования фигур. Семантико-стилистический критерий требовал точности высказывания, достигаемой за счет расчленения, перечисления, повторов в тексте и «качества» речи. Структурный критерий опирался на осознание изменений (замен), добавлений, сокращений основного содержания речи [2].

Риторика вошла в число учебных дисциплин на Руси в последней четверти XVII в., сначала в учебных заведениях гуманитарного профиля, с XVIII в. – без ограничения уровня обучения. Перерыв в изучении риторики наступил после Октябрьской революции. Восстановленный в вузах и частично в школах курс риторики привел к появлению новых исследований, в том числе – в исторической перспективе [3]. Современная риторика связана с языкознанием, в первую очередь – со стилистикой, текстоведением, психолингвистикой. В этом контексте фигуры речи трактуются как специфические приемы «творческой» формы реализации содержания, имеющие функциональную нагрузку, создающие «подтексты», особые семантические ситуации.

В настоящее время риторические фигуры подразделяют на фигуры выделения и фигуры диалогизма [4]. Фигуры выделения связаны с содержанием речи, оформляющей мысль, поэтому они более распространены, чем другая разновидность. Фигуры выделения имеют свои разновидности. К подгруппе «Добавления и повторы» относят: *эпитет, плеоназм, синонимию, аккумуляцию (сгущение), градацию восходящую или нисходящую, экзергазию, репризу, плоце, полиптотон, симплоце, анафору, эпифору, окружение, конкатенацию (присоединение), интерпретацию (истолкование), эксплецию (заполнение), полисиндитон (многосоюзие), асиндетон (бессоюзие).* В подгруппу «Сокращения и значимые нарушения смысловой и грамматической связи» входят: *эллипсис, силлепсис, энналлага (подстановка), ирония, анаколуф, апозиопея (удержание).* Особое место занимают перестановки и трансформации: *гипербатон, хиазм, антиметабола. Энумерация (разделение), соответствие, антаналаза, эпимона (эпифонема)* образуют подгруппу «Распределение элементов фразы». Как самостоятельную разновидность фигур выделяют *определения и сравнения* и близкие к ним *перифразы*. Сюда же включаются *антитеза, парадиастола (различие), оксюморон и этимология* (в современном понимании), один из важнейших приемов создания текста в средние века. Фигуры диалогизма – имитация диалога или реальный диалог. Сюда относят и *предупреждение, ответствование, сообщение, заимословие, цитату, аллюзию, риторический вопрос, риторическое обращение и риторическое восклицание.* Существуют и другие классификации фигур.

Русь познакомилась с понятием тропов и фигур, еще не расчлененных, уже в XI в. через «энциклопедию» – Изборник кн. Святослава 1073 г. [5]. Сюда включена статья византийского «вселенского учителя» (профессора) высшей школы Константинополя Георгия Херобоска (Хировоска в новом написании) (VI – VII вв. н.э.) «Περι τροπων». В большинстве списков Изборника (полных или сокращенных) и в издании памятника, осуществленном А.Л. Дювернуа, находится этот трактат. Латинский перевод труда Георгия Хировоска в издании называется «De figuris» в соответствии с традицией венецианских публикаций трактата.

В тексте статьи из Изборника Святослава 1073г. «О образехъ» *образъ* и *видъ* соответствуют греческому эквиваленту σχημα, хотя здесь фигуры не вы-

делены четко.

Образъ (видъ) как разновидность «тропов» в иллюстрации скорее представлен как солецизм – оборот с нарушениями правил синтаксической связи. В греческом тексте σολοικισμος отнесен к *схемам*. В переводе специальная лексема *образъ* не однозначна. Она используется в качестве названия родового понятия по отношению к видовому «солицизму», представленному в переводе единственной транслитерацией грецизма *селикъзмии* (Изб. 1073 г., 240). Возможно, что славянский переводчик сопоставлял первую часть заимствования со славянским *селик(ий)* –«сильная степень качества» (СлРЯ XI – XVII вв., вып. 24, 42 – 43). К фигурам-перестановкам относится *преступное (преходное, преходьное)* – «гипербатон». В определении указывается, что слова или части фразы переставляются из начала в конец: *преступное же есть слово преступая отъ прьвааго, еже есть по немь; творчьстии образи суть:...преходьное...* (Изб. 1073г., 237 об., 238об.). Перестановка обычно сопровождается разрывом синтаксической связи. Перенос последнего слова ближе к началу с его повтором в конце называлось *последословие (посладословие)* (Изб.1073 г., 237 об., 240 об.) – греч. υστερολογια: *последословие есть слово последнее прежде гл(аго)лемо*. Первая часть грецизма, наряду с другими смыслами, имела значение «недостаток чего-то».

Плеоназм в переводе получает именование *изобилие: изобилие же есть, егда избыва речь отъ речи, ничесо боле не назнаменуюште* (Изб. 1073г., 239 об.). В качестве примера – *противьникъ* и *супротивьникъ*. Близок к плеоназму повтор – *поречение: Поречение же есть слово, подъемлемо продлъжения ради (*Изб. 1073 г., 239 об.). В примере – двойной повтор одного слова. В тексте Изборника *поречение* представлено как вид плеоназма. К фигурам относится *прилогъ (сълогъ)* – «добавление; пример; образец» – греч. παραδειγμα: *прилогъ же есть слово къ иному нечьсому съложенааго указа явление имы* (Изб. 1073г., 240). В текстах XVII в. это слово используется со значением *притча: Зерцало притчей или прилоговъ* (Вел. Зерц.,1. XVII в.).

К нарушениям смысловой связи в настоящее время относят иронию – неожиданное использование слова, вызывающее комический эффект; скрытую насмешку. В Изборнике *поругание* (в оригинале – троп*)* толкуется как *слово лицемерьно, отъ супротивьнааго супротивьное явление являя* (Изб. 1073г., 240). Но ирония как фигура не обязательно вызывает смех. Ирония имеет свои разновидности. Одна из разновидностей – «насмешка» получила то же название, что и ирония: *поругание образи д: поругание, похухнание, поиграние, посмьяние* (там же). Лексема *посмеяние* известна и по другим текстам киевского периода. Позже от той же основы образованы и словообразовательные синонимы: *посмеятельство, посмешество, посмешение, посмехъ*. Лексема *похухнание* – «насмешка» в другом контексте Изборника имеет базовый глагол *похухнати: похухнавъше носъмь* (240 об.) «морщить ноздри; хмыкать; насмехаться» (такое же значение у греческого эквивалента). В другом памятнике XI в. в целях усиления речевого воздействия использованы синонимы: *на смех и похухнание лихое* (Иез.-13, 39.Упыр. XV в. ~ 1047г.). Греческая лексема сарказм – «явная язвительная насмешка» переведена словом *поиграние*. Возможно, что здесь учитывается связь корня с бурным проявлением чувств, осуждаемым в православной культуре, и с языческой обрядностью.

Перифраз(а) – фигура, состоящая в замене наименования предмета его

словесной характеристикой, раскрывающей выделяемое свойство. В Изборнике грецизму соответствуют две лексемы: *округословие* и *съвратословие (совратословие)* – «изложение другими словами». Первая лексема прямо связана с базовым греческим глаголом, вторая – с поворотом (оборотом).

Как свидетельствует сравнение специальных лексем Изборника с материалами СлРЯ XI – XVII вв. и И.И. Срезневского, названия фигур Изборника 1073 г. в своем большинстве не вышли за рамки списков памятника. Возможно, что представлял трудности прием калькирования специальных лексем, который не позволял «увидеть» соответствующие греческие термины при технике «восстановления» первичного значения чужого слова в процессе перевода. Но этот прием усилил продуктивность лексико- семантического способа образования славянских специальных лексем, когда у слова, в большинстве случаев многозначного, появлялся новый специализированный ЛСВ, восприятие которого требовало ассоциативного мышления от средневекового книжника.

Риторика первой половины XVII в., традиционно называемая риторикой Макария, митрополита новгородского и великолуцкого, (1619/1620г.), по нашему мнению, переведена с польского источника, в свою очередь, восходящего к латиноязычному труду Филиппа Меланхтона (1577г.). Такой же точки зрения придерживались А.Х. Востоков, А.И. Соболевский и Д.С. Бабкин и др. [6]. Содержательный сопоставительный анализ списков риторики Макария с привлечением риторики Ф. Меланхтона представил В.И. Аннушкин [7].

В данной риторике впервые на русской почве *выображения* (фигуры) как род подразделяются на *схемы* и *тропосы (тропы)*. Для наименования собственно фигур используется, наряду с грецизмом *схемы,* славянизм *начертания* – «написание; рисование, письмо; изображение; вид, форма; грамматический термин; характер» (Рит. 72; Рит.-1, 26), *Схема* толкуется как *действо речения*, в котором нужно заменить *ознаменование слова или гласа.* Ставится вопрос об изменении значения не только слова, но и выражения в целом. *Свойственное истинное ознаменование (обявление)* – «значение» конструкции сохраняется, но повтор *дела или вещи* придает выражению больше *сладости* (там же). В значении «фигура» используется и наименование *риторические виды* (Рит.-1,50 об.,33 об.). В риторике Усачева появляется форма *схемата* (Усач., 142 об.). У преподавателей Славяно-еллинского училища (позже Славяно-греко-латинской академии) братьев Лихудов различаются фигуры мысли и речи. У Иоанникия Лихуда – *схимы речений и схимы разумов* (ПЦБ, 54, 61). Софроний Лихуд разбирает *схиматы разумные или мыслей*, а другую разновидность называет *начертания словесъ* (Софр.,35 об., 33).

Далее в риторике Макария поднимается вопрос о *чинах* – «порядке фигур». Чины представляют собой триаду. На первом месте те, что *пристоят до грамъматики*, т.е. касаются *положения* слов в целях достижения *светлости* – «ясности» высказывания. Этот *начальный чинъ видовъ* подразделяется на *виды грамматические и риторические*. К грамматическим отнесены *слова или речи (сиречь слова простые)* и *слогъ (сложение) словъ* – «конструкции, словосочетания». Выделяются 14 *претерпеваний* (изменений слова): *протесисъ, систоле, епентисисъ, диересисъ, пропаралепсисъ, еписиналефе, аферасисъ, синалефе, синкопе, еклипсисъ, апокопе, антитесисъ, ектасисъ, метатесис.* В отдельных списках риторики есть указание: эти материалы находятся и в грамматиках. По нашим наблюдениям, некоторые грамматики XVII в. действительно включают эту часть риторик, иногда полностью, иногда в сокращен-

ном виде. При этом речевые явления получают наименования *изобилия или скудости* (увеличение или уменьшение букв, слогов в слове в определенной позиции).

Почти каждая разновидность *выображений (видовъ) начального чина* имеет определение и иллюстрируется примерами, причем примеры в разных списках могут меняться, отражая русскую действительность. Базовым в большинстве случаев является латинский или освоенный в латыни термин. В случае расхождения латинского и греческого именований, как и у Ф. Меланхтона, добавлен грецизм. Отметим, что передача грецизмов более точна, чем латинизмов. В составе определения допускаются глоссы или синонимы: *протесис есть приложение или придание до начала в слове или литеры или силлябы* – «слога»; *видъ епентесисъ есть влагание, егда придается и влагает литера сиречь писмо или слогъ. Пропалепсис – «добавление в конце»* проиллюстрирован формами деепричастия: *отдавъ/ отдавши. Синкопе – утятие* (из середины слова); *афересисъ есть убавление или отятие из начала в слове или писма...или слогу; апокопе – убавление* в конце слова. Здесь иллюстрация: *продать* вм. *продати*. Особая подгруппа включает случаи изменения долготы/ краткости слога: *ектасисъ – вытягнение слогу с прирожения стисненого* – «краткого»; *систоле – стиснение слогу с прирожения вытягненово; диересисъ – разделение слогу на два слога.* В качестве примеров приводятся имена прилагательные местоименного склонения в сравнении с именным: *малую вм. малу. Еписиналефе – совокупление или слепление* двух слогов в один. Пример *Иорданъ* вм. *Ордан*; *еклипсис – унятие (уятие) гласных и со согласными лютее (лютые, лютие) сходящихся.* Примеры отсутствуют. Очевидно, речь идет о «тесноте» схождения гласных и согласных. *Антитесисъ* – замена букв, типа *Ондрей вместо Андрей; метатесисъ – приложение (преложение)* – «перестановка букв» (примеры отсутствуют). Статья *синалефе* пропущена. Таким образом, грамматический материал касается увеличения/ уменьшения количества слогов или букв в слове, удлинения/ сокращения гласного, замен его, перестановки слогов. Вне сомнения, что почти все эти изменения можно отследить только в письменном тексте при знании на память «нормативных» форм. Современное лингвистическое сознание не рассматривает грамматические составляющие *начального чину* в качестве средств создания возвышенной речи, относя некоторые из них к фонетике.

Далее в риторике Макария представлены 9 видов *глаголания (слагания) словъ* – «фигур сложения контекстов, предложений, словосочетаний». Сюда включаются: *апосицыо* (лат. oppositio) – *толкование, зеугма – спряжение* («связь»), *союз; силепсис – объятие* – «отнесение сказуемого к ряду подлежащих» из греч. «соединение; соединение по жребию»; *пролепсисъ – предприятие* –«предвосхищение, упреждение возможного возражения»; *синекдохе – видъ речи; синтесисъ – слагание* – «сложение», *антиптосис (антиптасис) – падежи* – «употребление одного падежа вместо другого»; *енаплляге(енелляге)*; *воззвание* – «призыв; риторическое обращение, лат.evocatio». Так как эта часть не имеет примеров и сводится к перечислению греческих, латинских терминов и их славянских эквивалентов (в большинстве статей), прокомментируем некоторые случаи. Истолкование (интерпретация) понимается в настоящее время как фигура выделения – дополнение основного содержания авторской характеристикой. Оппозиция – противопоставление, противодействие. В школьные курсы риторики (и синтаксиса) включена зевгма, которая изу-

чается как подчинение одному члену предложения ряда других. Силлепсис – значимое нарушение синтаксической связи или смыслового согласования в словосочетании или между предложениями связывается с разговорной речью. Поэтому силлепсис не всегда воспринимается как риторическая фигура. Синекдоха включается в число тропов. Анти-птосис – букв. «возвышение», птосис – «падение». В современной риторике известен термин полиптотон (наклонение) – повторение слова в разных падежных формах. Еналлага (подстановка; перестановка)- употребление слова или конструкции вместо ожидавшейся или перестановка с видимым нарушением смысла.

К *риторическим видам началнаго чину* отнесены 12 фигур речи, образованных разными комбинациями слов в предложении (высказывании). Это – *повторение слова, соединение (копуляцыо, союзъ, плюкинъ* – греч. плоке*), вытягнение или выложение, асиндетон (разноречие; несоединение, разнь; артикулутчастка), полисиндетон (множественный союз), гомеоптотонъ (подобие падежи), гомеотелевтон (подобно кончаемо; подобное кончание), гипялляге (гипалляге, обращение, потмение), параномасия (превращение к сопротивлению), антанакласисъ (антанаклясисъ, спротивное повторение, сопротивно преложение), еклипсисъ (еклепсисъ, недостаточное* – «эллипс» *), апосиопесисъ (обтинание)* (Рит., 76-79). В современной теории фигур различается несколько видов повторов. *Соединение* демонстрируется формами стоящих рядом в целях усиления именительного и творительного падежей имени. *Выложение* – «переложение» – повтор слова в другой форме близко к современному наклонению (полиптотону). Асиндетон – бессоюзие и полисиндетон – многосоюзие изучаются сейчас в ряду повторов. Обратим внимание на появление «сложного» слова, состоящего из латинизма *артикулус* и полонизма *частка* с тем же значением. Гомеоптотон – использование одного падежа разных имен во фразе. Гомеотелевтон в толковании совпадает с эпифорой. Однако здесь подразумевается более сложное явление – одинаковые окончания колонов. Гипаллаго – изменение порядка слов и их форм, приводящее к трансформации объекта. Параномасия – противопоставление (*сопротивление*) имен с похожими звуками в их составе. Антанаклясис – повтор слов с изменением формы и значения близок к плоце (отличию). Апосиопесис – обрыв высказывания в целях возбуждения чувств слушателей.

Риторические виды втораго чину – «10 прибавлений» способствуют образности (выразительности) речи и ее действенности. В настоящее время это – фигуры диалогизма в расширенном понимании: *вопрошение, пред очима явление (пред очи явление*) – «ответствование», *гласное объявление (обявление)* – «риторическое восклицание с использованием частицы О или междометий»; *неподлинная надежда* – «сомнение», *неначаянное дело (парадоксонъ, неначаенное дело)* – «парадокс, неожиданность», *общее разсуждение* – «совместное обсуждение со слушателями; «постановка» слушателя на место обсуждаемого субъекта»; *оставление (паралипсосъ)* –«умолчание; сознательное опущение самого главного», *произволение* – «допущение; предоставление решения другим», *отвращение* – «отведение от неправого дела»; *смелость (дерзновение, паристи)* – «паристис; принятие на себя смелости в споре с более сильным противником».

Третий порядок фигур в большей степени, чем предшествующие, служит расширению речи. Всего таких фигур 29 (Рит. 81 – 90). Предлагаемая для них

классификация в современном терминоведении называется «кустом». Правомерно эти фигуры соотносятся с *местами диалектическими*: определением, разделением и делами. В число фигур 3-его порядка включаются *определения (описания, ознаменования): ауксесисъ (преизлишество, излишество, возношение)* – «преувеличение», *тапиносисъ (тапиноси, умаление, миосис)* – «уменьшение, умаление; литота», *синонимия (совокупление слов, собрание слов, преложение)* – «соединение слов, близких по значению, в контексте», *украшение (украсителное разсуждение), описание (ознаменование, знаменование, оглаголание)*. Первая фигура включает в себя частное – гиперболу (*иберполе*). *Синонимия* требует большей *светлости* в последних словах, т.е. соблюдения принципа градации. *Украшение (цветочцы)* – изложение того же смысла другими словами. *Описание* – «наличие дефиниции; наличие предиката».

К фигурам разделения отнесены: *разделение* – «деление на части», *собрание (синафрисмосъ)* – «накопление; ряд синонимов», *размножение* – «усиление; восхождение». Обратим внимание, что *разделение* означает род и отдельный вид.

К фигурам причины (*отъ винъ)* принадлежат: *винословие* – «указание на причину», *пренесение* – «описание причины на выгодном для оратора месте, в удобный момент», *шествие (степенное поступание, преставление, климаксъ, лесътвица*) – «градация».

Как и в диалектике, в риторике выделены 10 *сопротивных* – «противоположных (противных)»: *сопротивление (брань; антитесис)* – «противоположение; указание на спорную позицию противной стороны; антитеза»; *пременение* – «перестановка противоположных понятий»; *обращение (оборонение, возвращение*) – «инверсия»; *общее шествие (обще еже есть схожение дел, общее схожение дел)* – «соединение слов с противоположным значением как синонимов»; *исправление (изправление)* – «уточнение, замена выше сказанного»; *отриновение (откинение, аподиоксисъ)* –«отклонение материала, не связанного прямо с темой изложения»; *объятие (обятие, приятие, предприятие)* – «обсуждение наедине с противником возможных последствий того, что тот собирается высказать; предвосхищение негативного»; *произволение (парамологнан*) – «уступка противнику в малом для усиления собственной аргументации»; *парадиастоле (разятие, оставление)* – «различение сходных понятий; допущение»; *антипофора (навеяние, надеяние, преношение слова, антсагоги)* – «антисагога; способ прямого ответа на вопрос; опровержение противника».

Следующая рубрика *от подобных три*: *приравнание (прировняние, приверстание)* – «сопоставление подобных и неподобных вещей»; *лицемерие (укрепление, просипеия)* – «просопопея; олицетворение»; *разговорение (напремену глаголание)* – «побуждение к диалогу».

Три фигуры – *отъ рода: гноми (повесть, умная надежа, притча)* – «изречение»; *епифонема* – «распространение»; *ноема* –«приобщение, использование общих мест».

Две фигуры *отъ окружения: ипотипосисъ (разведение делу)* – «наглядное описание» и *патопеия (раличение, разнь возбуждений)*, относимая к *высоким глаголаниям* – «способы возбуждения». К ним примыкают *преступление* – «указание темы» и *парантесисъ (паретесис)* – «парентеза; короткая вставка».

Таким образом, многочисленные списки риторики Макария, появление риторик других авторов, также восходящих к труду Квинтилиана, во второй половине XVII в. подготовили значительный круг людей, владеющих теорией публичной речи. Что касается практического применения риторических знаний, то заметно, что пользователи применяют ограниченное число фигур. Это касается и художественных текстов изучаемого периода и нового времени. В нашем распоряжении нет «классических» судебных речей эпохи Московской Руси, а актовые материалы «слова и дела» отражают другую общественную ситуацию по сравнению с красноречием античности и Рима.

Риторика Макария – уникальное явление отечественной ментальности и культуры. Она ввела в оборот в образованной среде значительное число заимствований, которые позже станут международными. Достаточно последовательно специальные названия, в своем большинстве однословные, получают не только иллюстрацию с этнологической составляющей, но и определение. Это станет нормой научного изложения со второй половины XVII в. Фактически с этого перевода перестала использоваться традиционная формула специальной литературы Средневековья *еже есть,* созданная по греческому образцу. Риторика расширила количество синонимов, глосс, употребляемых в разных статьях, что способствовало не только лучшему «узнаванию» специальной лексики, но и расширяло словообразовательные возможности русского языка и лексико-семантического способа образования «терминов». Особое обилие дополнений, глосс обнаруживается в списке из собрания Щукина (Рит.-2). Как и в Изборнике, часто в перечнях и в основном тексте кальки различаются, что говорит о стремлении к возможно более широкому многообразию специальной лексики. Обращает на себя внимание и стремление к унификации специальных наименований, среди которых преобладают отглагольные образования с суффиксами –ени(е), -ни(е), реже – ти(е); -(е)ство.

В риторике выдвигается требование использовать фигуры *потребно от сочинения*. Мы видим в этой нечеткой формуле первую попытку связать использование *выображений* с разными жанрами или с разной тематикой. Не случайно фактические материалы этой риторики позже в основном уточнялись на уровне написаний иностранных слов, классификаций, иллюстраций и сокращались в части избыточной информации и синкретизма иноязычных терминов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Квинтилиан Марк Фабий. 12 книг риторических наставлений. – Ч. 1. СПб., 1834. – С. 7. – 486.

2. Фельд А.Г. Фигура в поэтике и риторике//Вопросы теории и психологии творчества. – Т. 1. – Харьков, 1911.; Античные теории языка и стиля. М.-Л., 1936. – С. 124-126, 129-131; Античные теории языка и стиля. – СПб., 1996. – С. 278-270.

3. Аннушкин В.И. Опыт периодизации истории русской риторики//Риторика. – 1995, № 2. – С. 131-136; Аннушкин В.И. Первая русская риторика XVII века. – М., 1999; Василенко Т.В. Формирование специального понятия «фигура» в русской риторике XVII – начала XIX века//Русский язык: история, диалекты, современность. Вып. 3. – М., 2001. – С. 132-139; Вомперский В.П. Риторики в России XVII – XVIII вв. – М.,1988; Рупосова Л.П. Формиро-

вание терминологии гуманитарных наук в русском литературном языке. – М., 1987. – С. 9-32; Хазагеров Г.Г. Фигура: Метаязыковой аспект. Дисс. докт. филол. наук. – Ростов/н/Дону, 1995.

4. Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 2001. – С.309-330.

5. Изборник Святослава 1073 г. – М., 1977. – С. 99-108; 139-152.

6. Востоков А.Х. Описание русских и славянских рукописей Русянцевского музеума. СПб., 1842. – С. 238; Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков. СПб., 1903. – С. 120; Бабкин Д.С. Русская риторика XVII века//ТОДРЛ, вып.VIII. – Л., 1951. – С.326-353.

7. Аннушкин В.И. Первая русская риторика XVII века. – М., 1999.

Источники

Изб. 1073 г. – Дювернуа А.Л. Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 года. С греческим и латинским текстами, с предисловием Е.В. Барсова и запискою А.Л. Дювернуа//ЧОИДР, 1882. кн. 4. – М., 1883.

Квинтилиан Марк Фабий.12 книг риторических наставлений. СПб., 1834. Ч.1-2.

ПЦБ – Лихуд И. Палата царского благочестия. РНБ, Соф. собр., № 1558. 1716г.

Рит. – Аннушкин В.И. Первая русская риторика XVII века. – М., 1999.

Рит. –1 – Книги суть Риторики двои. РГБ, ф.310, № 874.1623г.

Рит. – 2 –Риторика. ГИМ, собр. Щукина, № 941.XVII в.

Софр. – Ликуд С. О риторической силе или о риторике... РНБ, OXV -8. XVIII в.

Усач. – Усачев М. Риторика. ГИМ, собр. Щукина, № 803. 1699г.

Словари

Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. – М., 1991.

Дворецкий И.Х. Латинско- русский словарь. – М., 1976.

Русский язык. Энциклопедия. – М., 1997.

СлРЯ XI – XVII вв. XI – XVII вв. – Словарь русского языка XI – XVII вв. Вып. 1 – 26. – М., 1975 и след.

Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. В 3-х тт. – М., 1958.

Старославянский словарь (по рукописям X – XI вв.). – М.,1999.

Т.М. Свиридова,
Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ СЛОЖНОСОЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С СЕМАНТИКОЙ СОГЛАСИЯ И НЕСОГЛАСИЯ

Аннотация

Продуктивным типом конструкций, выражающих согласие/несогласие, являются сложносочиненные предложения с противительными союзами а, но, зато. В данных конструкциях согласие/несогласие связано с проблемой структурирования противоречивого мыслительного содержания. Специфика конструкций определяется коммуникативно-смысловой наполняемостью, включением информации, отражающей прагматические компоненты.

Tamara Sviridova

STRUCTURAL-SEMANTIC TYPES OF CONSTRUCTIONS OF COMPOUND SENTENCES WITH THE SEMANTICS OF AGREEMENT AND DISAGREEMENT

Abstract

A productive type of constructions expressing agreement/disagreement are compound sentences with adversative conjunctions ***а, но, зато*** (yet, but, but then). In these constructions agreement/disagreement is connected with the problem of structuring the conflicting mental content. Specific features of the constructions are determined by their communicative and sense filling, by including information which reflects pragmatic components.

В конструкциях сложносочиненных предложений в первой части актуализируется согласие или несогласие, а во второй – несогласие или согласие, либо эксплицируется одновременно и согласие, и несогласие в одной из частей. Отражение позиций и согласия, и несогласия свидетельствует о многослойности взаимоотношений коммуникантов в речевом акте в конкретных реальных обстоятельствах. В структурно-семантических типах конструкций согласие/несогласие характеризуется многофункциональными особенностями.

Продуктивным типом конструкций являются сложносочиненные предложения с противительными союзами *а, но, зато*. В таких построениях первая часть заключает в себе содержание акта согласия, а вторая – несогласия. Партиципанты ситуации оценивают предмет речи, его аспекты и определяют собственную позицию. Принадлежность акта согласия/несогласия фиксируется повтором личных местоимений, лексическим повтором, которые способствуют актуализации позиций одного и того же субъекта речи, и словами (ср.: *одни – мы*), которые обозначают и противопоставляют позиции разных субъектов речи.

В речевом акте согласие и несогласие противопоставляются, поскольку реакция согласия является предпочтительной (ср.: маркер *все-таки*), а несогласие возникает как соответствующая реакция на предмет речи, который

имеет отрицательные признаки (ср.: оценочные лексемы *неаккуратно, неэстетично*): *Все-таки с вашим образом я согласна, а с его образом я не согласна. Уж очень он неаккуратно выглядит, неэстетично* (Из телепередачи «Музыкальный ринг»).

Согласие, характеризуемое положительной эмоциональной оценкой (ср.: *с радостью*), связано с действием, аспект которого имеет положительный признак. Продолжительность (ср.: *долго*) данного действия приводит к отрицательным последствиям (ср.: эмотив *разочарования* со знаком «минус» градуируется интенсификатором *большие*) и вызывает несогласие: *Я с радостью согласен влюбляться, но, так как любовь приносит большие разочарования, я не согласен долго пребывать в этом состоянии* (В. Шаламов).

В сложносочиненных предложениях усложненного типа с противительными отношениями (показатель союз *но*) главная часть оформляется посредством кратких имен прилагательных *согласен/не согласен*, и личное местоимение *я* не употребляется. В первом компоненте с бессоюзными отношениями в препозиции актуализируется содержание, в котором эксплицируется положительный оценочный элемент (ср.: *хороший*), характеризующий предмет речи, и которое, как следствие, порождает реакцию согласия. Во втором компоненте с придаточным изъяснительным актуализируется несогласие с чрезмерно высшей степенью оценки, относящейся к субъекту речи (ср.: сочетания *один из самых тонких, глубоких и цельных*), что в большей мере приближает к пониманию истинности утверждения. Модальный модификатор *не могу* снижает категоричность реакции: *Вишневецкая – писатель хороший – согласна, но я не могу согласиться с Андреем Немзером, что это «один из самых тонких, глубоких и цельных прозаиков современной России»* («Литературная газета». – 2003. – № 10).

В конструкции, соответствующей модели сложносочиненного предложения, обозначается дифференциация реакций согласия и несогласия на высказывания. Придаточные условные с союзом *когда* находятся в препозиции и имеют уточнительно-усилительное значение, обусловливают акты согласия и несогласия. Выразительность конструкции определяется параллелизмом построения предикативных частей и противопоставлением позиций согласия и несогласия: *– А ведь наш человек, попадая в экстремальные условия, выживает скорее, чем любой другой человек. – Когда речь идет о выживании – согласен, но, когда речь идет о жизни – не согласен. Хуже, чем мы жили во все времена, никто не жил* («Аргументы и факты». – 1999. – № 12) (позиция несогласия подтверждается обоснованием, которое содержит оценочный компонент со значением «плохо» – ср.: *хуже*).

Сложносочиненные предложения с союзом *и* выражают противительные отношения. Во второй предикативной части высказывается противоположная позиция-несогласия, которой придается большая значимость. Я – говорящий является основным звеном в речевом взаимодействии, средством индивидуализации [1], носителем согласия/несогласия. «Диалогическое» местоимение как непосредственная форма коммуникативного акта актуализируется и противопоставляется [2]. В результате позиция согласия/несогласия становится критерием эффективности коммуникативной стратегии. Осознание успешности речевого акта является предпосылкой объективного, честного (с точки зрения партиципанта) отношения к фрагментам событий. Оценочное отношение

к предмету речи позволяет определить наиболее приемлемый/неприемлемый вариант взаимодействия в целях выработки рационального решения. Согласие/несогласие имеет значение рациональности: *Я согласен с вами, и не согласен я с его высказываниями об эксплуатации природных ресурсов*; *Я согласен с вами, и в то же время я и не согласен* (Из телеинтервью) (к предмету речи применима одновременно (ср.: конкретизатор *в то же время*) дифференцированная реакция, каждая из которых направлена на отдельные прагматические детерминанты).

Субъекты речи (ср.: актуализируется местоимение *мы*) выражают согласие с действием партиципанта, которое расценивается как положительный (ср.: сема необычности реализована в слове *редкий*) акт, однако они осознают невозможность использования подобной тактики в собственных целях. Поступок субъекта речи не представляется целесообразным в силу его исключительности и вызывает несогласие: *Он заканчивал рассказ в восемьдесят страниц – для рассказа это немало – и дарил его ко дню рождения своей жене. Мы соглашались, что это редкий случай супружеского внимания, но мы не соглашались следовать примеру французского писателя* (К. Паустовский).

На определенном этапе взаимодействия субъект речи (*Максим – он*) соглашается с предложением (*сниматься*), которое вызывает у него интерес, что подтверждается оценочной лексемой *с энтузиазмом*. Тем не менее специфические условия (модель поведения субъекта речи находится под жестким контролем: ср.: оценочные показатели с отрицательным значением – *по двадцать раз заставляли* (*репетировать*)), в которых осуществлялось однообразное (ср.: маркер *одно и то же*) действие, оказались неприемлемыми для партиципанта и способствовали формированию отношения несогласия к данному процессу: *Максим с энтузиазмом согласился сниматься, но, когда его по двадцать раз заставляли репетировать одно и то же, он не согласился* (Ю. Никулин).

Прагматический детерминант (ср.: *в творчестве*) определяет выбор субъекта речи (*художник – он*), предпочитающего (ср.: маркер *скорее*) соглашаться с неоднозначными, непредсказуемыми действиями (ср.: *блуждать в лабиринте*), которые приводят к ощутимым жизнеповеденческим результатам и способствуют обогащению познания творческой личности (ср.: *художник*), и не соглашаться со стандартной моделью поведения (ср.: *идти по прямой дороге*). В ситуации коммуникативные стратегии противопоставляются: *В творчестве художник скорее согласится блуждать в лабиринте, но он не согласится идти по прямой дороге* (М. Тарковская).

Вынужденное согласие с действиями, противоречащими (ср.: *отправить детей в психиатрическую больницу*) принятой модели поведения, и вынужденное непримиримое (ср.: используется интенсификатор *категорически*) несогласие с заданным обязательным планом жизнедеятельности (ср.: маркер закономерного хода события *служба в армии*) обусловливаются необходимостью исключения возможных отрицательных последствий для партиципантов, участвующих в данной ситуации. Нейтрализация негативной составляющей, которая характеризует взаимоотношения сторон, нарушает систему правил их взаимодействия. Постулаты согласия и несогласия здесь нарушаются, но глобальные намерения субъектов речи (*все родители – они*) направлены на предотвращение глобальных конфликтов, на удовлетворение благих человеческих интересов. Отрицательные мотивы поведения «другой стороны» побуждают к

незаконному акту развития ситуации: *Все родители соглашались отправить своих детей в психиатрическую больницу, но они категорически не соглашались отправлять их в казарму* («Аргументы и факты». – 1998. – № 35).

Субъект речи, актуализируемый повтором местоимения *они*, оценивает предложение и соглашается с теми действиями (*согласятся переехать*), которые не разрушают его деятельность, и не соглашается с трансформацией деятельности, приобретающей отрицательный признак (ср.: маркер *полупрофессионализм*). В речевом акте наблюдается закономерное противопоставление целей актов согласия/несогласия: *Они согласятся переехать в другое здание, но они не согласятся на полупрофессионализм* («Аргументы и факты». – 2001. – № 7).

Мотивы и потребности партиципантов различаются, обусловливаются системой ценностей, убеждений, поэтому одно и то же предложение (ср.: речевой акт (*предложили*) нацелен на эффективный результат) является значимым для одних участников, которые выразили свое согласие, и не вызывает интереса у других, которые откровенно обозначили свою некооперативную линию поведения – несогласие. Акты согласия/несогласия обнаруживают явные и скрытые намерения: *Нам предложили экскурсию в Дом-музей А.Н. Островского. Одни согласились поехать, а мы не согласились* («Литературная газета». – 1995. - № 7).

В конкретной ситуации предмет речи вызывает противоречивую оценку, и позиции участников не совпадают. Согласие сопровождается опровергающим уточнением наличия несогласия, относящегося к данной теме. Структурно-семантический тип предложения характеризуется выделительно-усилительным значением, которое подчеркивается союзом *зато*. Актуальность согласия и несогласия очевидна в плане многообразных факторов коммуникации: *Коллеги согласились, что статья актуальная, зато с моей работой не согласились чиновники* («Комсомольская правда». – 1998. – 8 июня).

Согласие как итог речевого взаимодействия актуализируется посредством компонента *вот*, находящегося в препозиции предикативной формы *согласны*. Данная реакция вызывает акт одобрения и противопоставляется категорической (ср.: интенсификатор *ни на что*) позиции несогласия, значимость которой подчеркивается первой частью союза *не только*. В контексте позиция несогласия не одобряется говорящим, она не отвечает его интересам, затрудняет решение собственных задач. Говорящий прилагает эффективные усилия, чтобы подчеркнуть противоположный аспект ситуаций, расставить ценностные акценты: *Они, вот, согласны, а сестрица их не только не согласна ни на что, но даже вообще не хочет объявить своего желания* (И. Тургенев).

В конструкциях, в которых первый компонент включает содержание несогласия, а второй эксплицирует согласие, реакция несогласия является функционально определяющей.

Переход говорящего от одной позиции (несогласия) к другой (уступительному согласию – ср.: *пришлось*) объясняется влиянием выражения всеобщего положительного отношения партиципантов (ср.: *все хвалили*) к обсуждаемому предмету речи и недопущением необъективности в оценке и возможности прерывания коммуникативного сотрудничества: *С выставленными эскизами я не согласился, но, так как их все хвалили, пришлось и мне согласиться* (Ю. Никулин). Подобное согласие есть следствие факта понимания ситуации гово-

рящим, поэтому пересмотр позиции стратегически оправдан. Говорящий управляет речевыми действиями, и осознанная установка на реализацию вынужденного согласия указывает на скрытые причины.

Нормативное несогласие является особой кооперативной стратегической линией в поведении человека, нравственная позиция которого не совпадает с целями других членов ситуации. Соблюдая принципы несогласия, партиципанты не соглашаются с предложением, принятие которого обусловило бы возникновение ситуации отрицательного характера. Оценивая в целом обстоятельства на фоне реальной действительности, говорящий допускает (ср.: негативный маркер *нет гарантии*) такой вариант поведения, когда акт согласия может реализоваться и послужить созданию конфликтной ситуации с разрушительными последствиями: *Ночью ваххабиты предлагали посту милиционеров тысячи долларов за то, чтобы пропустили. Они не согласились, но нет гарантии, что не согласятся другие* («Комсомольская правда». – 1999. – 15 сентября). Таким образом, в данной ситуации несогласие как высоконравственная позиция противопоставляется возможному согласию как безнравственному акту.

При определенных условиях говорящему позволяется представлять позицию другого лица. Говорящий манифестирует возможность реализации согласия как невыполнимый акт применительно к обозначенному действию (*позировать*), однако поддерживает развитие коммуникативного контакта в интересах адресанта, намереваясь проинформировать субъекта речи о коммуникативном ходе – полученной просьбе. Адресант активизирует поведение собеседника, который объективно оценивает предложение и корректно меняет тактику коммуникативного хода, определяет выбор речевого поведения: *Не думаю, что Борис Леонидович согласится позировать, но я согласна передать вашу просьбу* (З. Масленикова).

В последних двух конструкциях согласие/несогласие маркируется в сложноподчиненных предложениях с придаточными изъяснительными, в которых в главной части слова с отрицательным значением играют словообразующую роль, способствуют утверждению согласия и несогласия: *нет* (*нет гарантии, что не согласятся другие = другие могут согласиться (согласятся)*) и *не* (*не думаю, что согласится = не согласится*). Формы с отрицанием маркируют прогнозируемую ситуацию как нежелательную и как непредпочтительную. Говорящий не обладает уверенностью в реализации несогласия/согласия, но корректно стремится оказать воздействие на развитие ситуации.

Чрезвычайно разнообразный класс ситуаций оценивается с точки зрения согласия или несогласия или и согласия, и несогласия. В сложносочиненных предложениях с союзами *и*, *но* сочетание инфинитивов *согласиться* и *не согласиться*, которое может находиться как в первой предикативной части, так и во второй, содержит модальные лексемы *могу*, *не могу, можно, надо* и нек. др., указывающие на компонент возможности/невозможности и необходимости реализации согласия и несогласия.

Согласие и несогласие обусловливаются интенциями адресанта, которые отличаются воздействующим признаком и особенностью мыслительного действия (ср.: интеллектуальный процесс оценивается знаком «плюс», содержащимся в слове *интересная*, в котором сосредоточена новая информация). Согласие/несогласие не связано с какими-либо правилами, определяющими

успех коммуникации. Говорящий использует коммуникативный ход, характеризующийся нерешительностью, и презентирует нечетко обозначенное отношение в виде акта невозможности, ограничивая его временными рамками (ср.: вводится обстоятельственный конкретизатор *пока*). Говорящий не мотивирует свое решение, не намерен упрощать стиль взаимоотношений в угоду собеседнику. Формирование согласия/несогласия предполагает акт некоего противоречия, в результате коммуникант может себе позволить уклониться от конкретного ответа: *Асеев высказал интересную мысль, и я с ней пока согласиться не могу и не согласиться не могу* (З. Масленикова).

В соединительно-результативных предложениях с союзом *и* необходимость (ср.: *надо*) оформления согласия и несогласия является следствием (ср.: значение уточняется также наречием *тогда*) определенных обстоятельств, в частности: 1) прогноза-анализа на данном этапе (ср.: временной показатель *сейчас*) хода событий, в результате которого взаимоисключающие реакции (ср.: соединяются повторяющимся разделительным союзом *или*) распределяются в соответствии с требуемым (ср.: включается модальный компонент *надо*) предназначением – согласиться с одним предметом речи и не согласиться с другим: *Она сейчас очутится между двух огней: между стариной и новизной, между преданиями и здравым смыслом – и тогда ей надо или согласиться с ним, или не согласиться со стариной* (И. Гончаров) (границы предикативных частей определяются тире, что способствует актуализации второй части предложения, в которой указывается на выбор согласия или несогласия); 2) должного аналитического навыка (ср.: *следует уметь*), позволяющего качественно осуществлять интеллектуальные действия (ср.: указание на концептуальный анализ содержится в маркере *оценить*) в определенный временной отрезок (ср.: обстоятельственный конкретизатор *вовремя*): *Следует уметь вовремя оценить речь собеседника, и тогда надо согласиться или не согласиться с ним* (В. Астафьев) (следование данной рекомендации способствует приближению к критерию объективности выражаемой реакции, относящейся к тому или иному суждению).

Выбор согласия или несогласия в неблагоприятных условиях (ср.: маркер *неравный* (*обмен*) выявляет непредпочитаемый акт действий) коммуникант осуществляет под влиянием преследуемых целей. Тактика адресанта может базироваться на приемах, которые обеспечивают достижение положительного результата только одной из заинтересованных сторон. В этом случае аннулируется существенное условие – приемлемые правила для адресата, который обладает одним правом (ср.: соответствующий показатель *вольны*) – принимать/не принимать заданное предложение: *Банк может предложить неравный обмен, но вы вольны соглашаться или не соглашаться на его условия* («Комсомольская правда». – 2002. – 22 мая). Выбор той или иной позиции ставит адресата в зависимое положение, создает своеобразные препятствия в развитии события.

В речевом акте предмет речи может восприниматься неоднозначно, в соответствии с интенцией и ситуацией общения. Говорящий конструирует ситуацию возможного согласия или несогласия в речевом действии, поскольку существуют ментальные образования, которые не в полной мере доступны представлениям партиципанта. В сложносочиненных предложениях во второй предикативной части обозначаются те речевые стратегические аспекты, которые уточняют оптимальную структуру содержания предмета речи, дополняют его

характеристику и способствуют нейтрализации недопонимания обсуждаемого явления. Согласие или несогласие определяются с учетом тех обстоятельств, которые отвечают требованиям истинности. В таком речевом акте важен, актуален истинный характер утверждения, а согласие или несогласие как субъективная реакция отдельного лица оказывается менее значимой (ср.: *можно соглашаться или не соглашаться, но...*) для говорящего, которому принадлежит речевая инициатива и который обладает знаниями темы, обнаруживает свое отношение к ней.

В сложносочиненных предложениях с противительными отношениями (ср.: показатель союз *но*) вторая предикативная часть характеризуется выделительно-усилительным значением, содержит модально-логическую оценку сообщаемого, утверждает его реальность и определяется как наиболее существенное суждение на фоне возможного выражения реакции согласия или несогласия. Ситуация возможного согласия или несогласия эксплицируется по отношению к предмету речи, знания о котором уточняются и включаются в структуру сознания коммуниканта. В речевом акте подчеркивается действительность фрагмента (ср.: используются специальные лексические единицы *бесспорно, наиболее очевидные*), который обозначает наличие признака ограничения в сфере познания (ср.: контекстный показатель *отсутствует осведомленность*): *Читатель может соглашаться или не соглашаться с автором, но, бесспорно, у читателя отсутствует авторская степень осведомленности о происходящем* (В. Шаламов); бесспорность положительной (ср.: *великий*)/ отрицательной (ср.: *все шиворот-навыворот*) оценки, содержание которой превосходит совокупность негативных/позитивных компонентов: *С автором публикаций об А.И. Солженицыне можно соглашаться, можно не соглашаться, но, бесспорно, он – великий писатель* («Комсомольская правда». – 1999. – 23 января); – *Сегодня много говорят о китайском опыте реформ. Ерунда все это. – С Вами можно соглашаться, можно не соглашаться, но, бесспорно, в стране все идет шиворот-навыворот* («Комсомольская правда». – 1998. – 3 октября); ряд сущностных объектов, выделяемых (ср.: маркер *таких как...*) в заданных пределах: *Можно соглашаться или не соглашаться с теми или иными выделяемыми категориями, но бесспорен ряд наиболее очевидных категорий текста, таких, как интеграция, делимитация, континуум и перцептуальность* (В. Конева).

В речевом акте говорящий не руководствуется ценностной позицией согласия/несогласия, которая не создает полноценного представления о предмете суждения, и выражает свой вывод-мнение, обосновывая: 1) убедительным подтверждением существования (ср.: употребляются синонимичные единицы *есть, существует*) сложной проблемы, относящейся к конкретной ситуации: *«Опустошенные преступным невниманием к судьбам России, исконно русские земли заселяются переселенцами из коренного населения среднеазиатского и других республик...». Мы можем соглашаться и не соглашаться с подобными высказываниями, но русский вопрос есть, существует* («Дружба народов». – 1990. – № 8); 2) рациональной оценкой (ср.: *целесообразно*): *Можно соглашаться или не соглашаться с исходными теоретическими положениями и терминологией автора, но объект описания выбран целесообразно* (Л. Ермолаева); 3) указанием на: а) естественную неизбежность (ср.: модификатор развития события *обязательно*): *Можно соглашаться или не соглашаться с*

предложенной интерпретацией прочитанного, но человек будет обязательно рассуждать (Г. Сучкова); б) предписание (ср.: модальное слово *должен* со значением долженствования) действия, предназначенного для определенного лица и распространяемого на конкретный объект: *В.А. Соковых может соглашаться или не соглашаться баллотироваться на новый срок главы администрации города, но мы считаем, что он должен вступить в выборную кампанию* («Красное знамя». – 1999. – 27 февраля).

Таким образом, согласие/несогласие, реализуемое в данных конструкциях, связано с проблемой структурирования противоречивого мыслительного содержания. Продуктивность конструкций определяется специфической коммуникативно-смысловой наполняемостью, включением дополнительной информации, воплощающей прагматические компоненты.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вольф Е.М. Грамматика и семантика местоимений: на материале иберо-романских языков. – М., 1974. – С. 24.

2. Богородицкий В.А. Общий курс русской грамматики. – М., 1935. – С. 160.

С.Н. Стародубец,
Брянский государственный университет

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АТРИБУТА В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.А. ИЛЬИНА

Аннотация

В статье рассматриваются два типа составных образований, продуктивно функционирующих в религиозно-философских произведениях И.А. Ильина, – как следствие вторичной номинации и вторичной дефиниции. Наиболее подробно проанализирован национально маркированный атрибут *русский*. Кроме того, осмыслена специфика немаловажных прагмем *православный, религиозный, церковный*. Установлено, что функционирование семантически «заряженных атрибутов» носит центростремительный и центробежный характер.

S. Starodubets

FUNCTIONAL PECULIARITIES OF AN ATTRIBUTE IN RELIGIOUS-PHILOSOFICAL WORKS BY I.A. ILYIN

Abstract

The article considers two types of compound formations that function productively in the religious philosophical works of I.A. Ilyin as the result of the secondary nomination and the secondary definition.

The nationally marked attribute *Russian* is analyzed in detail.

More over the specificity of such important pragments as *orthodox, religious, church* is interpreted.

It's determined that the functioning of the semantically significant attributes has centripetal and centrifugal character.

В современном языкознании традиционный структурно-семасиологический подход к языковым явлениям трансформируется в функционально-семасиологический. Функционализм находится в точке пересечения когнитивного (познавательного) и коммуникативного (информационного) аспектов. Именно поэтому в реальном функционировании языка роль экстралингвистических факторов зачастую более важна, чем роль внутриязыковых, структурных закономерностей. Лексическое значение в этом случае, как полагает большинство лингвистов, – сложная контаминация объективного и субъективного знания, за счет которого одна и та же лексическая единица в разных коммуникативных условиях может выступать в разных актуальных смыслах, представляющих собой «часть» системного значения слова [1].

В этой связи идеологически-оценочное слово в тексте (шире – дискурсе) становится средоточием всех потенциальных функций, которые реализуются (или не реализуются) в микро/макроконтексте.

Анализ употребления идеологически-оценочного слова в контексте произведений И.А. Ильина позволяет утверждать, что именно идеологизированное словосочетание обеспечивает актуализацию в структуре составного образова-

ния определенных семантических компонентов (потенциальных сем), которые кладутся в основу производного [2] или уточненного значения.

На наш взгляд, следует разграничивать два типа словосочетаний:

• словосочетания, явившиеся следствием вторичной номинации (*государственное правосознание, духовное бытие, духовная интуиция, духовная культура, духовный опыт, духовная очевидность, национальная культура, культурное правосознание, монархическое правосознание, правовая свобода, правовое бытие, республиканское правосознание, христианская культура, христианское правосознание* и др.);

• словосочетания, явившиеся следствием вторичной дефиниции *(безбожная культура, истинная политика, нормальное правосознание, русская культура, русское правосознание* и др.).

Способом разграничения является анализ понятийного содержания словосочетаний, объединенных в составное понятие, в этом случае посредством вторичной номинации образуется семантически целостное (синтетическое) соединение, но не свободное (аналитическое) сочетание знаков, объединяемых по действующим в языке моделям для выражения тех или иных понятий. Вторичная номинация – концентрация двух понятийных компонентов в одном, вторичная дефиниция – усложнение через атрибут заданного понятийного поля. Расширение понятийного поля, как правило, ведет к синкретизму плана содержания языковой единицы (к примеру, религиозного и политического, религиозного и философского и т.п.), а усложнение – только лишь к актуализации оценочного компонента. Очевидно, что при семантической целостности знака вследствие вторичной номинации оказывается невозможным полное выведение значения знака непосредственно из значений компонентов, объединенных по соответствующей структурно-семантической модели. Соответственно атрибутивное словосочетание – результат вторичной дефиниции – можно трансформировать в номинативное без изменения смысла.

К примеру: «<...> «истинный национализм есть не темная, антихристианская страсть, но *духовный огонь*, возводящий человека к жертвенному служению, а народ – к духовному расцвету. Христианский национализм есть *восторг* от созерцания свого народа в плане Божием, в дарах Его Благодати, в путях Его Царствия. Это есть *благодарение* Богу за эти дары, но это есть и скорбь о своем народе, если народ не на высоте этих даров» (здесь и далее в цитатах из произведений И.А. Ильина курсив авторский. – С. С.) [3].

В приведенном фрагменте *истинный национализм/христианский национализм* есть иллюстрация сопоставления вторичной дефиниции и вторичной номинации. Атрибут *истинный* в аспекте амбивалентности термина *национализм* маркирует мелиоративную оценочность прагмемы (прагмема – единица, соединяющая предметность и оценочность [4]), в составе второго сочетания атрибут *христианский* идеологически определяет ориентацию чувства национальной самодостаточности критерием христианской меры, христианской терпимости.

Оба атрибута максимально продуктивны в религиозно-философских произведениях И.А. Ильина:

• *истинный* (демократ, духовник, национализм, патриотизм), истинная (автономия, вера, вселенскость, гениальность, государственность, дружба, жертвенность, монархия, свобода, церковь), истинное (великодержавие, еди-

нение, познание, самоотвержение);

• *христианский* (догмат, дух, национализм, порядок, социализм), христианская (вера, воля, культура, любовь, молитва, политика, предметность, свобода, совесть, солидарность, цель, церковь, эпоха), христианское (государство, мироотвержение, общение, общество, откровение, пастырство, понимание, правосознание, призвание, сознание, созерцание).

И в том, и в другом случае атрибут репрезентирует идеологически оценочное значение, однако когда речь идет о вторичной номинации, то словосочетание становится номинативной единицей, а следовательно, и единицей-прагмемой, так как стержневое слово не может дать исчерпывающее наименование понятию, необходимое автору.

Неоднократно маркируя оценочность опорного компонента, атрибут определяет потенциальную «склонность» прагмемы к реализации вариантной оценочности на базе инварианта: истинная монархия («+») – монархия («-»), истинная государственность («+») – государственность («-»), истинная свобода («+») – свобода («-») и т.п. Такая потенциальная амбивалентность эксплицирована (государственность («+» и «-») → здоровая государственность как разновидность истинной («+») и безрелигиозная государственность («-»); свобода («+» и «-») → духовная свобода как разновидность истинной («+») и безмерная свобода («-»)) и не эксплицирована, но возможна в дискурсе.

Наиболее веским атрибутом, который во многом определяет своеобразие всего понятия, названного опорным компонентом, является лексема *духовный*. Исследованию функциональных особенностей названного атрибута посвящена наша работа «Символическая идеология И.А. Ильина» [5].

Кроме этого, И.А. Ильин как национальный религиозный философ, православный метафизик, осмысливает собственно философские, узко политические, эстетические проблемы в аспекте русской национальной идеи, и потому маркером интерпретации названных вопросов становится атрибут *русский* (-ая, -ое, -ие):

• *русский* (гражданин, интернационалист, народ, национальный характер, национализм, национальный акт, обыватель, патриотизм, человек и др.);

• *русская* (буржуазия, бюрократия, государственность, (национальная) духовная культура, (национальная) интеллигенция, колонизация, монархия, национальная власть, национальная идея/Идея, (коммунистическая) революция, (православная) религиозность, (национальная) совесть, созерцательность, страсть, эмиграция и др.);

• *русское* (возрождение, миропонимание, миросозерцание, мышление, национальное бытие, право, православие/Православие, (национальное) правосознание, правосознание, сердце, хлыстовство и др.);

• *русские* («невозвращенцы», патриоты, революционные партии, республиканцы, (национальные) эмигранты и др.).

Такие прагмемы-словосочетания оказываются особенностью и приметой стиля философа. Являясь составной частью прагмемы-словосочетания, лексема *русский* как яркий номинативно-оценочный атрибут, репрезентирующий базовые идеологические пристрастия и приоритеты автора, влияет на лексическое значение опорного слова внутри атрибутивного словосочетания, что проявляется как:

• отвлечение от философско-политического или религиозно-философско-

го содержания термина вообще, «погружение» в оценочное представление о том или ином историческом событии, вследствие вторичной дефиниции, например: «<...> русская революция есть величайшая катастрофа — не только в истории России, но и *в истории всего человечества*» [6];

• собственное доминирование атрибута как мифологизированного метафорического образа, этнокультурного архетипа, отсылающего к парадигме прецедентных (Илья Муромец, Соловей-Разбойник, Садко), исторических (Ломоносов, Суворов) и литературных (Лесков, Пушкин, Достоевский) имен, вследствие вторичной номинации: «России нужен новый *русский человек:* проверенный *огнями соблазна и суда,* очищенный от слабостей, заблуждений уродливостей прошлого и строящий себя *по-новому, из нового духа, ради новых великих целей*... В этом главное. Делая это, мы строим *новую Россию.* <...> Прежней России не будет. Будет *новая Россия.* По-прежнему Россия; но не прежняя, рухнувшая; а новая, обновленная, для которой опасности не будут опасны и катастрофы не будут страшны. И вот *к ней* мы должны готовиться; и *ее* мы должны готовить,— ковать в себе самих, во всех нас *новый русский дух,* по-прежнему *русский,* но не *прежний русский* (т.е. больной, не укорененный, слабый, растерянный)» [7];

• удвоенное доминирование национального мифологизированного атрибута (по типу образований «текст в тексте») в составе сочетаний с национально-мифологическим (*сердце*) или национально-категориальным символом (*совесть*), вследствие вторичной дефиниции: «Рим никогда не отвечал нашему духу и нашему характеру. Его самоуверенная, властная и жестокая воля всегда отталкивала русскую совесть и русское сердце» [8];

• этнокультурное имплицитное (*русский* + *национальный) или эксплицитное (*русский национальный, русско-национальный*) осмысление атрибута, определяющее этнокультурное содержание составного сочетания в целом, как следствие вторичной дефиниции: «<...> в этой трагедии должен завязаться и окрепнуть *новый русский национальный характер,* укорененный во Христе, сердечный и волевой, достойный и прямой, без изворотливо-лживой хитрости и с живым чувством духовного ранга. В русской душе должен быть *преодолен раб;* в ней должно начаться новое *гражданственно-свободное правосознание.* Русский человек должен перестать поклоняться чужим идолам и дьяволам. Он должен «вернуться к себе», к живым и драгоценным корням своей национальной культуры. Он должен понять, принять и выговорить *свою русскую Идею,* с тем, чтобы затем осуществить ее во всем — в религии и в науке, в праве и в государственной форме, в искусстве и в труде, в суде, в медицине и в воспитании» [9]; «<...> русское национальное сознание не впадало в соблазны экономизма, этатизма и империализма, и русскому народу никогда не казалось, что главное дело его — это успех его хозяйства, его государственной власти и его оружия» [10].

Следствием смыслового доминирования атрибутов *духовный* и *русский* становится тесное взаимодействие в дискурсе, эксплицитно реализованное посредством употребления составного образования *русская национальная духовная культура*.

Семантическое «сращение» определяет своеобразие составного образования в целом: национальное единение, по мнению философа, возможно только как духовное обретение в акте единой веры, единого созерцания, единой судь-

бы.

Семантическое притяжение и «взаимозаражение» в дискурсе атрибутов *духовный* и *национальный* (который в контексте работ, посвященных России, совпадает с атрибутом *русский*, а в обобщенно философских и политических контекстах *национальный*, что очевидно, – гипероним атрибута *русский*) детерминирует вывод о том, что, в концепции философа, национальный характер, безусловно, духовный (в приведенном фрагменте = духовность национального характера), соответственно характер духа (в частности, русского) – национальный: «Любить родину – значит любить не просто «душу народа», т.е. его *национальный характер,* но именно *духовность его национального характера* и в то же время *национальный характер его духа*» [11].

Считаем возможным утверждать, что атрибуты *русский* ↔ *духовный* посредством взаимного насыщения и притяжения погружены друг в друга, являют собой синтетическое образование, в котором имплицитный потенциал эксплицирован контекстом в зависимости от целеустановки адресанта: *русский* → *духовный* или *русский* ← *духовный*. Таким образом реализуется в дискурсе функция замещения одного атрибута другим с учетом целенаправленности микроконтекста, при этом смысловое равновесие реализует себя через балансирование (подобное тому как это происходит в детском качающемся противовесе со сменой активного и пассивного действия в направлении верх → низ, низ ← верх) от активной позиции (эксплицирование) к пассивной и наоборот. Такое взаимопроникновение основано на паритете включенных во взаимодействие атрибутов. Семантическое «заражение» компонентов проявляет себя в контекстуальном расширении состава периферийных компонентов.

Отатрибутивные производные *духовность* и *русскость* – два признака, воплощенные в качество, свойство, – этноспецифические модусы, векторы, обусловливающие целенаправленность объективно заданного содержания.

Основой такого синтеза является этнокультурная рефлексия мыслящего субъекта, отражающая концептуальные основы мировоззрения философа в целом.

На наш взгляд, терминологически описанное явление может быть определено как взаимообусловленный семантический паритет, равноценность в пределах дискурса, реализованный через частичное семантическое совмещение.

Кроме атрибутов *духовный* и *русский,* немаловажными в дискурсе произведений И.А. Ильина являются также лексемы *православный* как гипонимическое «продолжение» атрибута *христианский, религиозный*, *церковный,* например:

• *православный* народ, *православное* (богослужение, духовенство, христианство) и др.;

• *религиозный* (гражданин, дух, закон, индифферентизм, нигилизм, опыт, предмет/Предмет, релятивизм), *религиозная* (автономия, вера, воля, гетерономия, интеграция, интенция, искренность, истина, одержимость, очевидность, предметность, реакция, свобода, центрированность), *религиозное* (бытие, дезертирство, самосознание, откровение, очищение, право, предметочувствие, созерцание, сомнение, трезвение) и др.;

• *церковная* (власть, молитва), *церковное* самоуправление, *церковные* гонения и др.

По мнению И.А. Ильина, духовное бытие есть бытие религиозное, так

как «религиозный дух <...> не только церковно-сосредоточен, но и растворен в культуре и быте» [12], в свою очередь «<...> религия есть дух и религиозный опыт есть духовное состояние. Поэтому все, что сказано о духе и духовности, является определяющим для религиозного опыта» [13].

Бесспорная продуктивность атрибута *религиозный* среди указанных выше, как нам представляется, есть следствие включения смыслового поля атрибута *религиозный* в смысловое поле атрибута *духовный* по принципу частичного совмещения на паритетных условиях. *Религиозный* – наиболее яркое, маркированное, но не единственное проявление духовного. Религиозный, как правило, духовный (ср.: бездуховная религия), духовный всегда религиозный: *духовно-религиозный Центр* (Купина), *духовно-религиозный опыт*, *духовно-религиозное отношение*, но *религиозно-духовная компетентность*, *религиозно-духовная пошлость*.

Религиозный и *духовный* – доминирующие атрибуты, репрезентирующие мелиоративную оценочность в противовес пейоративной, репрезентируемой малопродуктивными атрибутами-контративами (предметная антонимия, оценочная антонимия) *бездуховный* и *безрелигиозный* (бездуховный акт, бездуховная религия, бездуховное искусство; безрелигиозная (государственность, социал-демократия), безрелигиозное искусство).

Итак, функционирование семантически «заряженных атрибутов» – функторов-смыслопульсаров, иррадиаторов национально окрашенных идей (термин Мышкиной Н.Л. [14]), – носит центростремительный и центробежный характер: с одной стороны, имеет место преобразование значения слова в составе атрибутивного словосочетания вследствие «семантического заражения» (термин Е.С. Копорской [15]), когда слово, употребляясь преимущественно в синтагматически обусловленном контексте, приобретает контекстуальное значение, которое преобразуется (вторичная номинация) или не преобразуется (вторичная дефиниция) в самостоятельное; с другой стороны, особая семантическая целенаправленность атрибутов, обусловленная интенцией адресанта, материализованной посредством картины мира, приводит к тому, что ключевое слово-атрибут становится средоточием потенциального смысла родственного «по духу» атрибута, отчасти исполняя его обязанности в определенных условиях на паритетных началах.

Появление детерминирующего микроконтекста есть результат влияния макроконтекста (шире дискурса) на выбор знаковых единиц.

Итак, лексическая единица в процессе употребления реализует свое смысловое поле [16], и, будучи результатом «комбинаторного приращения смысла» [17], функционирует в дискурсе. Именно поэтому само стержневое слово – функтор-атрибут – становится средоточием всех потенциальных вариантных центробежных и центростремительных контекстуальных функций, в общем виде определяемых как проецирование элементов одного множества в другое. В результате такого приращения смыслов текстовое пространство становится сферой взаимодействия множества энергетических потоков, что в результате позволяет считать исследуемый текст духовно-энергонасыщенным.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Стернин И.А. Коммуникативная модель значения и ее объяснительные возможности // Семантика слова и синтаксической конструкции. Межвуз. сб.

научн. тр. – Воронеж, 1987. – С. 15-23.

2. Снитко Е.С. Семантическая основа устойчивости составных наименований в современном русском и украинском языках // Русское языкознание. Вып. 9. – Киев, 1984. – С. 32.

3. Ильин И.А. Основы христианской культуры // Ильин И.А. Путь духовного обновления. – М., 2006. – С. 287-289.

4. Эпштейн М.Н. Идеология и язык // Вопросы языкознания. – 1991. – № 4. – С. 19-33.

5. Стародубец С.Н. Символическая идеология И.А. Ильина // Известия РГПУ. – В печати.

6. Ильин И.А. Наши задачи. Русская революция была катастрофой // Ильин И.А. Собрание сочинений. В 10 тт.. Т. 2. Кн. 1. – М., 1993. – С. 129-130.

7. Ильин И.А. Наши задачи. О главном // Ильин И.А.– Там же.– С. 160-161.

8. Ильин И.А. Наши задачи. Против России. // Ильин И.А. – Там же. – С. 63.

9. Ильин И.А. Наши задачи. О страданиях и унижениях русского народа // Ильин И.А. – Там же. – С. 198-199.

10. Ильин И.А. Наши задачи. Опасности и задания русского национализма // Ильин И.А. – Там же. – С. 366-367.

11. Ильин И.А. Путь духовного обновления // И.А. Ильин Собрание сочинений в 2-х тт. Т.2. – М., 1994. – С. 234.

12. Ильин И.А. О революции // Ильин И.А. Кто мы? О революции и религиозном кризисе наших дней. – М., 2001. – С. 154-155.

13. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. – М., 2002. – С. 36.

14. Мышкина Н.Л. Лингводинамика текста: контрадиктно-синергетический подход: Авт. дисс. д-ра филол. наук: – Уфа, 1999.

15. Копорская Е.С. Семантические преобразования слова, контекстуально стимулируемые и контекстуально нестимулируемые // Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. Виноградовские чтения. VI. – М., 1982. – С. 154-166.

16. Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: психолингвистическое исследование. – Воронеж, 1990. – С. 45.

17. Ларин Б.А. О разновидностях художественной речи: Семантические этюды // Русская речь. /Под ред. Л.В. Щербы. Вып. 1. – М., 1923.

И.Н. Хрусталев,
Московский педагогический
государственный университет

К ПРОБЛЕМЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКИ РУССКИХ ГИДРОНИМОВ

Аннотация

В статье рассматривается грамматическая специфика русских гидронимов, которая проявляется как на морфологическом уровне (в особенностях распределения водных названий по типам и разновидностям субстантивного склонения), так и на уровне синтаксиса (в склоняемости или несклоняемости гидронимов при употреблении в предложении без родового понятия-термина и при наличии такового).

Igor Khrustalev

ABOUT A PROBLEM OF RUSSIAN HYDRONYMS GRAMMATICAL SPECIFICITY

Abstract

The article focuses on Russian hydronyms grammatical specificity, which is revealed both on morphological level (while distinguishing between types and sorts of hydronyms nominal declension) and on syntactic level (hydronyms declinability or indeclinability while using them with and without generic term in a sentence).

Специфичность семантики проприальной лексики, ее отличие от семантики апеллятивной сегодня никем уже не оспаривается, хотя сам вопрос о составе лексического значения имени собственного, о соотношении в его семантической структуре денотативного и сигнификативного значения, о его информативности решается неоднозначно, однако это нисколько не мешает исследованию различных сторон семантики ономастической лексики. По-видимому, все это и позволило В. Д. Бондалетову написать: «В структурно-языковом плане специфика имени собственного дает себя знать обычно в области семантики (поэтому многие ученые имя собственное считают лексической, а не лексико-грамматической и тем более не грамматической категорией) и в меньшей степени в области морфологии (включая словообразование) и синтаксиса», хотя он и указывал как актуальные общеономастические проблемы структурно-языковую специфику собственного имени и место ономастической лексики в системе языка [1]. С утверждением, что имя собственное не является лексико-грамматической категорией и что его специфика практически не проявляется в словообразовании, морфологии и синтаксисе, вряд ли можно полностью согласиться. Видимо, следует иметь в виду, что у разных типов ономастической лексики морфологические и синтаксические особенности проявляются по-разному и в сфере топонимии данная специфика наиболее заметна и изучена пока еще недостаточно полно.

Вопрос о грамматических особенностях гидронимов как части русской ономастической лексики можно рассматривать в двух главных аспектах: во-

первых, в аспекте собственно их частеречной принадлежности (вопрос специфики распределения конкретных гидронимов по типам и видам субстантивного склонения) и, во-вторых, в аспекте их употребления в предложении в тех случаях, когда отсутствует родовое понятие (*река, озеро, ручей* и др.), и в случаях, когда оно имеется (вопрос согласования или несогласования топонима с родовым понятием). Естественно, что, как и в языке вообще, грамматическая специфика гидронимов, как части проприальной лексики, определяется особенностями их семантики, из которых следует выделить их предельную конкретность и ситуативность, особо тесную связь с обозначаемым объектом, усиление денотативного (номинативного) значения и ослабленность сигнификативного (понятийного), выполнение дифференцирующей функции и др. В топонимии к тому же можно констатировать отсутствие оппозиции субстантивных категориальных семантических признаков (одушевленность – неодушевленность, личность – неличность, счисляемость – несчисляемость, абстрактность – конкретность), поскольку географические наименования являются неодушевленными, неличными, несчисляемыми, конкретными. С этим, кстати, связана неполнота (ущербность) парадигмы топонимов, выражающаяся в отсутствии форм множественного числа, то есть, по сути, почти все топонимы являются словами singularia tantum, хотя в топонимии имеется и ряд наименований pluralia tantum (*Колодези, Колчи, Рассохи* и др.).

Рассматривая вопросы распределения гидронимической лексики по типам и разновидностям субстантивного склонения и их употребления в предложении, можно отметить, что, в целом, водные наименования входят в те же типичные группы, на которые распределяется и апеллятивная лексика, хотя количественный состав их в гидронимии совершенно иной. Имеются и некоторые уникальные разновидности, свойственные только топонимии. Отметим также, что в таком распределении определенную роль играет родовая принадлежность названия типа объекта (*река, ручей, озеро* и т.п.), морфемная структура водного наименования, а именно, наличие или отсутствие типичных топонимических формантов (*-ец, -иц(а), -енк(а), -овк(а), -ин(о), -ов(о)* и др.) и прозрачность или непрозрачность этимологии. Рассмотрим эти положения на примере водных названия Поочья, приводимых в каталоге Г. П. Смолицкой «Гидронимия бассейна Оки» [2].

Анализируя данный материал, однозначно можно констатировать, что гидронимов, представляющих первый субстантивный тип склонения [3], среди общего количества географических водных наименований, в отличие от апеллятивной лексики, немного. Сюда входят в первую очередь названия рек, ручьев, лосков, оврагов (верхов, отвершков), озер мужского рода на твердый нешипящий согласный и *-й* (*р. Орлик, р. Крупец, р. Ржавец, р. Сынтул, р. Бенск, р. Дол, руч. Клодовец, верх Каменец, овраг Ржавец, оз. Топор, оз. Мачинец, оз. Хомут, бол. Водопой* и др.). Как мы видим, эти гидронимы либо имеют типичные суффиксальные форманты слов мужского рода (*-ик, -ец, -ск*), либо являются перешедшими в онимы апеллятивами-терминами мужского рода (*Ржавец, Дол, Водопой*), либо представляют собой метафорические образования от нарицательных лексем мужского рода (*Топор, Хомут*); также это могут быть иноязычные наименования на твердый согласный, вошедшие в русскую топонимическую систему как слова мужского рода (*Сынтул*). Данные гидронимы имеют ту же парадигму, что и подобные слова апеллятивной лексики (*на*

Орлике, к Ржавцу, в Бенске, у Сынтула, в Мачинце и т.п.), то есть без родового понятия они употребляются в предложении так же, как и соответствующие нарицательные лексемы того же склонения. Что касается гидронимов на твердый шипящий (*-ж, -ш*) и любой мягкий согласный, то имеются определенные трудности при отнесении их к мужскому или женскому роду и определенному типу субстантивного склонения. Однозначно в первое склонение входят гидронимы, образованные онимизацией географических апеллятивов-терминов мужского рода, таких, как *колодезь, гребень, корь* (*р. Колодезь, овраг Быков Колодезь, овраг Лысьев Корь, верх Красный Гребень*), а также формально совпадающие с нарицательными словами такие наименования, как *р. Гусь, р. Олень, верх Журавль, р. Вепрь, р. Сухой Вепрь*.

Гидронимы на *-ж/-жь, -ш/-шь*, а также на *-ч/-чь, -щ/-щь* и другие мягкие согласные испытывают различные колебания в родовой принадлежности, причем зачастую на это не влияет оформление финали (*-ж* или *-жь*, *-ш* или *-шь*). Конечно, названия оврагов (верхов, отвершков), ручьев обычно относятся к мужскому роду и первому склонению (*овр. Умакарь, овр. Большой Сергуш* и др.), что определяется родом наименований типов объектов. К той же разновидности принадлежат такие совпадающие с нарицательными лексемами гидронимы, как *Пузач, Лихач, Торгаш*, и онимизированные апеллятивы-термины *Ключ* и *Гремяч*. Другие же названия распределяются по родам и типам склонения достаточно произвольно, причем контексты, где бы они присутствовали в формах, проясняющих это, достаточно редки, поскольку в большинстве своем эти гидронимы принадлежат микротопонимии, поэтому они или малоупотребительны даже в устной речи, или совсем вышли из употребления из-за исчезновения объектов наименования.

Традиционно некоторые гидронимы на *-ж, -ш, -ч* (*р. Трубеж, р. Киржач, оз. Требеш* и др.) относят к мужскому роду. В других случаях уточнить род помогает наличие вариантов: так, названия *р. Мердуш, р. Шиворонь, р. Чиуш, р. Котогощ, оз. Сологощ*, относятся, скорее, к женскому роду и третьему субстантивному склонению, так как имеют параллельные наименования *Мердушь, Шиворона, Чиуша, Котогоща, Сологоща*, которые отмечаются в каталоге «Гидронимия бассейна Оки», причем на различных топографических картах, которые, по сути, являются для микротопонимов одним из основных контекстов употребления, они представлены также в разных вариантах, что наводит на мысль о необходимости некоторого лингвистического (хотя бы рекомендательного) их упорядочения, чего до сих пор не проводилось.

Наконец, в ряде случаев в некоторых составных наименованиях атрибутивные компоненты проясняют род главного слова: м. р. – *р. Сухой Азясь, р. Большой Азясь, р. Сухой Малавль, р. Дальний Ерополь, р. Гнилой Ерополь;* ж. р. – *р. Сухая Казарь, р. Большая Нетрош*, *р. Сухая Будоговищ* и др. Иногда в каталоге Г.П. Смолицкой содержатся прямые указания на колебания в роде названия, например *р. Нугрь* (м. и ж.). По-видимому, большинство речных гидронимов с нулевой флексией на *-ь* (мягкий знак) следует либо относить к женскому роду и третьему субстантивному склонению и изменять в соответствии с его парадигмой, например: *Поль* (И., В.), *Поли* (Р., Д., П.), *Полью* (Т.) и т.п., либо рекомендовать употреблять всегда с родовым термином в И.п. (особенно гидронимы с непрозрачной семантикой): *у реки Казарь* и *у р. Казарь, к реке Казарь* и *к р. Казарь* и т.п.

Среди гидронимов бассейна Оки имеется и небольшое количество лексем первого склонения среднего рода на *-о* и *-е*. Из водных названий на *-о* к этому типу возможно отнести лишь слова, совпадающие с нарицательными: *(Орлово) Гнездо, Полечко, (Золотое) Копыто, (Кривое) Колено, Озеро, Болото, (Сухое) Донцо;* другие наименования на *-о* являются, скорее, неизменяемыми (*Ляво, Ярво, Мочкаро, Кидро* и т.п.). Разновидность склонения на *-е* образуют две группы гидронимов: названия на *-ище* (*оз. Мочилище, оз. Вежище, овр. Ендовище, овр. Ломовище,* и др.) и на *-ье* (*оз. Заозерье, овр. Ущелье* и др.).

Второе субстантивное склонение [4] представлено в гидронимии Поочья гораздо шире, чем в нарицательной лексике: из всех водных названий бассейна Оки таких образований насчитывается примерно половина. Это связано с тем, что основу гидронимии составляют, конечно, речные наименования, которые в русском языке, как правило, оформляются в виде лексем женского рода с типичными формантами (*-ица, -ка, -овка, -енка, -ина, -ища* и др.) или без них. Это, например, такие речные гидронимы, как *Вертеба, Дубрава, Чернава, Вослебка, Истобка, Лужевка, Сварливка* и др. Падежная парадигма таких онимов почти ничем не отличается от парадигмы подобных нарицательных слов, кроме того, что у них отсутствуют формы множественного числа.

Как уже было сказано, третье субстантивное склонение составляют преимущественно речные наименования с нулевой флексией на *-ь* (*р. Поль, р. Шиворонь, р. Казарь* и др.).

В отличие от нарицательной лексики, в сфере гидронимии имеется большое количество лексем, входящих в адъективное склонение и представляющих собой субстантивированные полные прилагательные мужского, женского и среднего рода с окончаниями *-ой (-ий, -ый), -ая (-яя), -ое (-ее)*: *овр. Строевой, руч. Воскресенский, верх Калиновый, р. Плоская, лощ. Дальняя, оз. Поддубное, оз. Ведяжее* и др., а также наименований смешанного склонения (местоименного и притяжательного) на *-ий (-ья, -ье)* и на *-ин (-ина, -ино), -ов (-ова, -ово)*: *овр. Бабий, р. Щучья, оз. Карасье, лоск Маринин, р. Ларина, овр. Кудеяров, р. Попова, оз. Иваново* и др. [5], причем смешанное притяжательное склонение состоит практически полностью из ономастической лексики (топонимов и антропонимов-фамилий), а местоименная разновидность представлена по большей части гидронимами. Данные особенности, конечно, определяются атрибутивным характером топонимической номинации.

В качестве особой топонимической разновидности субстантивного склонения можно назвать довольно многочисленные лексемы pluralia tantum: *Островки, Липяги, Рассохи, Колчи* и т.п., отличающиеся от подобных нарицательных слов (*выборы, духи, сани* и др.) тем, что у большинства из таких названий имеются в апеллятивной лексике соответствующие, мотивирующие их формы единственного числа (*островок, липяг, рассоха, колч*), которые, кстати, и сами могут быть представлены в виде топонимов (*Рассоха, Липяг*), являющихся порой вариантами соответствующих наименований pluralia tantum, однако от этого их парадигма не перестает быть неполной.

Стоит выделить и некоторые озерные гидронимы (*Ярво, Ляво, Цыбено, Смехро, Вочехро* и др.), которые представляют собой неизменяемые слова так называемого нулевого склонения [6]. Особую группу составляют такие названия, как *р. Ямна, р. Рогозна, р. Альшан, р. Зелен, оз. Свято* и др., которые, по сути, являются субстантивированными краткими прилагательными, однако

в некоторых случаях речные гидронимы женского рода могут употребляться в косвенных падежах, то есть сохраняют архаичный именной тип склонения кратких прилагательных (*у Ямны, к Ямне* и т.п.).

Как уже было сказано, большая часть русских гидронимов представляет собой изменяемые существительные, которые склоняются в соответствии с парадигмой той разновидности субстантивного склонения, в которую они входят; в предложении при отсутствии родового наименования они употребляются в форме необходимого падежа (*У Ялмы семь мелких притоков.* (р. Ялма), *Средняя глубина Кади – 1,5 м...* [7] (р. Кадь), *Рыба на Имлесе ловится на все виды любительских рыболовных снастей* [8] (оз. Имлес); *В нижнем течении Нарма принимает свой правый приток Куршу и уже полноценной рекой сливается с водами Гуся* [9] (р. Курша, р. Гусь); *В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене – желтоватая, в Великом озере – оловянного цвета, а в озерах за Прой – чуть синеватая* [10] (оз. Урженское, оз. Великое, оз. Сегден, современный вариант названия – Сегдено – является, скорее всего, неизменяемым).

К неизменяемым словам можно отнести лишь редкие наименования на *-о*, которые осознаются носителями русского языка как явные иноязычные (*Вочехро, Смехро, Ляво* и т.п.).

Однако, в целом, следует отметить, что некоторые типы гидронимов без родового наименования-термина встречаются достаточно редко, это, например, водные названия с формантами *-ин-, -ов-/-ев-*, хотя они вполне могут изменяться по притяжательному типу смешанного склонения: *пруд Ларин, оз. Иваново – у Ларина, у Иванова, к Ларину, к Иванову, за Лариным, за Ивановым, в Ларине, в Иванове*, причем стоит обратить внимание на форму творительного падежа, которая в случае с гидронимами имеет, как правило, окончание притяжательных прилагательных и фамилий – *-ым*, а не *-ом*, как в названиях населенных пунктов, что можно, по-видимому, объяснить сохранением посессивного оттенка в их значении, если они мотивируются антропонимами (*Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом – каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне* [11], или контаминацией с формой полных прилагательных, если они образованы от апеллятивов: *оз. Орехово* и *оз. Ореховое – под Ореховым*. Добавим, что иногда такие названия встречаются в препозиции к родовым понятиям, то есть принимают на себя роль своеобразных определений к ним.

Обратимся теперь к проблеме употребления гидронимической лексики в предложении при наличии родового понятия. Традиционно данный вопрос рассматривается в ортологическом (нормативном) аспекте [12], хотя согласование или несогласование географических названий с апеллятивом-термином зависит зачастую от условий не столько стилистических (как в большинстве случаев установления нормы), сколько структурно-грамматических. Если обобщить имеющиеся по данной проблеме исследования [13], то основной комплекс стилистических и грамматических условий, определяющий склоняемость или несклоняемость гидронимов при родовом понятии, выглядит примерно так:

1) тип обозначаемого объекта (*река, озеро, ручей, пруд* и т.п.);

2) род понятия-термина, обозначающего объект, и его совпадение или несовпадение с родом гидронима;

3) род и тип склонения самого гидронима;

4) морфемная структура гидронима, составной он или простой;

5) прозрачность семантики и мотивированность водного названия;

6) иноязычное происхождения гидронима;

7) его известность носителям языка;

8) стиль и контекст употребления.

Учитывая перечисленные факторы, можно сказать, что почти всегда согласуются с родовым понятием названия рек женского рода второго субстантивного склонения с флексией *-а (-я)* (*на реке Пре, у реки Зуши* и т.п.). Для речных наименований мужского рода первого субстантивного склонения с нулевой флексией на твердый согласный и *-й* считается нормой согласование с понятием-термином, особенно если это славянские названия с типичными топоформантами (*у реки Орлика, к реке Ржавцу* и т.п.) или широко известные топонимы, однако часто подобные названия не согласуются с апеллятивом *река*, по-видимому, потому, что не совпадает родовая принадлежность нарицательного слова и имени собственного (*у реки Сынтул, к реке Бенск* и т.п.), особенно это касается иноязычных по происхождению наименований.

Устойчивая тенденция к изменению в подобной позиции наблюдается у гидронимов адъективного и смешанного местоименного склонения независимо от типа обозначаемого ими объекта (*на реке Плоской, у реки Быстрой, в озере Дубовом, к реке Щучьей, на озере Карасьем* и т.п.). Другие же водные названия (речные гидронимы первого и третьего склонения на любой мягкий согласный и на *-ж(ь)* и *-ш(ь)* (*Поль, Нугрь, Азясь, Мердушь, Нетрош, Трубеж*), любые наименования других объектов (озер, ручьев, лосков, лощин и др.), названия pluralia tantum, составные названия – *р. Ключ, р. Колодезь, р. Гусь, р. Нугрь, р. Поль, оз. Топор, оз. Ендовище, оз. Иваново, бол. Водопой* и др.), которые входят в субстантивные типы склонения и в смешанное притяжательное склонение) во-первых, вообще почти не употребляются без родового понятия, а во-вторых, практически никогда с ним не согласуются. Исключение, пожалуй, составляют названия ручьев, оврагов, верхов, лосков с типичными формантами слов мужского рода (*в ручье Клодовце, в овраге Ржавце, у верха Каменца*), достаточно известные речные гидронимы (*на реке Трубеже, в реке Киржаче*), а также наименования смешанного притяжательного склонения в случаях, когда совпадает род географического апеллятива-термина и онима (в *лоске Маринином, в овраге Кудеяровом, на реке Лариной*). Следует добавить, что в целом, как отмечается в некоторых исследованиях, в «профессиональной речи военных и топографов укоренился обычай географические наименования употреблять в исходной форме (несклоняемой)» и что под «влиянием профессионально-терминологической речи несклоняемость географических названий» широко распространилась в публицистическом (газетном) стиле [14]. Это связано, вероятно, с выполнением топонимами адресной и дифференцирующей функций, которые требуют предельной точности и не терпят никаких разночтений.

Таким образом, проведенный анализ гидронимии бассейна Оки позволяет сделать заключение, что проприальная гидронимическая лексика обладает рядом специфических грамматических черт, которые проявляются как на морфологическом уровне (в особенностях распределения водных названий по типам и разновидностям субстантивного склонения), так и на уровне синтаксиса (в склоняемости или несклоняемости гидронимов при употреблении в предложении без родового понятия-термина и при наличии такового).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бондалетов В. Д. Русская ономастика. – М., 1983. – С. 8-9, 20.
2. Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки. – М., 1976.
3. Русская грамматика. – Т. 1. – М., 1980. – С. 484.
4. Там же. – С. 489.
5. Там же. – С. 503-505.
6. Там же. – С. 506.
7. Нырков Н. А. По озерам Мещерского края. – М., 2002. – С. 193.
8. Там же. – С. 21.
9. Там же. – С. 197.
10. Паустовский К. Г. Разливы рек. Повести, рассказы, сказки. – М., 1973. – С. 8.
11. Там же. – С. 3.
12. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. – М., 1976. – С.138-149; Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1987. – С. 284-288.
13. Там же.
14. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. – М., 1976. – С. 140.

О.В. Шаталова,
Московский государственный
областной университет

РОЛЬ АФФИКСАЦИИ В СТРУКТУРЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА

Аннотация

Статья посвящена исследованию словообразовательных единиц, входящих в структуру словообразовательного гнезда с доминантой *быть*, различных по своему строению, назначению и по своей формально-семантической значимости. В ней выделены три зоны в области русской аффиксации: словообразование, формообразование, словоизменение; рассматриваются способы образования новых слов при помощи аффиксов согласно словообразовательным моделям, свойственным русскому языку.

Olga Shatalova

THE ROLE OF THE AFFIXATION IN STRUCTURE OF THE WORD-FORMATIVE UNITS

Abstract

The article is devoted to the research of the word-formative units, which belong to the word-building family of words with a dominant “to be”, which are different in their structure, destination and their own semantic significance. There are three areas in the russian affixation: word-formation, form-formation, word-changing; there are described the ways of a new words-formation, using the affixes according to the word-formative models, peculiar to the Russian language.

Словообразовательные единицы, входящие в структуру словообразовательного гнезда, внутренне неоднородны как по своему строению и назначению, так и по своей формально-семантической значимости в самом гнезде. В настоящее время насчитывается, по меньшей мере, 18 бесспорных единиц: морфема, корень, аффикс, приставка, суффикс, постфикс, интерфикс; слово (производное); база, формант, синтагма; парадигма, тип, способ, пара, цепь, ряд, гнездо. Основной, исходной, элементарной словообразовательной единицей является морфема. Словообразование как процесс в конечном счете есть не что иное, как различные комбинации и объединения именно морфем и их различных блоков в единства более высокого порядка – слов***а***.

Образование новых слов при помощи аффиксов (или посредством дезаффиксации) согласно словообразовательным моделям, свойственным русскому языку, называется деривацией. Одним из продуктивных способов деривации является аффиксация – «морфологический процесс (соотв. явление), заключающийся в присоединении аффиксов к корням или основам» [1].

В словообразовательном гнезде с доминантой *быть* важную роль играет прогрессивная деривация, или аффиксация.

Область русской аффиксации можно разделить на три основные зоны:

словообразование (*быть – бытие, побывать – побывка, быть – быль, бесприбыльный – бесприбыльность, быль – небылица, быть – сбыть, сбыть – сбыт, убыть – убыток*);

формообразование (*быть – был, быть – бывший, безубыточный – безубыточно, прибывать – прибывающий, выбывать – выбывший - выбывающий*);

словоизменение (*бытие – бытия – бытию – бытием* и т. д.; *былой – былого – былому* и т. д.; *бывший – бывшая – бывшее; бывший – бывшие; выбываю – выбываешь – выбывает – выбываем – выбываете – выбывают*).

Это деление основывается на величине семантического наращения в соответствующем члене парадигмы в процессах словообразования, формообразования и словоизменения.

В зоне аффиксального **словообразования** происходит образование новых лексем, а именно слов с новым лексическим значением: *быть – бытие, быть – бытность*. Важно отметить, что с точки зрения степени наращения словообразовательного значения в производном по отношению к своему производящему можно выделить три группы слов.

1 группу представляют слова, в которых наблюдается минимальное наращение при синтаксической деривации: *прибыть – прибытие, пребывать – пребывание, бывалый – бывалость, безубыточный – безубыточность – безубыточно* и т. п. В данном случае специфику значения производного слова необходимо искать в первую очередь в семантике другого знака, принятого за исходный, т. е. производная единица в лексикографических источниках может быть описана через значения мотивирующего слова: *прибыть* – ‘прийти, приехать, приплыть, прилететь куда-либо’; *прибытие* – ‘действие по глаголу *прибыть*’.

2 группу составляют единицы, где наращение осуществляется при лексической деривации. В этой группе выделяются а) дериваты с небольшим семантическим наращением, например, *быть – бывать, небыль – небылица – небыличка,* а также б) дериваты с максимальным наращением словообразовательного и лексического значения в производном слове по сравнению с производящим, например, *бывалый – бывальщина – побывальщина, прибыть – прибыль, быть – сбыть*. Так, у глагола *прибыть* в русском языке основными выступают следующие значения: ‘1) прийти, приехать, приплыть, прилететь куда-либо; 2) увеличиться, прибавиться по количеству, весу, степени и т. д.’. В свою очередь, производная лексема *прибыль* имеет в русском языке пять значений, основными из которых являются экономические термины: ‘1) сумма, составляющая разницу, на которую доход превышает денежный доход, барыш; 2) часть продукта (результат труда) для общества, образующаяся на предприятиях за счет роста производительности труда; 3) польза, выгода’. И только в качестве последнего зафиксировано значение, семантически тождественное значению производящего глагола – ‘увеличение, прибавление чего-либо’.

Формирование значений префиксальных глаголов (*быть – выбыть, быть – прибыть, быть – отбыть, бывать – пребывать* и т. д.) предполагает обращение к смыслам, стоящим за значениями префикса и глагола, т.е. языковые основы глагольной префиксации определяются семантической мотивированностью сочетаемости префиксов и глаголов. Эта семантическая мотивированность заключается в том, что присоединение префикса с тем или иным значением к глагольной основе определяется семантикой глагола, задающей

выбор конкретного значения префикса. Префикс, в свою очередь, определяет направление, в котором происходит развитие семантики производящего глагола.

Так, для глагола *быть* наибольшей активностью характеризуются префиксы *вы-, по-, от-, при-, с-, у-, из-* (*выбыть, побыть, отбыть, прибыть, сбыть, убыть, избыть*), объединенные следующими общими семами: ‘покинуть место’ (*вы-, от-, у-: выбыть* – ‘покинуть место жительства; выехать’, *отбыть* – ‘покинуть какое-либо место, отправиться в путь’, *убыть* – ‘выбыть из состава чего-либо’ - во 2 знач.), ‘избавиться от кого-либо, чего-либо’ (*с-, из-: сбыть* – ‘избавиться, отделаться от кого-либо’ – во 2 знач., *избыть* – ‘избавиться, освободиться от кого-либо’), ‘нахождения где-либо некоторое время’ (*по-: побыть* – ‘пробыть, остаться некоторое время где-либо’), ‘приближение кого-либо, чего-либо’ (*при-: прибыть* – ‘прийти, приехать, приплыть, прилететь куда-либо’ – в 1 знач.).

Чаще всего лексическое значение производящего слова и значение префикса четко проявляются и сравнительно легко определяются. Но в семантических парадигмах встречаются префиксальные глаголы, у которых смысловая связь с исходным глаголом ослаблена или вообще утрачена. Так, глагол *забыть* с основными значениями ‘Утратить из памяти, перестать помнить; Оставить, покинуть по забывчивости; Пренебречь кем-чем-н., перестать помнить (обязательства перед кем-чем-н.); Перестать навещать, поддерживать отношения’ и глагол *до-быть* с основными значениями ‘Достать, разыскать; Извлечь из недр земли’ в русском языке полностью утратили свою связь с исходным глаголом *быть* и в настоящее время образуют свои самостоятельные словообразовательные гнезда, в который эти лексемы являются доминантами.

Принципиально отличается от словообразования зона аффиксального **формообразования**: в ней посредством суффиксации и префиксации происходит образование разных форм в пределах одной и той же лексемы, т.е. члены парадигмы являются не разными лексемами, а разными формами одной и той же лексемы: *быть – бывший; сбываться – сбывшийся – несбывшийся; отбывать – отбывающий; прибыльный – прибыльно; убыточный – убыточно.*

Наиболее абстрактные грамматические значения, которые в наибольшей мере удалены от лексической семантики, выражает зона **словоизменения.** Выразителем словоизменительных значений лексемы является окончание, или флексия. Так, окончание материализует грамматические значения в парадигмах склонения (*бывалый – бывалое; побывка – на побывке; небылица – небылицы*) и спряжения (*прибываю – прибываешь – прибывает – прибываем – прибываете – прибывают*). В ряду русских аффиксов окончание выражает наиболее абстрактные грамматические значения:

В именах и причастиях – значения рода (*несбыточный – несбыточная – несбыточное; бывалый – бывалая – бывалое; бывший – бывшая – бывшее*), числа (*небылица – небылицы; бывший – бывшие*), падежа (*небывальщина – небывальщины – небывальщине – небывальщину* и т. д.; *небывалый – небывалого – небывалому – небывалый (небывалого) – небывалым* и т. д.; *выбывший – выбывшего – выбывшему – выбывшего – выбывшим* и т. д.;);

В спрягаемых формах глагола – значения лица (*избываю – избываешь – избывает – избываем – избываете – избывают*) и числа (*отбываю – отбываем, отбываешь – отбываете, отбывает – отбывают*).

Отсутствие окончания в словоформе является признаком ее неизменяе-

мости. Окончание функционирует во всех трех зонах, но в главной функции выступает в зоне словоизменения. Оно непроницаемо для иноязычных влияний и не знает заимствований, поэтому его можно считать одной из самых глубинных особенностей грамматического строя языка.

Говоря о формах инфинитива (*быть, бывать, прибывать, перебывать, убыточить, сбыть* и т. д.), можно утверждать, что аффикс ***–ть*** не выражает значения рода, числа, падежа, лица и не служит для выражения морфосинтаксических отношений. Целесообразнее, на наш взгляд, считать инфинитивные конечные аффиксы суффиксами, но такими, которые на общей аффиксальной шкале стоят на границе с окончаниями.

Таким образом, в гнезде с доминантой *быть* все словообразовательные отношения являются органическими частями одной иерархической структуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 2005. – С. 61.

ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ

О.Ф. Костикова,
Рязанский государственный университет
им. С.А. Есенина

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК АКТУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ НАЧАЛА XXI ВЕКА

Аннотация

Грамотно выстроенная языковая игра, рассчитанная на фоновые знания адресата, – это актуальный прием стилеобразования современной газетной публицистики. Языковая игра служит средством выражения экспрессивной оценки, является мощным воздействующим механизмом, управляющим общественным сознанием.

The Ryazan State University

WORD TRICK AS ACTUAL STYLISTIC DEVICE OF THE 21ST CENTURY NEWSPAPER LANGUAGE

Abstract

Correctly built word trick, which relies on background knowledge of an addressee – is an actual device of stylistics and modern newspaper language. It provides emotional and expressive attitude and influence on public relations.

Парадигма специфических черт языка современной газетной публицистики достаточно обширна. Одной из определяющих черт языка газеты исследуемого периода является языковая игра, что, на наш взгляд, связано с возросшей экспрессивностью газетного подстиля, вызванной активизацией перлокутивной функции публицистики.

Таким образом, языковая игра «становится мощным оценочным механизмом, управляющим общественным сознанием» [1].

Актуализация языковой игры отвечает функциональному назначению газетной публицистики современного периода:

- во-первых, языковая игра – это специфический приём стилеобразования и смыслообразования современной газетной публицистики, так как она является визитной карточкой, определяющей принадлежность к газетному подстилю, служит средством выражения экспрессивной оценки, является мощным оценочным механизмом, управляющим общественным сознанием;

- во-вторых, данная категория выполняет рекламную функцию, которая в некоторых периодических изданиях выдвигается на первый план;

- в-третьих, – текстообразующую функцию: формальная организация

текстов, построенных с помощью языковой игры, становится информативно-значимой, так как привлекает внимание адресата ко всему тексту или к его отдельным компонентам.

Языковая игра основана на преднамеренном нарушении системных отношений языка с целью создания неканонических языковых форм и структур, приобретающих экспрессивное значение и способность вызывать у читателя эстетический и стилистический эффект.

Составляющими языковой игры могут быть различные лингвистические явления. Так, с помощью омонимов создаются каламбуры: *Чья вина, что нет вина* («Совершенно секретно». №8. 2006); *Золотой запас. Кто запас, тот и золотой* («Панорама города». №50. 2007); *Начнём мыслить здраво – наступит эра здравомыслия* («Новая газета». №34Р. 2007); *Серб и молот* («Новая газета». №41. 2006); *Спид не спит* («Мещёрская сторона». №49).

Формальная организация текстов, построенных с помощью каламбура (и экспрессивных средств вообще) становится информативно-значимой, так как привлекает внимание адресата ко всему тексту или к его отдельным компонентам.

При помощи каламбура можно не только выделить ту или иную часть высказывания, но и выразить оценку (юмористическую, сатирическую, саркастическую): *Без ГОСТОВ на погосты* (о том, что употребление генно-модифицированной продукции может привести россиян на погосты, рассказывается в статье, опубликованной в газете «Московский комсомолец в Рязани»). Экспрессивная и характерологическая функции обеспечивают передачу прежде всего экспрессивной, эмоциональной и эстетической информации; их можно считать стилистическими функциями каламбура. Каламбур способствует реализации в газете функции убеждения, являясь одним из способов эмоциональной аргументации.

Так как газета предназначена для зрительного восприятия, в ней широко используются графические окказионализмы, создаваемые путём псевдомотивации, псевдочленения, псевдовосстановления производящей основы. Все перечисленные термины используются для обозначения одного и того же явления – “графического выделения в структуре слова сегмента, образующего окказиональный фоносемант (слова, тождественного по звуковому составу, но отличающегося от узуального коррелята оттенком значения или наличием ситуативно мотивирующего плана восприятия смысла” [1]. Следует заметить, что псевдомотивация с помощью графического выделения – это новый тип языковой игры, получивший распространение в начале 2000-х гг. в рекламных и газетных текстах.

Например: ***МЕНТальность*** – заголовок статьи в «Новой газете». Благодаря графическому выделению арготизма *мент*, становится понятно, что речь пойдёт о психологии, но не нации, а милиции. Имплицитная оценка в данном примере представляет собой «скорнение» (термин Н.А. Николиной), построенное на контаминации разных слов. В результате этого приёма стирается прежняя внутренняя форма слов-строителей и создаётся новая прозрачная внутренняя форма, ярко выражающая определённую оценку. Например: ***ПОРНОнет*** – о порнографии в Интернете («Аргументы и факты». 2008); *ТелеДЕпортация каналов* – статья, посвящённая изгнанию (депортации) реалити-шоу «Дом-2» со 2 канала телевидения. ***Автомогильная*** *столица России* (о

криминальном автомобильном бизнесе в Тольятти); *...главный «**мапулечка**» страны* (репортаж об отцах-одиночках, число которых в России неуклонно растёт) («Мир новостей». №46. 2007); ***Столо**начальники держат оборону* (о «бывшем торговце мебелью», ставшим министром («Новая газета». №06Р. 2007); *Как стать **миллионервным*** (статья о том, как российские толстосумы чуть не подавили друг друга на выставке сокровищ); *НАПУГАЛЛА* (о сцене ревности, устроенной Пугачёвой) («Жизнь». 25.12.07); ***БезПРЕМЬЕРные** страдания* («Новая газета». №34Р. 2007); *Зона **тромбулентности*** (о вероятности возникновения тромбов у людей, сидящих в неудобном кресле самолёта) («Известия». №208. 2007).

Прописная буква выступает в новой для неё функции привлечения внимания. Она активно используется в заголовках, выполняющих ту же функцию.

Обыгрывание аббревиатур в языке современной газеты стало одним из излюбленных приемов журналистов: статья ***ПАВТорим*** («Поиск». №43. 2007) сообщает читателям о целях международной научной конференции *Параллельные вычислительные технологии*; *Нефть под **ОПЕКой** США* («Комсомольская правда». 3 марта 2000); *Что **ПАСЕешь**, то и пожнешь* («Известия». 5 апреля 2000).

Как нам представляется, максимальный эффект в языковой игре достигается тогда, когда говорящий (пишущий) играет не только с формой, но и со значением слова – при графическом выделении в игре должны быть задействованы и исходное слово, и графически выделенное.

Интересно, что и «качественная пресса» – еженедельная газета научного сообщества «Поиск» – строит заглавия публикаций, основываясь на принципах языковой игры, таких как звукосимволика, усиливающих воздействие благодаря выразительности: *Узловые узы; Были бы с прибылью; Хватит хвастаться хвостами*.

В языковую игру вовлекаются аллюзии, контаминации, парадоксы, призванные при незначительной трансформации плана выражения привести к коренному изменению плана содержания: *А был ли сговор?* (ссылка: «А был ли мальчик?») («Аргументы и факты». №40. 2007); *Вздорному соседу и кадмий мешает*; *Водка без пива – казна на ветер* («Известия». № 208. 2007). Это использование латиницы в рекламных текстах: ***Breeze Max**: не страшны ни дождь, ни слякоть...* – об организации высококачественного доступа в Интернет; **ORCAZex**: *умный путь к безумному сексу* («Московский комсомолец в Рязани». 12.12.07); ***GALAN**терея* (GALANT – класс автомобилей) («Московский комсомолец». 2008); *Почему **СУПЕРSTARы** хлопали дверью* («Жизнь». №2. 2007).

Эффект языковой игры основывается на ассоциативном потенциале слова, по выражению Т.А. Гридиной, «ассоциативной валентности слова, допускающей варьирование при совмещении его плана выражения и плана содержания и – как результат – различную интерпретацию его значения» [2].

Ассоциативная природа языковой игры свидетельствует о том, что важным средством её создания в речи является метафора: *Оборотни в медвежьих шкурах* («медвежья шкура» – не что иное, как принадлежность к правящей партии) («Новая газета». № 41. 2006); *...орденоносный клоун* (орденоносный – обласканный властью, клоун – певец); *Демографический дозор* (перспективы и решения, связанные с будущим поколением) («Новая газета»).

Особо следует выделить «цветные» прилагательные: *чёрный, белый, желтый, голубой, зелёный* и их производные, частотность употребления которых свидетельствует об их актуализации: *Настало время* ***чёрного пиара*** («Известия». №208. 2007); *Только что публике предъявлен второй трек с будущего* ***чёрного альбома*** («Московский комсомолец в Рязани». 17.10.07); ***...интимно-жёлтые ток-шоу...*** («Новая газета»); ... *бредни* ***жёлтой*** *прессы* («Мир новостей». №2. 2007); *Кремлёвские и* ***белодомовские*** *супруги всегда на виду* («Аргументы и факты». 2007). Имена прилагательные цвета выполняют оценочную функцию: более яркий, светлый цвет несёт положительную оценочность, а тусклый, тёмный цвет – негативную.

Таким образом, грамотно выстроенная языковая игра, рассчитанная на фоновые знания адресата, – это актуальнейший прием стилеобразования современной газетной публицистики, который служит средством выражения экспрессивной оценки, чаще всего иронической, является мощным воздействующим механизмом, управляющим общественным сознанием.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Клушина Н.И. Общие особенности публицистического стиля // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учебное пособие / Отв. Ред. М.Н. Володина. – М., 2003. – С. 287.

2. Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество.- Екатеринбург, 1996. – С. 119.

А.А. Плахова,
Московский государственный
областной университет

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОВ С КОРНЕМ -*БЛАГ*- В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТ «МОСКОВСКАЯ ПРАВДА» И «ПРАВДА»)

Аннотация

Представленная статья посвящена исследованию слов с корнем *-благ-* в рамках текстов современных СМИ как отражающих современное массовое сознание и категории данного сознания с целью продемонстрировать изменение объема концептов и эксплицирующих их лексических единиц. Исторические сведения помогают раскрыть те отрицательные изменения (практицизм, прагматичность), которые изменили коннотативный фон многих слов с корнем *-благ-*, а какие-то из них «отбросили» в пассивный запас.

Anna Plakhova

THE FUNCTIONAL PECULIARITIES OF THE COGNATE WORDS WITH THE ROOT -BLAG- IN CONTEMPORARY RUSSIAN (BASED ON MATERIAL OF "MOSKOVSKAYA PRAVDA" AND "PRAVDA")

Abstract

The present article is devoted to the examination of the cognate words with the root *-blag-* in the context of contemporary media advisory texts as reflection of present-day mass consciousness and its categoreis for the purpose to display the change of range of concepts and lexical units, explicating them. The historical material assists us to reveal the negative changes (practicalness, pragmatism) that influenced the connotative background of many words with the root *-blag-* and gave some of them up to the passive vocabulary.

«...Язык и образ мышления взаимосвязаны. С одной стороны, в языке находят отражения те черты языковой действительности, которые представляются релевантными для носителей культуры, пользующейся этим языком; с другой стороны, овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель языка начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с концептуализацией мира, характерной для соответствующей культуры. В этом смысле, слова, заключающие в себе лингвоспецифические концепты, одновременно «отражают» и «формируют» образ мышления носителей языка» [1].

К сожалению, приходится согласиться с замечанием о том, что «на протяжении долгого времени лингвистика изучала не язык как таковой, в единстве его телесного и духовного аспектов, а лишь грамматический, синтаксический и семантический скелет языка. Именно по этой причине не удавалось перекинуть мостик от языка к мышлению, нащупать их связующее начало. Между тем не скелет, а душа языка, т.е. опредмеченное в нем мировоззрение, идеология, система ценностей, напрямую связывает его с душой говорящего субъ-

екта, его внутренним миром, мышлением» [2]. Учитывая это, мы опираемся на обоснованное в когнитивной лингвистике представление о том, что явления реальной действительности отражаются в виде концептов в сознании человека и объективируются в коммуникации номинативными средствами языка.

Объектом нашего исследования является понятие *благо*, реализующееся в словах с корнем *-благ-*. Концептуальность данного понятия в старославянском, церковнославянском, древнерусском языках, как и в русском языке до начала XX века, не вызывает сомнения (см., например, работы Т.И. Вендиной или В.В. Колесова [3]). Однако почему мы можем с большой степенью уверенности говорить о концептуализации исследуемого понятия? Основания для подобного вывода заключаются в следующем.

В средневековом обществе понятие *благо* являлось сущностным атрибутом Бога, абсолютным средоточием всех *благ*. Православное догматическое богословие, разграничивая апофатические, или онтологические, и катафатические, или духовные, свойства Божии, относит ***Благо*** к последним наряду с ***Любовью*** и ***Милостью***. «Эти три свойства: благость, любовь и милость – очень тесно связаны между собой и, в сущности, являются различными аспектами одного и того же свойства. По сути, любовь есть не что иное, как благость, но по отношению к личностным существам. Когда мы говорим об отношении Бога к миру вообще и к миру безличному, мы говорим о благости, когда же говорим об отношении к личностным существам – обычно мы говорим не о благости, а о любви» [4]. «И хотя Бог сверхблаг – говорил прп. Максим Исповедник – это почетнейшее из имен, поэтому оно первым посвящается Богу» [5]. Мы видим выражение этой идеи в таких словах, как **благовѣрьнъ** – *набожный, благочестивый*, **благочьстивъ** – *благочестивый, богобоязненный*, **благовъгодьнъ** – *угодный*. Особенно ярко эта идея проявляется в таких словах, как **благодать** – *милость*, **благодѣть** – *благодеяние, добро*, **благость** – *милость, доброта*, указывающих на то, что благо исходит от Бога. *Благодать* – это божественная милость, изъявляемая Богом человеку. Подобное семантическое наполнение связано «с архетипом языкового сознания средневекового человека, который определял всю логико-смысловую сторону его языкотворческой деятельности. В старославянском языке (как и в церковнославянском, и древнерусском, а также русском языке до XX в. – Прим. наше. – *А.П.*) таким архетипом сознания был Бог» [6].

Что же представляет собой, с точки зрения нашего исследования, восприятие и понимание блага в современном русском языке, отражающем своими текстами объем понятия, его смысловые грани как лексические значения (ЛСВ) слова *благо*? Насколько влиятельными оказались экстралингвистические факторы – политический, социальный, религиозный (особенно последний, явившийся наиболее значительным при формировании концепта БЛАГО), – определяющие мировоззрение русского человека на протяжении вот уже почти столетия? Как, к сожалению, доминировавшая в XX в. не- (а порою и анти-) религиозность (особенно в отношении Православия и православной культуры) русского человека изменила значения, состав и сферу функционирования слов с исследуемым корнем?

В том, что изменения в словарном составе произошли значительные, сомневаться не приходится. Так, «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти тт. 1957 г. фиксирует 193 лексические единицы с корнем ***-благ-***, из них примерно 53 слова с пометой «устаревшее» или «устаревающее»

(ср., например, 256 слов с указанным корнем в Церковнославянском словаре прот. Г. Дьяченко, состоящем всего из одного тома!). Подобный процесс (архаизация), безусловно, явился следствием изменения сознания (в том числе и языкового) русского человека: начавшийся в Петровскую эпоху процесс секуляризации общества получил свое логическое продолжение в XX веке, когда сама идея теоцентризма была отвергнута, в связи с чем понятия, отражавшие ее, либо исчезают из продуцируемых текстов (речи), либо ограничиваются сферой религии, либо переосмысливаются. Это, по нашим наблюдениям, в полной мере касается слов, образующих концептосферу.

Но наиболее существенными, конечно же, мы считаем изменения в семантике данных слов [7]. Опираясь на исследования по данному вопросу Т.И. Вендиной, В.В. Колесова, А.Д. Шмелева, мы пришли к выводу о том, что в современном русском языке понятие ***добра*** оказывается шире понятия ***блага***: согласно утверждению А.Д. Шмелева, «будучи свободным от утилитарного измерения, целиком находясь в сфере этики, ***добро*** оказывается во всех отношениях важнее, чем ***благо***. Оно одновременно и выше, и, будучи связано с этическим, «внутренним» измерением, ближе человеку» [8].

Семантический объем понятия *блага* неминуемо сужается в XX веке; более того, обратившись к материалу современных печатных светских СМИ, мы обнаружили весьма интересный факт: функциональность, и как следствие, частотность, слов с корнем -***благ***- невысока (речь идет, конечно же, о светских СМИ; православные издания в этом отношении гораздо богаче и, с точки зрения словоупотребления, близки к церковнославянскому языку), причем невысока настолько, что, с одной стороны, мы сталкиваемся с тенденцией употребления весьма ограниченного круга слов с искомым корнем, ни в коей мере не исчерпывающего зафиксированного словарем состава; с другой стороны, понятие *блага* оказывается вообще чуждым сознанию современного человека, и это выражается в том, что некоторые номера светских СМИ вообще не имеют интересующих нас слов.

Материалом на этом этапе исследования для нас послужили газеты «Московская правда» и «Правда», печатный орган КПРФ (за ноябрь 2007 года). Обе газеты не являются выразителями религиозных идей, но при этом «Правда» имеет очевидную идеологическую ориентированность, в отличие от «Московской правды», свободной от всякого рода идеологии, что, как следовало ожидать, служит критерием отбора лексических средств. Таким образом, в этих текстах при употреблении слов мы отчасти имеем дело с реализацией наивной картины мира, которая, по словам С.Г. Воркачева, «как факт обыденного сознания воспроизводится пофрагментно в лексических единицах языка, однако сам язык непосредственно этот мир не отражает, он отражает лишь способ представления (концептуализации) этого мира национальной языковой личностью, и поэтому выражение «языковая картина мира» в достаточной мере условно; образ мира, воссоздаваемый по данным одной лишь языковой семантики, скорее карикатурен и схематичен, поскольку его фактура сплетается преимущественно из отличительных признаков, положенных в основу категоризации и номинации предметов, явлений и их свойств, и для адекватности языковой образ мира корректируется эмпирическими знаниями о действительности, общими для пользователей определенного естественного языка» [9].

Представим стилистические данные в таблице частоты употребления слов с корнем -***благ***- в газетах «Правда» и «Московская правда».

Таб. 1.

Слово	«Правда»	«Московская правда»
1. Благо (в 1-м значении)	8	3
2. Благо (во 2-м значении)	2	1
3. Благо (союз)	1	2
4. Благоверный	-	3
5. Благовидный	-	2
6. Благоговение	-	1
7. Благодарить (поблагодарить)	6	2
8. Благодарность	3	2
9. Благодарный	1	4
10. Благодарственный	-	1
11. Благодаря	32	33
12. Благодать	-	1
13. Благоденствие	3	-
14. Благодетель	3	1
15. Благодеяние	2	-
16. Благой	3	1
17. Благополучие	8	4
18. Благополучно	3	5
19. Благополучный	3	2
20. Благоприобретенный	-	1
21. Благоприятный	3	2
22. Благоприятствие	-	1
23. Благоприятствование	2	-
24. Благоразумный	-	1
25. Благорасположение	1	-
26. Благородно	-	1
27. Благородный	3	3
28. Благосклонно	-	1
29. Благосклонность	-	1
30. Благословение	1	1
31. Благословенный	-	1
32. Благословить	1	-
33. Благосостояние	4	-
34. Благотворитель	-	2
35. Благотворительность	-	1
36. Благотворительный	1	7
37. Благотворно	-	1
38. Благотворный	1	-
39. Благоустроенный	2	1
40. Благоустройство	3	-
41. Благочестие	1	-
42. Заблаговременно	1	1
43. Неблагодарный	-	2
44. Неблагополучный	-	1
45. Неблагоприятное	-	1

46. Неблагосклонно	-	1
47. Облагодетельствованный	2	-
48. Облагораживание	-	1
49. Соблаговоливший	1	-
50. Топонимы с корнем благ-	2	-
51. Прочие имена собственные	-	2

Перед нами исторически эволюционирующий тип понятия-концепта. Подчеркнем, что эволюционирует не только само понятие *благо*, но и в семантике единиц, его эксплицирующих, происходят значительные сдвиги по сравнению с объемом, учтенным в БАС [10]. Академический словарь русского литературного языка (БАС) фиксирует следующие значения:

БЛАГО, а, мн. бла́га, благ, *ср.* ***1.*** *Только ед.* **Добро.** *Жизнь начинает казаться благом, а не злом.* Гонч. Обыкн. ист. **Счастье, благополучие** (обычно в приподнятой, торжественной речи). *Здоровье — это первое наше благо!* Салт. Мелочи жизни. ***2.*** *Только мн.* То, что служит удовлетворению потребностей человека, дает материальный достаток, доставляет удовольствие, моральное удовлетворение. *Сегодня я поехал в Марьину рощу наслаждаться благами природы.* А. Остр. Тяжел. дни. ***3.*** *В знач. предикатива.* Хорошо (обычно употребляется в сложноподчиненном предложении).

БЛАГО, союз причин. *Разг.* Употр. для указания на благоприятствующую причину чего-л.; благодаря тому что; тем более что. *Собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять.* Гонч. Обломов.

Уже сами данные словаря свидетельствуют о практически полной пассивизации и уходе в число потенциальных сем, ассоциативных сем, раскрывающих свой характер лишь в текстах предшествующих эпох, – «нечто высшее, надмирное, то, что над добром, поскольку это свойство Божие», т.е. того, что переводило данное понятие из плана дольнего в план горнего. Но на современном этапе, как об этом говорят данные таблицы, представленной выше, изменяется (сужается в большей степени) не только структура лексического значения полисеманта, но и компонентный состав актуальных семем. Во-первых, само понятие употребляется крайне редко, перемещаясь, по всей видимости, постепенно на периферию словарного запаса. Во-вторых, утилитарная сема трансформируется по статусу в структуре семемы – из потенциальной в актуальную дифференциальную. Усиливается утилитарность понятия за счет актуализации семы *польза* в словосочетаниях типа *общее благо* или *благо трудового народа* для 1-го значения (добро, счастье, благополучие): *Сто лет с пользой трудиться на общее* ***благо.*** – МП, №2; *Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, революционного оптимизма и успехов в работе на* ***благо*** *трудового народа.* – Правда, №126; в-третьих, – и это, безусловно, свидетельствует о все той же тенденции к утилитаризации понятия – наиболее употребительным на современном этапе является *благо* во втором значении (*Только мн.* То, что служит удовлетворению потребностей человека, дает материальный достаток, доставляет удовольствие, моральное удовлетворение): *Я верю в русский народ... Это же контрреволюция — не любить нашего человека, не верить ему, не ценить его больше всех* ***благ*** *мира.* – Правда, №125; *К тому же многих мужчин удерживают в семье деньги и бизнес-предприятия и собственность часто записаны на жену или на обоих супругов. И в этом случае любовницам стоило*

бы задуматься, останутся ли они с этим мужчиной, если после развода он потеряет все ***блага*** *мира.* – МП, №122.

Аналогичная ситуация и с другими словами с корнем -***благ***-. Мы видим, что фактическая употребительность единиц этого ряда ниже, чем фиксируется словарем: из 165-ти слов (с наречиями – 193) согласно данным БАС функционирует в обработанном материале только 48. Еще одной важной особенностью является следующее. Среди выделенных функционирующих единиц практически отсутствуют слова, сохранившие экспрессивную стилистическую окраску высоких, риторических; к таковым можно отнести, наверное, только слово *благо* в 1-м значении (*Вот и в нашей стране стоило бы дать университетам законодательное право распоряжаться принадлежащей им интеллектуальной собственностью, позволить им учреждать малые предприятия. Уверен, решение этих вопросов будет во* ***благо*** *стране.* – МП, №27; *Водные ресурсы страны не должны быть перераспределены между кучкой олигархов, как это уже произошло с невозобновляемыми природными богатствами: нефтью, газом, рудой, а использоваться на* ***благо*** *всего народа.* – Правда, №130), благочестие (единичное употребление связано с использованием слова в контексте, отражающем деятельность РПЦ: *НАГРАДУ проживающей в Лондоне маме пятерых детей, чье состояние после развода с одним из богатейших людей мира в марте этого года британская пресса оценивала "ближе к шести миллиардам фунтов стерлингов", вручил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, отметивший главную для Церкви заслугу Ирины Абрамович: "Чутким сердцем почувствовали вы, что одно из главных предназначений женщины — быть матерью. И Господь даровал вам пятерых замечательных детей, которых вы стремитесь воспитать в христианском* ***благочестии****".* – Правда, №133) благословение (*А официальное открытие обители состоится по* ***благословению*** *Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.* – МП, №6) и благородный (*Каждый человек был бы* ***благородным****, независимым, совершенным – подлинным сыном божьим, а не ублюдком.* – МП, №5; *Но разве можно убить самую светлую, самую* ***благородную*** *идею человечества? Разве под силу кому-то запретить, отменить, вычеркнуть Великий Октябрь, открывший новую эру мировой истории?* – Правда, №123). Кроме того, очень небольшое количество слов с исследуемым корнем реализованы как нейтральные единицы активного запаса. К таковым можно отнести союз *благодаря*, слова *благодарить* (*поблагодарить*), *благоустройство*. Например: *Сегодня, на Большой Ордынке, идут реставрационные работы.* ***Благодаря*** *им к будущему Дню рождения город получит еще один восстановленный памятник культурного наследия федерального значения, а Марфо-Мариинская обитель встретит столетие, вернув свой первоначальный облик.* – МП, №6; ***Благодаря*** *героизму советского народа, коммунистов, антифашистов различных стран была завоевана Победа над фашизмом во Второй мировой войне.* – Правда, №123; *Неуклонно росло* ***благосостояние*** *народа.* – Правда, №123; *По словам Натальи Молибога, все участники возрождения архитектурной ценности – настоящие* ***благотворители****.* – МП, № 6). Безусловно, это отражает общую тенденцию функционирования лексем: одно и то же слово (ЛСВ) в зависимости от конситуации может получать различную стилистическую значимость: от высокой / нейтральной, до сниженной за счет иронической или резко отрицательной коннотации (*Фарисейство или*

благодеяние? – Правда, №123 – высокое, положительнооценочное (поскольку антонимично слов *фарисейство* с отрицательной оценочностью) – *Как новое* ***благодеяние*** *расценивается в прорежимных СМИ указ президента РФ о компенсации военным пенсионерам.* – Правда, №123 – отрицательная семантика (по контексту); *И про то, как медведь пришиб своего* ***благодетеля****-мужика, а всего-то хотел у того на лбу муху убить — это тоже всем известно.* – Правда, №127 – оттенок легкой иронии при общей положительной оценке, заключенной в слове **благодетель**; ср.: *Говорят, что со временем они цивилизуются и из жуликоватых взяточников с растопыренными пальцами превращаются в* ***благодетелей*** *народа и* ***благородных*** *меценатов.* – Правда, №127 – отрицательнооценочное, негативное).

Итак, подавляющее большинство слов, относящихся к словообразовательному гнезду с корнем -***благ***- в текстах исследованных СМИ либо имеет узуальную отрицательную семантику и реализуют ее в коммуникативной ситуации, либо при узуальной нейтральной оценке развивают отрицательную (в лучшем случае – ироническую) в контексте: *Надоело жить его вечными обещаниями о разводе с* ***благоверной.*** – МП, № 22; *При малейшем подозрении на утечку нужно руководствоваться памяткой по использованию газа в быту, которую, кажется, все* ***благополучно*** *забыли со школьных времен.* – МП, № 13; ***Облагодетельствованные*** *реформами "дорогие россияне" продолжают вымирать.* – Правда, № 133; *Каждый из них провел более 150 встреч с избирателями в большинстве регионов страны, знакомя людей с положениями Предвыборной партийной программы, суть которой — обеспечение достойной жизни каждой российской семье, каждому человеку труда, а не горстке заграбастaвших народное достояние олигархов, о чьем* ***благоденствии*** *так печется "партия власти".* – Правда, № 133; ***Облагодетельствованный*** *чиновником частный предприниматель, как правило, соглашается с буржуазной логикой бюрократа.* – Правда, № 131 и под.

Хотелось бы обратить внимание и на следующую особенность: семантический объем понятия *благо* и стилистическая окраска слов, его выражающих, различны в «Московской правде» и в «Правде», что связано, как смеем предположить, с идеологичностью последней и безыдеологичностью первой. С сожалением приходится констатировать, что наличие хотя бы какого-то нематериального идеала (даже коммунистического) отражается на сознании говорящего и, как следствие, на его речевых особенностях. Языковая картина мира такого субъекта речи свидетельствует о его стремлении «вверх», тогда как область интересов другого, «безыдейного», оказывается значительно *уже* и приземленнее.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Шмелев А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность. – М., 2002. – С. 296.

2. Борухов Б. А. «Зеркальная» метафора в истории культуры // Логический анализ языка. Культурные концепты. – М., 1991. – С. 116.

3. Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. – М., 2002.

4. Давыденков О., иерей. Догматическое Богословие. Курс лекций. – М., 2006. – С. 96.

5. Вендина Т.И. Указ. соч. – С. 187.

6. Вендина Т. И. Словообразование как источник реконструкции языкового сознания // Вопросы языкознания. – 2002. – №4. – С. 42-72.

7. Плахова А. А. О соотношении понятий «благо» и «добро» в церковнославянском и русском языках и развитии экспрессивных значений у слов с корнем -благ- // Русское слово и высказывание: Рациональное, экспрессивное и эмоциональное /Межвуз. Сб. научн. тр. – М., 2007. – С. 82-85.

8. см. Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. – М., 2002. Колесов В. В. Древняя Русь: Наследие в слове. В 5-ти кн. Кн. 2. Добро и Зло. – Спб, 2001. Шмелев А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность. – М., 2002.

9. Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение // Труды Кубанского государственного технологического университета. Сер. Гуманитарные науки. Т. 17, вып. 2. – Краснодар, 2003. – С. 268–276.

10. БАС – Словарь современного русского литературного языка. В 17 тт. Т. 1. – М.-Л., 1948-1956.

М.А. Сухопарова,
Белгородский государственный университет

СОСТАВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ГАЗЕТНЫХ ИЗДАНИЙ)

Аннотация

Газета выступает сегодня как одно из эффективных средств массовой информации. Многообразие новообразований, различных по структуре и интересных по значению, – одна из отличительных особенностей словотворчества в текстах современной периодической печати. Среди инноваций на газетной полосе чаще всего употребляются составные существительные. Они обладают цельнооформленностью, компактной формой, емкостью, сложностью семантики. В статье рассматриваются особенности функционирования составных слов в текстах газет.

Marina Suhoparova

COMPOUND NAMES IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE (BASED ON PERIODICAL NEWSPAPER MATERIAL)

Abstract

Nowadays the newspaper is one of the effective means of the mass communications. The variety of new formations with different structures and interesting meanings is one of the particularities of word creation in the texts of modern periodical press. As one of the innovations compound nouns are often used in the newspaper line. Among their features are complection and compactness of the form, capacity, complexity of their semantics. The article deals with particularities of the operation of compound words in the newspaper texts .

Каждый день привносит в русский язык лавину новшеств. К последним ученые-лингвисты относят новообразования, «которые отражают все перемены, происходящие в жизни российского общества, и являются «номинативными последствиями» социальных изменений. «Появление новых слов или новых значений у старых слов означает, что мир вокруг нас изменился. В нем либо появилось что-то новое, либо что-то существующее стало важным настолько, что язык (а в действительности мы сами) создает для него имя. В последнее время в русском языке появилось столько новых слов, что лингвисты не успевают следить за ними и издавать словари, а обычные люди часто просто не понимают, о чем идет речь» [1].

Политические и экономические преобразования, происходящие в России в последние десятилетия, изменили язык средств массовой информации. Исследователи отмечают сформированность «нового русского» публицистического стиля» [2]. На наш взгляд, журналистами делается попытка показать поток стихийной языковой жизни, продемонстрировать факты рождения, изменения или вхождения в язык слов во всем их многообразии.

«Среди продуктивных новообразований эпохи нельзя не отметить всевоз-

можные комбинации самых разнообразных словообразовательных элементов – от приставок до цельнооформленных слов, которые объединяются в сложные и составные наименования» [3]. Материалом исследования явились новые слова-субстантивы, извлеченные из текстов периодической печати (газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Собеседник», «Известия», «Литературная газета», «Московские новости», «Ровесник»). Наблюдения над языковыми фактами показали, что в газетах 1985-1991 гг., печатавшихся в период решительных трансформаций в стране, составных наименований – небольшое количество, в то время как в газетных изданиях последних лет отмечается массовость слов типа *галерея-фильтр, женщина-шкатулка, камень-шпион, щиты-книжки, фирма-застройщик* (в одном номере издания за 2006 год представлено до 40 – 50 новообразований). «Появление новых слов на страницах периодической печати – явление, разумеется, не новое. Новым стало их назначение, связанное с общими изменениями, происшедшими в языке газеты» [4]. В постсоветском пространстве начала формироваться культурно-речевая ситуация, образно определяемая как «праздник вербальной свободы». Если в прошлом язык средств массовой коммуникации рассматривался в качестве инструмента идеологического воспитания масс и отличался строгой стандартизированностью, то в связи с новой установкой журналистов на живую языковую стихию «современная пресса вбирает в себя самые разнообразные формы речевого общения» [5]. На первом плане обозначения в средствах массовой информации (далее: СМИ) – массовые, общественные явления, хотя немало внимания уделено и человеку как единице социума. Приведем примеры.

Гигант-боксер: *На втором месте неожиданно оказался гигант-боксер (рост 213 см) из Санкт-Петербурга Николай Валуев.* – Комсомольская правда (далее: КП), 26.12.2007. С. 24.

Священник-богатырь: *Людям казалось, что священник-богатырь может выдержать все.* – КП, 20.04.2006. С. 9.

Учитель-«пират»: *Не успело в Пермском крае отгреметь громкое дело учителя-«пирата» Александра Поносова, как наметилось новое, такое же эффектное.* – КП, 28.02.2007. С. 2.

Человек-конвейер: *Дмитрий Назаров – человек-конвейер. Актер МХТ им. Чехова, ведущий «Кулинарного поединка» на НТВ, востребованный в кино артист, голос многих компьютерных игр... Его трудно застать в Москве и отвлечь от важных занятий.* – Собеседник, 2006, №28. С. 12.

Достаточно обоснованной мы считаем точку зрения С.В. Ильясовой: «Словообразование, представленное в сегодняшней газете, можно без всяких оговорок обозначить как словотворчество, сегодняшней газете нужны такие новые слова, которые привлекают внимание, вызывают интерес читателя» [6]. В фактах словотворчества, на наш взгляд, отражены видение и оценка говорящими явлений современной российской действительности. Составные слова, употребляемые в СМИ, как нам кажется, приковывают внимание краткостью и содержат в себе скрытый мини-текст, тем самым, выполняя коммуникативную функцию:

Девушка-компьютер: *23-летняя девчонка коротко и четко объяснила, что сейчас ей будут делать мейк-ап, а я в это время могу с ней говорить. Когда лицо будет нарисовано, а волосы уложены, мы скоренько сможем провести*

фотосессию. Девушка-компьютер! – Собеседник, 2006, №19. С. 27.

Поправка-регулятор (речь о поправке к закону, которая призвана регулировать то, что содержится в нем): *Закон о печати, чуть было не обогащенный драконовскими поправками-регуляторами.* – КП, 25.01.1998. С. 7.

Лидеры-локомотивы: *Сегодня требуются лидеры-локомотивы, чтобы вытянуть тот или иной вид спорта, выступить в хорошем смысле слова лоббистами, – считает президент Федерации бадминтона Сергей Шахрай.* – Собеседник, 2006, №37. С. 10.

Программа-долгожитель: *Программ-долгожителей, ведущих историю из советского телевидения, все меньше. Со стариками не церемонятся – от них с легкостью отказываются в пользу новых проектов. Но что происходит с теми, которые еще на плаву?* – Собеседник, 2007, №3. С. 20.

Ящерица-альпинист: *Робот ящерица-альпинист способна карабкаться по вертикальным стенам. Разработчики считают, что она пригодится военным и спасателям.* – КП, 2006, №164. С. 17.

Рюкзачок-кенгуру: *Шью симпатичные рюкзачки-кенгуру для переноски маленьких детей.* – АиФ, 2002, №3. С. 8.

Исследуя функционирование данных образований, мы пришли к мысли, что наиболее часто они встречаются в заголовках газетных текстов. Анализ научной литературы последних десятилетий, посвященной заголовку, показал, что основное внимание уделяется его рекламной функции. Большинство исследователей считают, что главной задачей заголовка является поразить воображение читателя. «Поскольку язык газетных заголовков отличается от обычного языка прежде всего стремлением броско и кратко сообщить читателю основное содержание публикуемого материала, то один из способов привлечь внимание читателя – это поразить его неожиданностью слова или мысли, противоречием между содержанием заголовка и обычными представлениями. Для этого широко используются окказиональные слова и словосочетания» [7]. Иллюстрацией к вышесказанному могут служить следующие примеры.

«Земля-светильник» (заголовок): *В 1914 году изобретатель предложил проект, по которому весь земной шар вместе с атмосферой должен был стать гигантской лампой. Для этого нужно лишь пропустить по верхним слоям атмосферы высокочастотный ток, и они начнут светиться.* – КП, 01.02.2007. С. 20.

«Цвета-фавориты» (заголовок): *Цвета-фавориты в этом сезоне: ярко-розовый, золотисто-оливковый, красно-коричневый, шоколадно-песочный, глубокий синий, белый.* – КП, 13.12.2007. С. 12.

«Зверушки-валентинки...» (заголовок): *Белгородцам особенно по душе открытки с изображенными на них малышами или симпатичными зверушками.* – АиФ, 2006, №48. С. 3.

«Любовь-Камчатка» (заголовок): *Любовь-Камчатка – кормилец севера.* – КП, 11.01.2007. С. 15.

«Рассказ-загадка» (заголовок): *Выстрел под елкой (новогодний рассказ-загадка).* – КП, 11.01.2007. С. 16.

«Ботинки-уроды», «носик-курносик» (заголовок). – Собеседник, 2007, №6. С. 25.

«Задачки-зарядка» (заголовок): *Задачи, решая которые можно тренировать память человека.* – Собеседник, 2006, №5. С. 19.

Собранный языковой материал убеждает в том, что обилие составных существительных – одна из особенностей словотворчества в современных СМИ. Подобные слова обычно создаются способом чистого сложения, в результате которого возникает сложное слово особого типа, включающее в свое значение семантику двух объединившихся слов, и характеризующееся необычной формой. Показательным в этом отношении, на наш взгляд, является высказывание М. Кронгауза: «Самое заметное из изменений, происходящих в языке, – это появление новых слов. Новое слово попробуй не заметить! Об него сразу спотыкается взгляд, оно просто мешает понимать текст и требует объяснений, и вместе с тем в новых словах часто скрыта какая-то особая привлекательность, обаяние чего-то тайного, чужого» [8].

Анализ новых составных слов по материалам прессы показал, что сфера их употребления и функционально-прагматического назначения достаточно широка. Так, составные наименования позволяют более точно выразить мысль (одного слова для этого может быть недостаточно). Приведем примеры.

Свитер-рубашка (тонкий свитер, имеющий покрой рубашки): *Бестселлером коллекции является свитер-рубашка, своеобразный гибрид свободного трикотажного пуловера и рубашка с трикотажным воротником. Женские свитеры-рубашки короткие, их носят навыпуск. Мужские – длинные, их обычно заправляют в брюки*. – Московские новости, 1998, №6. С. 12.

Лозунг-установка (призыв, направляющий что-либо, ориентирующий на что-либо): *Государственные интересы диктовали необходимость временного отступления. И тогда был введен НЭП, появились лозунги-установки о том, что рожать – это долг комсомолки*. – КП, 18.02.2002. С. 14.

Мина-растяжка (мина, установленная на растяжку, то есть прикрепленная к концу натянутой проволоки или шнура): *Французские саперы нашли на игровом поле и на трибунах несколько мин-растяжек. Матч отложен*. – КП, 20.04.2000. С. 11.

Наблюдения над языковыми фактами показывают, что составные наименования необходимы в изложении какой-либо мысли в кратком виде. Как правило, составные слова заменяют развернутое определение, словосочетание и даже предложение. На наш взгляд, данное утверждение ярко иллюстрируют следующие примеры.

Очки-экраны (специальное устройство в виде очков, которые обеспечивают надевшему их человеку эффект причастности или участия в передаваемых на служащие приемными экранами стекла таких очков визуальной, звуковой и другой информации из компьютерной сети): *Чтобы из обычной реальности выйти в виртуальную, достаточно надеть специальные очки-экраны на жидких кристаллах и перчатки, начиненные сенсорными устройствами*. – Ровесник, 1999, №3. С. 7.

Шапочка-маска (эластичная шапка, закрывающая лицо, с прорезями для глаз; в разговорной речи): *Лица его* [Маркоса], *скрытого вязаной шапочкой-маской, какие используют альпинисты, террористы и спецназовцы, кроме его же соратников, пока никто не видел*. – КП, 15.03.2004. С. 8.

Кроватка-манеж (детская кроватка, которая может быть использована как манеж при некоторой перекомпоновке ее деталей): *Продаю... кроватку-манеж детскую, с матрацем*. – Шанс для всех, 1996, №3. С. 31.

Очиститель-ионизатор (агрегат, производящий очистку воздуха и его

ионизацию): *Импортные очистители-ионизаторы воздуха. Для жилья, офисов, банков... Очистка от пыли, табачного дыма, бактерий, аллергенов.*– Известия, 04.02.2005. С. 13.

Фирма-матка (фирма, имеющая дочерние предприятия; головное предприятие такого объединения – в разговорной речи): *Коммерческая структура создает... группу фирм, являющихся по сути дочерними предприятиями. Причем они могут быть разбросаны по всей стране. Затем открывает вам счета в различных банках к примеру фирма-матка заключает контракт со своей же структурой в другом город на поставку сельхозпродукции*. – Московские новости, 2001, №14. С. 9.

Отметим, что довольно часто составные слова способствуют потребности говорящего подчеркнуть его отношение к предмету речи, дать ему определенную характеристику, оценку.

Песня-скороговорка, частушка: *Не обидно ли вам, что эстраду заполонили пустышки, песни-скороговорки, тюремная романтика?* – Неделя, 2002, №10. С. 9.

А какая музыка сейчас – самый ходовой товар? Лучше всего, наверно, идут песни-частушки..? – КП, 12.03.2006. С. 11.

Многие из составных номинаций дают не только развернутую характеристику, но и оценку (чаще негативную или с ироническим подтекстом) тех или иных представителей общества: *сноб-холостяк, предатель-перебежчик, хулиган-провокатор, фронтовик-хохотун, коза-дюймовочка* и т.п. Приведем контекст:

«Подушки»-подружки: *Это только в рекламе показывают, что свежего дыхания добиться не просто, а очень просто – придут симпатичные «подушки»-подружки, пропылесосят, мяты на зубки положат, и готово. Увы, в реальности все не так просто*. – КП, 04.10.2006. С. 8.

Активизировалось в последнее время и создание составных субстантивов, называющих представителей политических партий и движений, сторонников общественно-политических теорий и деятелей: *консерватор-крепостник, оппонент-демократ, депутат-аграрий* и т.п.:

Министр-реформатор: *К министру-реформатору Грефу могут прийти ученые с рецептами экономического процветания страны или удвоения ВВП и часа два рассуждать, как России найти национальную идею.* – КП, 2004, № 80. С. 11.

Делая выводы, отметим, что широкое распространение составных наименований в языке газет, на наш взгляд, во многом связано с экстралингвистическими причинами: в эпоху интернета и новых технологий появляется масса новых понятий, явлений, новых устройств, механизмов, требующих точных, понятных обозначений. Этому требованию как раз и отвечают составные слова, которые, объединяя значения двух элементов в одно сложное значение, демонстрируют новую необычную форму: *продукты-рекордсмены, спутники-шпионы, страна-гулливер, студия-бункер, мама-таблетка* и т.д. Главное отличие анализируемых слов заключается, на наш взгляд, не только в точном наименовании нового предмета, но и в одновременном наименовании и оценке его. Характерным признаком данных образований является то, что новое значение, не нарушая морфологии и фонетики слова, превращает знакомое слово в совершенного незнакомца.

Одной из тенденций развития языков является стремление выразить все большее количество информации в единицу времени. Кроме того, номинация посредством сочетаний слов выступает как «запасной» способ наименования, компенсирующий недостаточность словообразовательных средств. Как показывает анализ новообразований, составные наименования в русском языке обладают самостоятельной номинативной значимостью. Они нередко служат для более конкретного, дифференцированного обозначения предметов и явлений. Совмещение в составном наименовании нового типа функций (номинативной и характеризующей) позволяет такому слову выполнять функцию привлечения внимания, одну из актуальных для современных СМИ.

Исследование составных слов подтверждает, что журналисты стремятся четко и кратко изложить информацию. Им «на помощь» приходят составные наименования, позволяющие развернутое описание заменить более емким определением. Объектом номинации и оценки в современных СМИ становятся не только явления общественной жизни, экономики, политики, культуры, но и события частной жизни обыкновенных людей, при описании которых чаще употребляются слова, называющие человека по какому-либо признаку. «Появление новых слов в языке показывает, что важного появилось в мире. И в этом смысле, пожалуй, самое интересное не то, как мы называем самих себя, то есть какие новые названия людей появились в последнее время. По этим словам можно судить о том, какие человеческие типы оказываются в фокусе нашего внимания. Названия людей помогают нам составить наш собственный обобщенный портрет, новые же названия добавляют в него новые черты» [9].

Составные наименования на газетной полосе «не только свидетельствуют о значительных переменах, происходящих на рубеже двух веков в жизни нашего общества, но и выявляют те изменения, которые произошли в языке под влиянием социальных факторов» [10].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. – М., 2007. – С. 18.

2. Плотникова Л.И. Отражение национально-культурных особенностей в новом русском слове // Язык и культура. (Научный ежегодный журнал). Вып. 8. Т. I. Философия языка и культуры. – Киев, 2005. – С. 51.

3. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. – М., 2001. – С.139.

4. Ильясова С.В. Словообразовательная игра как феномен языка современных СМИ.– Ростов-на-Дону, 2002. – С. 50.

5. Попова Т.В. Неология и неография современного русского языка. –М., 2005. – С. 70.

6. Ильясова С.В. Словообразовательная игра как феномен языка современных СМИ. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 52.

7. Гавришина Н.Н. Газетный заголовок как объект лингвистического исследования // Лингвистические основы обучения иностранному языку специальности. – М., 1988. – С. 59.

8. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. – М., 2007. – С. 19.

9. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. – М., 2007. – С.

79.

10. Плотникова Л.И. Отражение национально-культурных особенностей в новом русском слове // Язык и культура. (Научный ежегодный журнал). Вып. 8. Т. I. Философия языка и культуры. – Киев, 2005. – С. 54.

ЛИТЕРАТУРА

Д.Н. Жаткин,
Пензенская государственная технологическая академия

АНГЛИЙСКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ 1840 – 1850-Х ГГ.

Аннотация

В статье рассматривается специфика русских переводов английской романтической поэзии, осуществленных в 1840 – 1850-е гг., выявляются их существенные отличия от переводов эпохи русского романтизма. Особое внимание уделяется профессиональной переводческой деятельности И.П.Крешева, фактам обращения К.К.Павловой, А.Н.Плещеева, А.А.Фета к произведениям английских романтиков. Отмечается, что наряду с совершенствованием технологии перевода, установлением новых традиций, значимых для последующих поколений переводчиков, происходило и снижение общего качества переводов, не всегда способных передать художественное своеобразие подлинников.

D. Zhatkin

ENGLISH ROMANTIC POETRY IN RUSSIAN INTERPRETATIONS IN 1840 –1850-s

The article analyzes the peculiarities of Russian translations from the English Romantic poetry, created in the 1840 – 1850-s, shows their essential differences from translations of the Russian Romantic epoch. Special attention is paid to professional interpretative activity of I.P.Kreshev, facts of K.K.Pavlova's, A.N.Pleshcheyev's, A.A.Fet's addressing to the literary works of English romanticists. It is noted, that alongside with the improvement of the translation technology, introduction of new traditions, essential for the next generations of interpreters, there was the decrease of the general quality of translations, which were not always able to transfer unique literary character of the originals.

Среди переводчиков 1840 – 1850-х гг., обращавшихся к наследию английского романтизма, было совсем немного видных поэтов и профессионалов перевода, и потому любительские, в основной массе «случайные» переводы этого периода вряд ли могли дать новый толчок к популяризации английской поэзии в России. В особенности если учесть, что в числе переводимых в значительной мере преобладали тексты, уже не однажды переложенные ранее на русский язык, тогда как пересоздания совершенно незнакомых отечественному читателю текстов были немногочисленными. Если в 1820 – 1830-е гг. среди тех, кто переводил английских романтиков, были великие русские поэты – А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов, И.И. Козлов и др., то в 1840 – 1850-е

гг. среди переводчиков преобладали имена «второго ряда». В большинстве своем это были творцы, не всегда способные передать художественные достоинства подлинников; тем самым общее качество переводов несомненно снижалось.

Однако, по замечанию А.А. Блока, «именно они <переводчики середины XIX в. – Д.Ж.>, а не предшествующее им поколение, установили очень прочную традицию, которую расшатать необыкновенно трудно» [1]. Новая традиция обусловливалась совершенствованием технологий перевода, которые позволили провести достаточно четкую грань между оригинальным и переводным творчеством, практически не ощутимую в эпоху русского романтизма. Среди тех, кто обращался в эти годы к творчеству английских поэтов-романтиков, были и великие русские поэты, не стяжавшие себе большой переводческой славы (например, А.А. Фет), и яркие поэты, в одинаковой мере раскрывшие себя и в переводе, и в оригинальном творчестве (в частности, А.Н. Плещеев, К.К. Павлова), и люди, профессионально и глубоко занимавшиеся практическими аспектами перевода. К числу последних относился Иван Петрович Крешев (1824 – 1859).

Трудности материального характера, необходимость содержать больных сестер и мать понуждали И.П. Крешева к литературной поденщине и, в конечном итоге, не позволили ему стать первоклассным переводчиком. Жизнь И.П. Крешева оборвалась в возрасте тридцати пяти лет в отделении умалишенных Обуховской больницы Петербурга. Как память о его незаурядном таланте, сохранились выполненные в разные годы переводы произведений Горация, Проперция, Катулла, А. Шенье, Дж. Г. Байрона, Т. Мура, И.В. Гете, Ф. Шиллера, Г. Гейне и др. В качестве примера творческой деятельности И.П. Крешева рассмотрим его роль в популяризации в России в 1850-е гг. творчества Томаса Мура.

Биографический очерк И.П. Крешева «Томас Мур», помещенный в четвертой книге «Сына отечества» за 1852 г., был во многом основан на материалах французской критики, нередко допускавшей в те годы противоречивые суждения об английском поэте. Сопоставляя творчество Мура и Байрона, И.П. Крешев приходил к выводу, что «всегда нежная, симпатическая, исполненная обаятельной прелести» поэзия ирландского барда может быть охарактеризована как «поэзия воображения», тогда как глубокая, «потрясающая сердце» поэзия Байрона – это «поэзия страсти»; если творчество Байрона подобно «мильтоновой сосне, опаленной небесным огнем и гордо возносящей голову в высших слоях воздуха», то творчество Мура – «цветок без шипов, роскошный, блестящий, распространяющий аромат» [2: 122, 123]. В этих словах можно видеть стремление к эстетизации творчества Мура, желание представить его художником, описывавшим добродетель в слащавых салонных стихах и совершенно обходившим «картины страданий и пороков». Очевидно, И.П. Крешеву не были известны такие гражданские произведения ирландского поэта, как «На смерть Шеридана», «Петиция ирландских оранжистов», «Ирландский раб». Считая Мура «самым искусным колористом между всеми британскими поэтами», И.П. Крешев вместе с тем типизировал изображаемые ирландским бардом реалии: «Очаровательные создания природы, сильеры, благоуханные крылья, цветы, радуга, румянец девственной стыдливости, поцелуй, иногда слезы – вот спутники Томаса Мура» [2: 123].

Утверждение, что у Мура «нет ни человеческих образов, ни живописных

эффектов» [2: 123], противоречившее всему содержанию статьи, могло быть некритически заимствовано из какого-то французского источника, – тем более что значительная часть французских критиков предпочитала подчеркивать версификационные способности Мура, восхищаться внешней формой его стихов, не вдаваясь в такие подробности, как идейная направленность, связь стихов с ирландской народной поэзией, свободолюбивые мотивы и т.д. О хорошем знании И.П. Крешевым западноевропейских материалов о Муре свидетельствовало, в частности, использование высказываний Шеридана и Байрона об ирландском поэте и его творчестве.

Неумеренно восторженная характеристика была дана И.П. Крешевым «восточной повести» Томаса Мура «Лалла Рук», предоставившей «восточной поэзии право гражданства в Европе». Мур, талант которого «резвится и играет в атмосфере ночи, как в своей родной среде», смог ярко показать в своем произведении ослепительную роскошь и «нежные благоухания» ориентального мира. По наблюдению русского критика, поэзия Мура «блестит и сверкает», «заимствует у звезд лучи, у цветов – краски, у фонтанов – жемчуг, у радуги – переливы красок», – тем самым в воображении читателя возникает восхитительный мир, полный невиданных красот, необыкновенных ощущений. «Действие поэмы происходит в Азии, – пишет далее И.П. Крешев, – земле поэтов, которая отдает им в полное распоряжение свое пламенное сердце, алмазные копи, берега, усеянные коралловыми утесами, воинственные и любовные легенды, и все звучные имена. Такой блестящий материал принадлежал по праву Томасу Муру – и он самовластно завладел сокровищами!» [2: 108]. Излагая четвертую вставную поэму «Лалла Рук» «Свет гарема», И.П. Крешев называл ее «гирляндой из лучей, цветов и песен», составляющей «достойный венец» всей «восточной повести». Стремясь как бы уточнить сказанное, критик в качестве иллюстрации приводил песню, которую исполняла волшебница, «сплетая в мистическом порядке блестящие цветы и листья» [2: 111].

Песня чародейки Намуны, которая ведет Нурмангалу в Кашмирскую долину для сбора цветов, была впервые переведена Крешевым и опубликована им в «Сыне отечества» еще в 1842 г.: «Я знаю цветы и растенья,/ Откуда, в безмолвьи ночном,/ Слетают мечты и виденья/ На очи, объятые сном» [3]. Однако для биографического очерка текст раннего перевода был существенно переработан: количество стихов увеличилось с 26 до 32, были внесены стилистические исправления и добавлен рефрен, призванный подчеркнуть песенность поэтического фрагмента: «Скорей же, девица, плети свой венок: / И снам, и цветам лишь до утра дан срок» [2: 111]. Символично, что даже в таком произведении, наполненном ориентальными образами-символами, далекими от повседневности, проступает внутреннее мироощущение русского переводчика, постоянно испытывавшего финансовые трудности, существовавшего на скромные литературные заработки, – при переводе стихов Мура о цветке миндаля, навевавшем утешительный сон несчастному, страдавшему от неразделенной любви, Крешев подчеркивал, что страдания героя обусловлены его бедностью.

Существенно более объективным можно считать разбор И.П. Крешевым «Ирландских мелодий», однозначно ассоциируемых с народным эпосом, историческими событиями и, в конечном итоге, с национально-освободительным движением ирландского народа: «В этих прелестных произведениях отразился, как в зеркале, весь характер ирландцев, пылкий и нежный, мечтательный

и печальный» [2: 113]. И.П. Крешев отмечал тесную связь «Ирландских мелодий» с народной музыкой, предельно существенную для Томаса Мура: «Когда «Ирландские мелодии» были изданы без музыки, под влиянием которой они зарождались в уме поэта, Мур чувствовал какую-то грусть: он видел только скелеты своих созданий, без плоти и крови, без полноты жизни» [2: 113]. В статье также затронут вопрос о переводчиках «Ирландских мелодий», причем двое из них, осуществившие лучшие, но вместе с тем немногочисленные переводы, – И.И. Козлов и М.П. Вронченко (М.В…ко) – названы по именам: «Особенно оказал услугу нашей поэзии И.И. Козлов, которого душа чудесно гармонировала с настроением души ирландского барда <…>. Переводы слепца-поэта, так же как две-три мелодии, переданные пером М.В…ко, заставляют сожалеть, что эти два воссоздателя вдохновений Томаса Мура заимствовали так мало перлов из ожерелья, которое по праву принадлежало им обоим» [2: 113]. Судя по этой реплике Крешева, именно И.И. Козлов и М.П. Вронченко были теми переводчиками, кто оказал на него наибольшее влияние. В статье И.П. Крешев воспроизвел один перевод И.И. Козлова («Когда пробьет печальный час вечерней тишины…») и два перевода М.П. Вронченко («Может в зеркале вод отражаться луна…», «Мне дорог час, когда бледнеет пламень дня…»), причем переводы М.П. Вронченко цитировались по тексту их публикации в «Северных цветах» на 1829 г.

В биографический очерк вошли выполненные И.П. Крешевым существенно ранее и впервые опубликованные в 1842 – 1847 гг. в журналах «Сын отечества» и «Репертуар и пантеон театров» три стихотворных перевода из Томаса Мура – «Рождение арфы», «Последняя роза», «Мелодия» («В долине Гангеса, в Эдеме пышных роз…»). Стихотворение Томаса Мура «The origin of the harp…» из третьей части «Ирландских мелодий», переведенное незадолго до Крешева поэтессой Е.Н. Шаховой («Происхождение арфы», 1844), получило известность только после публикации перевода Крешева: «Под ясною влагой морского залива – / Я слышал преданье – сирена жила,/ И часто на берег, где зыблется ива,/ Она выходила и друга ждала./ И слезы напрасно у бедной лилися/ На темные пряди струистых кудрей,/ И грустные вопли по ветру неслися,/ Тревожа пловцов и ночных рыбарей» («Рождение арфы»; [4]). Перевод Крешева точно передавал характерную развернутую метафору о поющей девушке, был достаточно благозвучен и грамматически правилен, однако вместе с тем легко ощущалась склонность переводчика к пересказу содержания английского оригинала. Именно поэтому русскому читателю требовался новый перевод «The origin of the harp…», который не просто следовал бы за поэтической строкой оригинала, но, при некотором отходе от подстрочности, глубже отражал бы суть авторского замысла. Такой перевод был создан в 1870 г. Д.Д. Минаевым и под заглавием «Сирена» («Я слышал преданье. С глубокой тоской…») увидел свет в «Отечественных записках» [5].

При переводе стихотворения Мура «T’ is the last rose of summer…» из пятой тетради «Ирландских мелодий» Крешев существенно сократил текст оригинала (вместо трех октав – двенадцать стихов), усилив сентиментальные мотивы. В отличие от буквального перевода М. Васильевой «Увядшая роза», увидевшего свет в 1823 г. на страницах «Дамского журнала», перевод Крешева можно считать вольным, многие художественные образы утрачены, зато появились «безнадежно жемчужные слезы», ветер, закинувший «подруг» розы на «берег

далекой», уменьшительно-ласкательные слова («бедняжка», «подружка»): «Последняя роза цветет одиноко;/ Завяли подруги ее невозвратно;/ Закинул их ветер на берег далекой – / И нет ей ответа на вздох безотрадный…/ Не дам я сиротке на стебле томиться,/ Ронять безнадежно жемчужные слезы:/ Сорву я бедняжку… пусть ветер стремится,/ Уносит листочки рассыпанной розы!..» («Последняя роза»; [6]).

Менее известны два других перевода Крешева – «Когда твой верный друг, когда поклонник твой…» (стихотворение Мура «When he who adores thee…» из первой тетради «Ирландских мелодий») и «Я видел, поутру, в стремленьи игривом…» (стихотворение Мура «I saw from the beach…» из шестой тетради «Ирландских мелодий»), опубликованные в 1852 г. в журнале «Пантеон театров» с редакторским примечанием Ф.А. Кони: «Переводом этих двух мелодий Мура редакция обязана И.П. Крешеву, так прекрасно владеющему русским стихом» [7]. Данные переводы были включены редакцией в статью «Томас Мур», написанную А.С. Горковенко, переводчиком романов Булвер-Литтена, Вальтера Скотта, Фенимора Купера, впоследствии известным метеорологом, вице-директором гидрографического департамента [8].

К 1840-м гг. относится обращение к творчеству Т. Мура еще одного интересного поэта-переводчика – Николая Порфирьевича Грекова (1807 – 1866). Не стяжав себе славы как оригинальный поэт (лишь немногие произведения Грекова получили известность в качестве старинных романсов, будучи положенными на музыку А.А. Алябьевым, А.Е. Варламовым, А.Л. Гурилевым и др.), он обрел известность в качестве одного из лучших переводчиков первой части «Фауста», произведений В. Гюго, Г. Гейне, А. Шенье, А. де Мюссе и др. Переводы Грекова наглядно олицетворяли собой движение середины XIX в., опиравшееся на принцип вольного «переложения мысли» [9] с сохранением гладкости и плавности стиха. В увидевшем свет в 1847 г. (под заглавием «Из Мура») и в 1866 г. стихотворении «Нет, успокоиться дай сердцу моему…», состоявшем из двух восьмистиший, отчетливо ощущались переживания о скоротечности молодости, бренного земного бытия: «Нет, успокоиться дай сердцу моему;/ Коль может быть покой, когда уже увяла/ Надежда светлая, а юность миновала,/ Когда уже любовь давно чужда ему,/ Как оживить листок? Как снова дать ему/ И аромат его, и блеск, и яркость цвета?/ Нет, успокоиться дай сердцу моему!..» [10]. Н.П. Греков достаточно близко подлиннику передал замысел «Испанской песни» («Spanish air») из пятой части «Национальных песен» («National airs») Томаса Мура: «No – leave my heart to rest, if rest it may,/ When youth and love and hope have pass'd away./ Couldst thou, when summer hours are fled,/ To some poor leaf that's fallen and dead,/ Bring back the hue it wore, the scent it shed?» [11]. О близости данного стихотворения сознанию многих представителей российского общества говорит тот факт, что вскоре оно привлекло внимание еще одного переводчика с английского языка – А.Н. Бородина, создавшего в 1849 г. переводное стихотворение «Поздно (из Томаса Мура)» [12].

К 1840-м гг. относится начало переводческой деятельности Федора Богдановича Миллера (1818 – 1881), обращавшегося к творчеству И.В. Гете, Ф. Шиллера, Л. Уланда, Г. Гейне, Ф. Фрейлиграта и многих других авторов. Среди произведений английского романтизма, наряду с поэзией Дж. Г. Байрона, внимание Ф.Б. Миллера в 1858 г. привлекло написанное в 1802 г. стихотворение Р. Саути «The Inchcape Rock» («Инчкапский риф»; вследствие описки или

опечатки утвердилось неверное наименование «Ингкапский риф»), в основу которого была положена история о пирате Ральфе (Ralph), срезавшем шутки ради колокол, вывешенный аббатом Абербротока (of Aberbrothok) для предупреждения моряков об опасности столкновения с рифом в бурю, и ставшим, в конечном итоге, жертвой морской пучины. Несмотря на то, что аббат Абербротока, безусловно, положительный герой произведения Саути, последний не прибегает к каким-либо особым лексико-семантическим и стилистическим средствам для его характеристики, ограничиваясь фразой «the holy Abbot of Aberbrothok» («святой аббат Абербротока»), показывающей его принадлежность к миру служителей культа. Напротив, русский переводчик подчеркнуто выражает уважение к герою: «Был в Абербротоке почтенный аббат». С точки зрения художественной формы переводчик «Ингкапского рифа» успешно передал метрический строй, сохранил строфу (четверостишие) и количество стихов оригинала.

В эти же годы к переводам английской романтической поэзии обращался А.А. Фет. В частности, ему принадлежит перевод «Венецианской песни» («Venetian air») из четвертой части «Национальных песен» («National airs») Томаса Мура: «Прощай, Тереза! Печальные лучи,/ Что томным покровом луну облекли,/ Еще помешают улыбке летучей,/ Когда твой любовник уж будет вдали./ Как эти тучи, я долгою тенью/ Мрачил твое сердце и жил без забот./ Сошлись мы – как верила ты наслажденью,/ Как верила счастью, – о, боже!.. И вот,/ Теперь свободна ты, диво созданья, –/ Скорее тяжелый свой сон разгоняй;/ Смотри, и луны уж прошло обаянье,/ И тучи минуют, – Тереза, прощай!..» [13]. Этот перевод, как и большинство других переводов, выполненных А.А. Фетом, характеризуется буквализмом, стремлением дословно передать содержание подлинника. При этом точное соблюдение внешней формы нередко вело к утрате русским поэтом-переводчиком смысловой нагрузки отдельных стихов подлинника.

Одной из ведущих русских переводчиц 1840 – 1850-х гг. по праву считается К.К. Павлова. В своей переводческой деятельности Каролина Павлова выше других ставила общественно-просветительскую функцию. В изданном в 1833 г. в Германии первом сборнике Павловой «Das Nordlicht. Proben der neueren russischen Literatur» («Северное сияние. Образцы новой русской литературы») отчетливо проявилось стремление познакомить немецкую публику со всем многообразием русской поэзии, расширить кругозор читателей, обогатить немецкую поэзию новыми художественными формами. В сборник вошли переводы русских и украинских народных песен, стихотворений В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. Веневитинова, а также несколько оригинальных поэтических текстов самой Павловой. Первое печатное русское стихотворение Каролины Карловны «Неизвестному поэту», увидевшее свет в «Отечественных записках» (1839, №5), было посвящено Е.Л. Милькееву, поэту несвершившегося дарования, перенесшему тяжелую душевную депрессию [об Е.Л. Милькееве см.: 14]. Начиная с 1839 г. Павлова регулярно публиковала свои стихи на страницах «Отечественных записок», «Москвитянина», «Библиотеки для чтения» и других изданий.

Бесспорно, наиболее предпочтительными для К.К. Павловой были переводы произведений немецких писателей на русский язык и произведений русских писателей на немецкий язык. Однако известны факты внимания

К.К. Павловой к поэзии английского романтизма, в частности, к творчеству Т. Мура. В 1839 г. в Париже увидел свет сборник Каролины Павловой «Les preludes» («Прелюдии»), включавший выполненные поэтессой переводы на французский с английского, немецкого, итальянского, русского и польского языков, в том числе перевод двух «ирландских мелодий» Т. Мура – «Происхождение арфы» («L'origine de la harpe») и «Прощание с арфой» («L'Adieu a la Harpe»). В начале 1840-х гг. К.К. Павлова опубликовала в «Москвитянине» стихотворение «Приди, я заплачу с тобой», являющееся переводом «Has sorrow thy young days shaded» из шестой части «Ирландских мелодий» Т. Мура: «Зарю твою утренней тучей/ Покрыла ли горести мгла?/ Исчезла ли тенью летучей/ Пора, где и грусть нам мила?/ И в жизни навек ли завяли/ Все чувства души молодой?/ Приди ты ко мне, дочь печали,/ Приди, я заплачу с тобой!» [15]. В переводное творчество Павловой проникали характерные мотивы ее оригинальных произведений, общая склонность к обобщениям, метрико-ритмическое разнообразие.

А.Н. Плещеев обращался к переводам из Т. Мура несколько позднее – во второй половине 1870-х – начале 1880-х гг., однако и в рассматриваемый нами период в его творчестве определенную роль играли переводы с английского. Размышляя в 1846 г. о специфике перевода в своем предисловии к первому авторскому поэтическому сборнику, Плещеев отмечал, что может «взять на себя ответственность только за их верность подлиннику» [16], адекватность передачи внутреннего содержания и духа оригинала, но отнюдь не за подстрочную точность. Мысль поэта о том, что буквальная верность подлиннику вредит достоинству перевода, актуальна и сегодня. Она близка многим авторитетным суждениям последующего времени, в частности, мысли К.И. Чуковского, выступавшего за перевод «не столько слова, сколько смысла и стиля» [17]. При выборе оригинала Плещеев неизменно искал «вещи хорошие, живые, во многом применительные к настоящему» [18]. В этой связи неудивительно обращение русского поэта-переводчика к произведениям Дж. Г. Байрона, Г. Гейне, В. Гюго, Ш. Петёфи и др. Большой интерес вызывают осуществленные в 1871 г. и увидевшие свет в том же году на страницах «Беседы» (№3) и «Вестника Европы» (№4) переводы стихотворений английского романтика Р. Саути «Жалобы бедняков» («Complaints of the Poor») и «Бленгеймский бой» («The Battle of Blenheim») [см.: 19]. Переводческая деятельность А.Н. Плещеева, до настоящего времени изученная лишь во фрагментах, ждет своих исследователей.

Как видим, русские переводы 1840 – 1850-х гг., несмотря на общее падение интереса к поэзии, наблюдавшееся в русском обществе в эпоху, последовавшую за смертью А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, смогла внести свой вклад в развитие представлений русского общества об английской романтической поэзии, представавшей уже во многом как явление прошлого и потому по возможности объективно осмысливавшейся с определенной исторической дистанции.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Блок А.А. Собрание сочинений: В 6 т. – Л., 1982. – Т. 5. – С. 88.

2. Крешев И.П. Томас Мур (биографический очерк) // Сын отечества. – 1852. – № 4. – Отд. III. – С.108 – 136. Здесь и далее статья цитируется с указанием страницы в квадратных скобках после номера ссылки.

3. Крешев И.П. Волшебница // Сын отечества. – 1842. – № 10. – Отд. III. – С. 6.

4. Крешев И.П. Рождение арфы // Репертуар и пантеон театров. – 1847. – Т. 2. – Отд. II. – С. 111.

5. Минаев Д.Д. Сирена («Я слышал преданье. С глубокой тоской...») // Отечественные записки. – 1870. – № 7. – Отд. I. – С. 127-128.

6. Крешев И.П. Последняя роза (Из Томаса Мура) // Сын отечества. – 1842. – № 9. – Отд. III. – С. 6.

7. Кони Ф.А. <Редакторское примечание к публикации стихотворений Т. Мура в переводе И.П. Крешева> // Пантеон театров. – 1852. – Т. 2. – № 4. – Отд. II. – С. 5-6.

8. Горковенко А.С. Томас Мур // Пантеон театров. – 1852. – Т. 2. – № 4. – Отд. II. – С. 1-8.

9. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. – Л., 1981. – С. 425-426.

10. Греков Н.П. Новые стихотворения. – М., 1866. – С. 98.

11. Moore T. The Poetical Works. – London-New York, 1910. – P. 217.

12. Бородин А.Н. Поздно (из Томаса Мура) // Сын отечества. – 1849. – № 3. – Отд. II. – С. 9.

13. Фет А.А. Полное собрание стихотворений. – Л., 1959. – С. 669.

14. Постнов Ю.С. Русская литература Сибири первой половины XIX века. – Новосибирск, 1970. – С. 326-341.

15. П<авло>ва К. Приди, я заплачу с тобой // Москвитянин. – 1841. – Ч. V. – № 9. – С. 8-9.

16. Плещеев А.Н. Два слова к читателю // Плещеев А.Н. Стихотворения. 1845-1846. – СПб., 1846. – С. 45.

17. Чуковский К.И. Бедный словарь – и богатый // Литературная газета. – 1963. – 20 июля (№ 87). – С. 13.

18. Бэр М. Струэнзе: Трагедия в пяти действиях / Вступ. заметка и пер. А.Н. Плещеева // Неделя. – 1890. – № 1. – С. 9.

19. Жаткин Д.Н., Рябова А.А. А.Н.Плещеев – переводчик произведений Р. Саути // Альманах современной науки и образования (Тамбов). – 2008. – № 2 (9). Языкознание и литературоведение в синхронии и диахронии и методика преподавания языка и литературы: В 3 ч. – Ч. 1. – С. 83-85.

О.В. Журчева,
Самарский государственный
педагогический университет

АНТИНОМИЯ КОНЦЕПТОВ «ДОМ» И «ПУТЬ» В ПЬЕСЕ М. ГОРЬКОГО «МЕЩАНЕ»

Аннотация

Данная статья посвящена актуальной проблеме: форме выражения авторского сознания в драме. Проблема решается на примере анализа образов времени и пространства в пьесе М. Горького «Мещане». Развитие драматургии на рубеже XIX-XX вв. предполагало настойчивое возрастание и кардинальное изменение места автора в пьесе. Одним из приемов, раскрывающим этот процесс, явился драматургический хронотоп, художественный смысл которого заключен в философском и эстетическом осмыслении образов времени и пространства, той системы координат, в которой разворачивались представления о макрокосме (мире) и микрокосме (человеке), об экзистенциальном конфликте, о трагической конечности человеческого бытия. Онтологический смысл драматургического конфликта «Мещан» выражен в противостоянии концепта Дома, выспринятым как судьба, и Пути, осознаваемый как случай.

Olga Zhurcheva

THE ANTYNOMIA OF THE “HOME” AND THE “WAY” CONCEPTS IN M. GORKY’S PLAY “THE PHILISTINES”

Abstract

The article deals with the standing issue of the forms in which the author`s mentality shows itself in drama. The problem is solved in accordance with the example of the chronotop images in M. Gorky’s play “The Philistines”. The development of drama on the border of XIX-XX centuries caused growth and change of the author`s position in the play. The dramaturgic chronotop is one of the most important methods of revealing this process. Its artistic content is incorporated in philosophical and aesthetic interpretations of time and space, the system of coordinates in which ideas of macrocosm (thy world) and microcosm (thy man), of existential conflict are unfolding. The “Home” concept perceived like the Fate withstands the “Way” cincept realized like the Chance. By this withstanding the philosophical sense of the Gorky’s play is expressed.

Драматургия Максима Горького впитала в себя и наследие социально-психологической драмы XIX в., и богатство стилей и оттенков европейской «новой драмы» рубежа XIX-XX вв., но до сих пор осознается по-своему уникальной и замкнутой художественной системой, сформировавшейся как феномен и существующей достаточно обособленно.

Особенностью горьковской образности можно назвать своеобразную персонификацию слов и идей, когда именно слова становятся действующими лицами, сталкиваясь друг с другом, завязывая и разрешая конфликт. Герой – носитель того или иного слова, мысли, идеи, т.е. своего рода *слово-человек* становился единицей драматургии Горького. Именно эта специфика горьковских

пьес заставляет совершенно особым образом располагать события и героев в пространственно-временных координатах, диктует особый тип отражения исторического времени и географического пространства, создает своеобразный мифо-символический смысл образов времени и пространства, которые на манер системы мотивов и лейтмотивов в поэзии, пронизывают весь текст пьесы, оформляя, таким образом, ее поэтику, и становятся одной из важнейших форм выражения авторского сознания в драме.

Применительно к вышесказанному целесообразно выделить ***хронотоп внешний***, подразумевая визуально-смысловую объективацию происходящего в пьесе, который так или иначе отражает точку зрения драматургического «концепированного автора», т.е. драматурга, и ***хронотоп внутренний***, связанный в данном случае со словесным сюжетом, где объективные, историко-культурные, и субъективные, авторские мифологемы, архетипы и символы и создают так называемый надтекстовый смысл.

Пьеса «Мещане» первая в большом списке драматургических произведений М. Горького, и она обнаружила в себе многие в своем роде «первообразы», «первосюжеты», «первосимволы» последующих пьес. Она была издана в издательстве «Знание» в 1902 г., имела двойной подзаголовок – «Сцены в доме Бессеменовых. Драматический эскиз в 4 актах», сразу и надолго закрепляя этот неопределенный жанр за горьковской драматургией.

Горький в первой же пьесе стремится выписать не только литературный текст драмы, но и театральный. Афиша представляет героев таким образом, как бы это было бы сделано в удостоверении личности: социально, возрастно, по отношению друг к другу и к тому месту, где они обитают. Автор тщательно определяет возраст своих героев, хотя собственно в тексте пьесы это «не работает». В «Мещанах» лишь Татьяна вспоминает, что ей «только 28 лет», и впереди у нее долгая череда годов. В конце 1901 г., когда МХТ берет к постановке пьесу М. Горького, тот отправляет К. Станиславскому из Нижнего Новгорода подробнейшее письмо, в котором просит режиссера «принять к сведению мой взгляд на действующих лиц» [1: 544], и подробно расписывает особенности характеров своих героев, вплоть до жестов и манеры говорить, не забывая посоветовать, кого лучше назначить на роли, особенно автора интересовал исполнитель Нила.

Описание обстановки вообще вынесено за пределы общего текста в отдельный отрывок и представляет собой по сути дела режиссерскую экспликацию. Примечательно, что в «Мещанах» наиболее последовательно соблюден принцип единства места действия. События всех четырех действий происходят в одной и той же комнате – передней, которая является своеобразным центром дома, сюда «сбегаются» все события, приходят все персонажи, выходят двери остальных помещений дома Бессеменовых. Выбор места действия, с одной стороны, бытово оправдан, так как именно здесь, в «публичном» помещении частного дома и могут собраться вместе самые разные люди, с другой стороны, именно это место в доме – передняя – подчеркивает противостояние внешнего, уличного, и внутреннего, домашнего, пространств.

Большинство персонажей пьесы – 9 человек – обитатели дома Бессеменова. Все они распределились в сюжете пьесы исходя из их отношения к дому Бессеменовых. Из заявленных в афише героев вне дома проживает только учительница Цветаева, приходящими могут быть названы и Поля с Перчихиным, так как их статус в доме Бессеменовых автором не определен. Во внутреннем

пространстве обитают собственно представители семьи – Бессеменов, Акулина Ивановна, Петр, Татьяна. Все остальные в большей или меньшей степени перемещаются изнутри наружу. Елена, Шишкин и Тетерев, нанимающие комнаты у Бессеменовых, словно бы стоят на пороге, на границе этой оппозиции. Нил, несмотря на то, что принадлежит семье, подчеркнуто мало относится к внутреннему пространству Бессеменовых, тем более, что по профессии он – машинист, и движение, путь – это его дело. Его конфликт с Бессеменовым связан с возможностью или невозможностью «увести» с собой других героев, в первую очередь, Полю. Вслед за ними уходят Шишкин, Тетерев, Перчихин. А вот Елена остается в доме, внутри, поскольку замкнутость топоса видится ей идеалом. Так уже на уровне сюжетов персонажей и их отношений к месту собственного обитания постоянно проявляются оппозиции ***Дом/Путь, статика/динамика, здесь/там***. («**Здесь** и **там** – слова, относящиеся к прагматике пространства, то есть к пространству с точки зрения находящегося в этом пространстве человека, или, точнее, **говорящего человека**, либо того, с кем отождествляется говорящий человек» [2: 10]).

Выше речь уже шла о том, что хронотоп реализуется у Горького и объективизировано – в подробной авторской разработке, сходной с режиссерской и сценографической, и в метафорическом значении присутствующих на сцене вещественных знаков времени и пространства, и в сюжете, – в действиях, перемещениях героев, поворотах их судеб и, наконец, в собственно словесной ткани произведения. Семантика времени в пьесе определена уже в «Обстановке»: «*Большой, как луна, маятник качается за стеклом, и, когда в комнате тихо, слышится его бездушное – да, так! да, так!*» [1: 8]. Сразу же задана ориентация на статику, постоянное (словно бы постоянное, неизменное) время суток – *как луна,* и неопределенность – *бездушное – да, так!* То же повторится в каждой из ремарок ко всем четырем действиям. В действии первом: «*Вечер, около пяти часов. В окна смотрит осенний сумрак. В большой комнате – почти темно*» [1: 9]; в действии втором*:* «*Осенний полдень... Татьяна неслышно и медленно ходит* ***взад и вперед*** (выделено мной. – *О. Ж.*)» [1, 33]; в действии четвертом: «*Вечер. Комната освещена лампой, стоящей на столе... Татьяна, больная, лежит на кушетке, в углу в полутьме*» [1, 76]. В дополнение можно привести слова Елены (конец первого действия): *«Танечка! И ты, по обыкновению, грустна, как ночь сентябрьская?»* [1: 26].

Так или иначе, это ощущение времени ***здесь***, в этом топосе, в Доме Бессеменова – неподвижность его, время топчется на месте, несмотря на то, что в каждом действии завязывается конфликтная ситуация, разражающаяся скандалом. Это хронотопическое единство ***время-здесь*** проявляется сразу же, с первых же слов Татьяны и развивается воронкообразно, захватывая все больший круг персонажей.

Татьяна (*читает*). «Взошла луна. И было странно видеть, что от нее, такой маленькой и грустной, на землю так много льется серебристо-голубого, ласкового света»... Темно.

Поля. Зажечь лампу? [1: 9]

Татьяна. ...И жизнь совсем не трагична... она течет тихо, однообразно... как большая, мутная река. А когда смотришь, как течет река, то глаза устают, делается скучно... голова тупеет, и даже не хочется подумать – зачем река течет? [1: 10]

Далее в реплике Петра это ощущение повторяется, почти не варьируясь:

Петр. ... во сне я видел, будто плыву по какой-то реке, а вода в ней густая, как деготь... Плыть тяжело... и я не знаю – куда надо плыть... и не вижу берега. [1: 13]

Тема разрастается, рассеиваясь, правда, только внутри семьи Бессеменовых:

- Изо дня в день – одно и то же...

- А до праздников еще далеко...Ноябрь...Декабрь.

- И я не знаю, не представляю – что значит жить? Как я могла бы жить?

- И еще, и без конца, до гроба говорить буду...

- Никто не придет к вам, ибо у вас нечего взять...

- ...и никто не видит тех драм, которые терзают душу человека, стоящего между “хочу” и “должен”...

- Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной комедии, под названием “Ни туда, ни сюда”...

- Я навсегда устала...

- ...они какие-то...ровно бы без лиц...

В дополнение к этому можно обнаружить явные переклички с Чеховым. Например, монолог Петра, который видится явной аллюзией на знаменитый монолог Гаева о столетнем книжном шкафе из «Вишневого сада». (Надо заметить, что «Вишневый сад» впервые был опубликован в сборнике товарищества «Знание» за 1903 г. (Кн. вторая. СПб.,1904), а «Мещане» в том же издании в 1902 г., поэтому аллюзия здесь не прямая, а опосредованная, к мыслям, «витающим в воздухе».)

Петр. По вечерам у нас в доме как-то особенно... тесно и угрюмо. Все эти допотопные вещи как бы вырастают, становятся еще крупнее, тяжелее... и, вытесняя воздух, – мешают дышать. *(Стучит рукой в шкаф.)* Вот этот чулан восемнадцать лет стоит на одном месте... восемнадцать лет... Говорят – жизнь быстро двигается вперед... а вот шкафа этого она никуда не подвинула ни на вершок... Маленький я не раз разбивал себе лоб о его твердыню... и теперь он почему-то мешает мне. Дурацкая штука... Не шкаф, а какой-то символ... [1: 12]

«Процесс», движение вперед, в отличие от «топтания на месте», диффузного, не направленного движения, представляется большинству персонажей иллюзорным, существующим где-то и поэтому оно ирреально, мифично. Так Тетерев говорит: «Нил восторгался процессом жизни... Слушая его, начинаешь представлять себе эту никому не известную жизнь... чем-то вроде американской тетушки, которая вот-вот явится и осыплет тебя разными благами...» [1: 12] Таким образом, временная характеристика ***здесь***, то, что можно было бы назвать временной семантикой места, определяется как неподвижность, растворяющая людей, превращающая ***место, Дом*** из понятия ***здесь*** в понятие ***НИГДЕ***. Времени в пьесе вроде бы и нет, оно словно не течет – события происходят всегда, не будь оно упомянуто в ремарках, определить его было бы невозможно, поскольку оно не влияет на жизнь людей, ничего в ней не определяя и не меняя.

Настолько понятие «места» занимает помыслы людей в драматургии Горького, настолько их взимоотношения и отношения с миром проходят «через место», мысль о гибельности «места» носит столь имманентный характер,

что время мыслится как ничтожная, ничего не решающая величина, не замечаемая ни персонажами, ни автором. Причем речь идет не о локальном месте, а вообще о месте человека в мире. Дом Бессеменовых представлен автором в ремарках и своеобразной премизансцене только передней комнатой, в которую выходят двери всех остальных помещений, да еще и дверь ***туда***, в другой мир, в иное измерение напоминает. Это место действия напоминает **чистилище, преддверие,** где происходит разделение на тех, кто *здесь* останется, и тех, кто уйдет *туда*. (***Чистилище***, согласно католическо-христианских представлениям, место, где души умерших очищаются от грехов перед вступлением в рай. Представление о Ч. как о втором «потустороннем царстве» развито Данте в «Божественной комедии», оно помещается на земле, высится в центре океана огромной горой, в нем семь кругов – в каждом из них смывается с чела грешника печать от одного из семи смертных грехов. Таким образом, *чистилище может восприниматься как подготовительный период к дальнейшему движению в постижении истины* [3: 632].)

Начиная уже со второго действия появляется мотив выхода – из Дома в Путь, поскольку жизнь здесь невозможна и нецелесообразна. Мотив этот обозначен весьма отчетливо и совсем не метафорически:

Нил. Я умею оттолкнуть от себя в сторону всю эту канитель... С курьерским, например, – фьюить! Режь воздух! Мчись на всех парах!.. Я люблю быть на людях... А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни и по неизвестной причине стонете да жалуетесь... [1: 39]

И далее:

Нил. ...Жить, – даже и не будучи влюбленным, – славное занятие! Ездить на скверных паровозных осенними ночами, под дождем и ветром... или зимою... в метель, когда вокруг тебя – нет пространства, все на земле закрыто тьмой, завалено снегом, – утомительно ездить в такую пору, трудно... опасно, если хочешь! – и все же в этом есть своя прелесть!.. Нет такого расписания движения, которое бы не изменялось!.. [1: 86]

К третьему действию персонажи окончательно распределились в своем желании уйти или остаться, причем не только на словесном, но и, наконец, на действенном уровне. Эмоциональное состояние персонажей, продолжающих существовать в этом пространстве, в Доме, ***здесь,*** довольно точно выразилось в случайной реплике случайного персонажа, бабы из толпы перед домом Бессеменовых, которая «на несчастье посмотреть зашла...». Несостоявшееся самоубийство Татьяны, навсегда привязало ее к дому, ведь ей теперь «и на люди нельзя показаться». Елена в разговоре с Тетеревым рассказывает о своей жизни в тюрьме, которая представляет собой сверхзамкнутый топос, но это ее нисколько не тяготило:

Елена *(задумчиво)*. Когда я жила в тюрьме... там было интереснее... Я была свободна, никуда не ходила, никого не принимала и жила с арестантами... Я купила птичек, клеток, и в каждой камере была своя птичка... они любили ее – как меня!.. Я не заметила, как прошло три года... и когда мужа убила лошадь, я плакала не столько о нем, кажется, сколько о тюрьме... Было жалко уходить из нее... [1: 67]

Ее ничуть не смущает сравнение себя самой с яркой птичкой в клетке, которая, в свою очередь, находится в тюремной камере. Ее сюжет в рамках пьесы предрешен, она должна остаться в доме, рядом с Петром, даже если внешне это

обставлено как своеобразное самопожертвование. Уйди Елена из дома Бессеменовых, ей пришлось бы искать другую, такую же дом-тюрьму.

Сразу же после рассказа Елены о своем тюремном прошлом Тетерев обращается к Поле: «Кто говорил вам всегда, постоянно, упорно – уйдите скорее из этого дома, не ходите в этот дом, здесь – нездорово, здесь вам расстроят душу?» [1: 68]

Елена и Тетерев выступают в рассматриваемой конфликтной оппозиции ***Дом/Путь*** в качестве медиаторов, которые должны соединить, примирить внешнее и внутреннее пространство, но делают они это разными способами. Елена верит в существование гармонии внутри самого человека, а Тетерев – напротив, вне его, в пространстве окружающего мира. И как положено бродяге и страннику у Горького, он – философ. Елена и Тетерев не вполне участвуют в конфликте, они не столько над ним, сколько комментирующие свидетели. Только Елена – героиня примиряющая, более примыкающая к Бессеменовым: она три года прожила в тюрьме, в которой тоже можно жить, если наладить умеренное просвещение. А Тетерев – бунтующий, не целенаправленно бунтующий против мещанства, как принято трактовать драматургическую функцию Нила, а просто анархически бунтующий, против всех и всяких установлений.

Четвертое действие разрешает эту ситуацию противостояния мира внутреннего и мира внешнего по отношению к дому Бессеменовых, ***здесь*** и ***там***.

Татьяна. ...Меня немножно раздражает эта беготня... все куда-то стремятся, кричат... [1: 81]

Тетерев. ...Ведь я – бродяга, большую часть года провожу в дороге. Вот опять скоро уйду. Установится зима, и я – в путь... Лучше замерзнуть на ходу, чем сгнить, сидя на одном месте... [1: 82]

Нил. (Петру. – *О. Ж.*) ...Ну, тебе остается одно – беги! Беги в пустыню!.. Ну, мы уходим... вот! Мне жаль, что все вышло так громко. [1: 85, 93]

В эмоциональной кульминации четвертого действия, когда появляется Перчихин со своей наивной мыслью о том, что Поля увела чужого жениха («Не тронь чужого»), и Бессеменов со своей прорвавшейся в крик обидой на ближних, нагнетаются глаголы движения: уйди, идем, иди, ползи, ступай, уводи, не ворочусь, воротитесь-поклонитесь, постойте. Наконец, Бессеменов пытается сформулировать, что же на самом деле произошло:

Бессеменов *(садится на диван)*. Я... потерял мысль. Не понимаю... Что вышло? Вдруг ... как летом, в сушь, пожар... Одного – нет... говорит – не ворочусь... **Ишь как просто!** (выделено мной. – *О. Ж.*) Ишь ты как ... Нет... я этому поверить не могу... [1: 94]

И далее слова, обращенные к Петру: «Куда ты можешь идти?»

Бессеменов и Акулина Ивановна идут в свою комнату, Елена уводит Петра наверх, Татьяна остается около пианино. Все остальные покинули дом Бессеменовых. Остаются те, кто может и хочет *«терпеть и ждать»* и не может *«идти и искать»*.

Слово *«мещанин»* этимологически связано со словом *«место»*, так же, как синонимическое *«обыватель»* связано со словом *«быть»*, *«обитать»*, т.е. жить оседлой жизнью. Направленность пьесы видится именно против этого явления, именно на этом построен главный онтологический конфликт «Мещан». *«Мещане»* – люди устойчивого быта. А вот Нил, представленный положительным героем, понимает жизнь как возможность перемещения, возможность ез-

дить, изменять мир и изменяться самому. Здесь весьма показательными являются его слова о работе в кузнице: «Знаешь – я ужасно люблю ковать. Пред тобой красная, бесформенная масса, злая, жгучая... Бить по ней молотом – наслаждение! Она плюет в тебя шипящими, огненными плевками, хочет выжечь тебе глаза, ослепить, отшвырнуть от себя. Она живая, упругая... И вот ты сильными ударами с плеча делаешь из нее все, что тебе нужно...» [1: 40].

В силу определенной декларативности характера Нила, его считали не только положительным героем, но и отчасти продолжателем раннего горьковского романтизма: «Жить *вне* места – существенная черта романтического героя ... одна из вероятных форм проживания там, где жить нельзя. Вот почему о романтизме можно сказать, что в его основании лежит некая константа человеческой натуры; что он не только литературное ... течение, но и отношение к бытию, всегда свойственное людям» [4: 257].

Особенности художественного пространства и его приоритет перед художественным временем сказывается даже в построении драматургического сюжета и сюжетов персонажей. В «Мещанах» трудно, практически невозможно отыскать так называемое «единство действия». Сюжет не только разветвлен, но может быть рассмотрен с самых разных точек зрения, поэтому и устойчивые элементы драматургической композиции подвижны, неоднозначны, в зависимости от выделения того или иного сюжета в качестве ведущего. Конфликт «отцы и дети» уже предполагает два сюжета: Бессеменов и его дети, во-первых; отец Бессеменов и его дети, и отец Перчихин и его дочь, во-вторых. Конфликт «любовный» тоже достаточно разветвлен и, что самое главное, заранее предопределен и никакой интриги не образует. Здесь есть любовный четырехугольник: Нил – Поля, Поля – Нил, Татьяна – Нил, Тетерев – Поля, рядом еще одна пара, где напряжение любовных отношений ослаблено – Елена и Петр. Причем в любовном конфликте пара Нил и Поля образуют некую общность, их отношения развиваются бесконфликтно, беспрепятственно, по нарастающей, к итоговому и закономерному уходу из «безвременного места» в открытый мир. Удар, который переживают Татьяна и Тетерев, каждый по-своему, тоже никак не меняет хода их жизни. Для Елены же отношения с Петром – это ситуация возврата к прошлому, к трехлетней жизни в тюрьме. Под влиянием двух экстатических сцен в четвертом действии: громкий публичный уход Нила с Полей, спровоцированный Перчихиным, и, как бы в параллель, после оскорбительных обвинений, предъявленных ей Бессеменовым и Акулиной Ивановной, – Елена уводит Петра к себе наверх, – она по сути дела опять становится чем-то вроде яркой, пестрой птички для заключенного (Петра).

Конфликт – «социальный», между «мещанами» и Нилом как представителем нового, бодрого, живого образа мысли – не выстраивается. Нил как Deus ex machina появляется и исчезает, декларируя свои идеи, не встречая практически никакого серьезного сопротивления своим намерениям, кроме словесного противодействия Бессеменова, Петра, Татьяны. Надо сказать, что Нил этого противодействия не то чтобы не замечает, но словно бы и не слышит, что ему говорят. Примером этому может служить классический, почти чеховский «невстречающийся диалог» между Нилом и Тетеревом во втором действии:

Нил. Вот заварил кашу! И чорт меня дернул спросить ее... Дурак!..

Тетерев. Ничего! Сцена очень интересная... У тебя есть способности... ты можешь играть героические роли. В данный момент герой нужен... поверь

мне!..

Нил. Чего ради заставил я Полю пережить такую... гадость?..

Тетерев. Людей очень удобно делить на дураков и мерзавцев...

Нил *(не слушая)*. Теперь придется ускорить свадьбу...

Тетерев. Жизнь украшают дураки...

Нил *(задумчиво)*. Да, глупости! На это я мастер...[1: 47-50]

Есть в пьесе «Мещане» персонажи, которые имеют свои жизненные и драматургические истории, проходящие как бы по касательной к главной коллизии пьесы. В сюжетах этих персонажей нет ни экспозиции, ни завязки, которая бы объясняла их присутствие в драматургическом тексте: это, в первую очередь, Шишкин и Цветаева, но подобные «касательные» к основному сюжеты можно определить и у Перчихина, и у Тетерева. В силу повторяемости сюжетных ходов, функций персонажей, подобное немотивированное появление героев на сцене видится своеобразным **метатекстом** (надтекстом).

Как же можно трактовать основной конфликт, исходя из всего выше сказанного? Если говорить о мировоззренческом аспекте, о том, что было выше названо основной целью, то драматургический конфликт можно было бы определить как противостояние мира замкнутого и разомкнутого, ***Дома*** и ***Пути***. Дом здесь может быть воспринят как неотвратимая судьба, от которой невозможно уйти, тогда понятен страх из-за ухода персонажей из дома Бессеменовых и особенный страх старика Бессеменова по поводу ухода Нила. Путь же представляется как случай, т.е. иная реализация заложенного в судьбе потенциала, непредсказуемость, символ движения. Таким образом, *Дом* – это итог, законченность, отсюда безвыходность и конечность существования, *путь* – возможность преодоления конечности, поиск иного выхода из экзистенциальной ситуации.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Горький М. Мещане // Собр. соч.: В 30 т. Т. 6. – М., 1950. – С. 544.

2. Руднев В. Здесь – там – нигде // Московский наблюдатель. – 1994. – № 3-4.

3. Щедровицкий Д.В. Чистилище // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. – М., 1994. – Т. 2.

4. Мильдон В.И. «Открылась бездна...». – М., 1992.

А.Н. Зорин,
Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского

РЕМАРКА В РУССКОЙ ДРАМЕ XVII-XVIII ВВ.: ГРАНИЦЫ ПРИЕМА, КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Аннотация

Эволюция структуры и семантического состава ремарок отражает глубинные процессы развития русской драматургии. Первые десятилетия русской драмы характеризуются освоением экспрессивных и описательных возможностей ремарки, дополняющей диалог. Классицистская драматургия минимализирует и жестко структурирует описательные элементы, выходящие за пределы словесных жестов героев, повышая их экспрессивность и полисемантичность.

Artem Zorin

THE STAGE DIRECTION IN RUSSIAN DRAMA OF XVII-XVIII CENTURIES: MODE POTENTIALITIES, CULTURAL CONTEXT.

Abstract

The evolution of structure and semantic remark composition reflects deep processes of Russian dramatic art. First decades of russian drama is characterized by expressive and descriptive remark potentialities supplementing the dialogue. Classicism drama minimalizes and strictly structurize descriptive elements, coming out from verbal gestures limits of heroes, increasing their expressivity and polysemanticism.

Эволюция ремарки в русской драматургии – тема, давно заслуживающая отдельного системного исследования. До сих пор ее изучение по большей части носило избранный характер и, в основном, исчерпывалось отдельными наблюдениями и замечаниями, посвященными частным явлениям или конкретным текстам. Впервые попытку оценить совокупность ремарок как систему предпринял С. Д. Балухатый в работе, посвященной чеховскому «Лешему» [1]. Подробно были исследованы ремарки пушкинского «Бориса Годунова» и гоголевского «Ревизора» [2; 3 и др.]). Г.Х. Дамс в монографии о русской ремарке от Сумарокова до Чехова [4] затронула некоторые аспекты интересующей нас проблемы, рассматривая ремарки русской драматургии как четкую систему, окончательно сформированную к началу XX века. В.В. Сперантов для сравнительного анализа ремарок русской стихотворной классицистической трагедии использовал статистические методы, обнаружив соотнесенность изменения числа ремарок и их функций со сменой литературных направлений. При этом исследователь отказался от интерпретации семантики ремарок в рамках целостной драматургической поэтики эпохи [5].

Появление ремарки в европейской драматургии связано с повышением роли авторского начала в тексте пьесы и вообще с появлением фигуры автора-драматурга.

Еще на заре существования драмы автор пьесы был человеком театра: либо актером, своеобразным «актером-художником» (по словам Гоголя) – постановщиком спектакля, автором текста диалогов, «литературным консультантом» или кем-то еще. Пьеса не была собственно литературным текстом; это был, скорее, сценарий, либретто, некая схема, по которой строилось представление; не случайно театр всегда уделял большое внимание импровизации, рождавшейся в контакте с аудиторией. Пьесы, дошедшие до наших дней, не что иное, как записанный после представления один из вариантов. Таким образом, средневековый театр, готовивший свои постановки на литературной, авторской «основе», и театр народный, фольклорный были во многом схожи и, в первую очередь, отсутствием текста пьесы.

Можно сказать, что драма долгое время не могла в полной мере называться родом **литературы**. Практически до XVI века пьесы предназначались исключительно для театра, не выходя на авансцену собственно литературы. Церковные действа и мистерии предполагали сценарий зрелища, вторящий изначальному тексту, но не вступающий с ним в равноправные отношения, сценарий мистериального действа далеко не равноценен сакрализованному первоисточнику – уже в силу низменности самого драматического искусства для своего времени.

Только в XV-XVI веках начинается борьба европейских драматургов за то, чтобы их произведения становились литературой, то есть имели единственный зафиксированный вариант текста. Показателен в этом смысле путь шекспировских пьес. Французские исследователи Жан-Мари и Анжела Маген отмечают, что пьесы великого драматурга восстанавливались только по дидаскалиям или указаниям на полях сценария, по отрывкам черновиков автора, иногда по соединенным ролям. В первых, дешевых, часто «пиратских» изданиях пьес Шекспира отсутствовало деление на акты и картины, поскольку они не были разметкой произведения на сцене. Зато «обозначение актов и сцен является отличительной чертой издания «ин-фолио» 1623 года... Перед нами внешнее оформление драматического действия. Внешнее оформление в обрядовом смысле, ритуал перехода в мир литературы» [6: 172].

По мере демократизации театрального мышления автор стал нуждаться в ремарке, с одной стороны, как в четком указании на способ интерпретации текста пьесы, в пояснении деталей постановщикам и артистам, а также потенциальным читателям, с другой – как в оригинальном драматургическом приеме, дополняющем диалоговое содержание текста.

Эволюция театральной ремарки отразила процессы, характерные для изменения в самой драме – усиление интереса к реальной личности, возрастающее влияние романа на драматургические жанры и опыт иных видов искусства.

В русской литературной культуре ремарка как неотъемлемый семантический элемент драматургической системы утвердила себя задолго до появления первых театральных пьес. Ее возникновение связано с процессом драматизации церковно-литургического действа и литургической драмы, с развитием жанра литературного диалога – философского, полемического, сатирического – и, в целом, с постепенным утверждением риторики как универсального принципа творчества. В литургической поэтике ремарка как элемент драматизации «предусмотрена в некоторых богослужебных текстах, – пишет Р. Вроон, –

например, в Благовещенском каноне, где отдельные песнопения организованы в форме диалога между Архангелом Гавриилом и Девой Марией» [7: 155-166].

В церкви конца XVII века звучат неканонические стихи Кариона Истомина и Симеона Полоцкого. Некоторые пометы в рукописи «Рифмологиона» Полоцкого указывают на кремлевские храмы и церкви царских резиденций как на места произнесения стихов. «Рифмологион» открывается стихами рождественского цикла, в котором на первом месте – «Стиси краесогласнии на Рождество Христово, глаголанныи в церкви преподобным Марии Египтяныни в славу Христа Бога». Поэт встраивает строфы приветствия царю Алексею Михайловичу в состав службы в широком понимании – как действа, происходящего в храмовом пространстве с участием клира и перед аудиторией, пришедшей на богослужение. Чтение стихов чередуется с пением ирмосов. После каждого из девяти ирмосов первого гласа читается по две стихотворных строфы, в которых изъясняется и развивается ветхозаветная тема ирмоса с приданием ей панегирического пафоса. Композиция состоит из восьми пар стихотворных строф, образующих вместе с ирмосами мелодекламацию [8: 336-337]. Обозначение места действия и диалогичность самой композиции – демонстрация вторжения автора в текст и прямыми, и косвенными комментариями, во многом доформулирущими оценку.

Традиция полемического диалога активно использует ремарки, акцентирующие внимание на невербальной части общения между собеседниками. Эти ремарки подчеркивают экспрессивность и повышенную семантическую значимость отдельных фраз. Например, в сатирическом «Сказании о куре и лисице» (1630-е годы) в диалоге между двуликой лисицей и ее жертвой – курой прописано множество ремарок: *«Лисица же скрежеташе зубы и, гледя на него немилостивым оком, аки диавол немилостивы на христиан...» или «отвеща лисица х куру с великим гневом и яростию»* [9: 271]. Помимо экспрессии, ремарка здесь четко обозначает авторскую оценку и предпочтения в споре.

Начиная с первых дошедших до нас текстов придворного театра Алексея Михайловича ремарка определяет состав действующих лиц и в отдельных случаях комментирует их образ действий, особенно аффективные состояния. Так, в первой пьесе русского театра – «Артаксерксовом действе» Иоганна Грегори – наиболее частотная ремарка – рыдания героев. Сопоставление дошедших до нас списков рукописей «Артаксерксова действа», наиболее приближенных к первоисточнику – на немецком и переводных на русском, – позволяет сделать вывод о том, что русскоязычный вариант более насыщен ремарками, выражающими внешние и внутренние жесты героев *(«спальники согласуют», «Мардохей рыдает», «Есфирь рыдает», «Мардохей, стоя в прикровении», «Зде выходит Мардохей во славе, на коне сидяща и водим Аманом»* и др. [10: 108-225]. Это объясняется как воздействием отечественной театральной практики на работу над русскоязычным вариантом пьесы, так и формальной организацией русского драматического текста в контексте литературных представлений того времени, основанной на риторической традиции.

В другом раннем тексте – «Иудифи» – возникает первая ремарка, определяющая моменты молчания героев *(«Мемухан, Амон, Неман, Корей молчат»*) [10: 164.]. Но это еще не традиционная для более позднего театра пауза, а редкий случай появления на сцене немых, вернее не говорящих ничего участников действия. Он связан со спецификой организации театра Алексея Михай-

ловича, со своего рода актуализацией происходящего в пьесе – немые персонажи, присутствовавшие при диалоге, стояли на сцене бок о бок со зрителями – приближенными царя.

Связь с традицией поэтической риторики определяет характер ремарок в ранней русской драматургии XVIII века. С одной стороны, ремарка отграничивает разные сферы аллегорически изображаемого (аллегорические явления, ритуальные действия и появление аллегорических персонажей; например, появление ангелов в «Комедии о Навуходоносоре-царе, о теле злате и триех отроцех, в печи не сожженных» Симеона Полоцкого), с другой стороны, детализирует психологическую сторону переживания действующего лица (так, в иллюстрированном издании 1705 года другой пьесы Полоцкого – «Истории евангельской притчи о Блудном сыне» – много подробных развернутых ремарок: «*Тогда и прелюбодеицы рагахуся ему* [Блудному. – А. З.] *овая гнаше кочергою, овая или воду лияше на него. Он же их бежав "увы глаголет"*» и др. [11: 520]).

Барочная школьная драма активно пользуется ремарками в изображении аллегорических действий. Абстрактный характер школьной драмы, где «человек – «ничейная земля», на которой встречаются и противоборствуют персонификации различных страстей и свойств» [12: 142], требует развернутой системы ремарок, способной реальные сценические поступки представить как отражение глубоких душевных движений героев. Так, в школьной драме Славяно-греко-латинской академии «Ужасная измена сластолюбивого жития с прискорбным и нищетным» диалог между Совестью и Гениушем (Гением) – своего рода аллегорическим отражением главного героя Пиролюбца – представлен как внутреннее борение царя Целюдора. Показательно соотношение экспрессивных и символических ремарок в этой сцене:

***Совесть**: (Совесть стучит в колокольчик и глаголет Целюдору.) Ну, Целюдоре, я вить говорила, ответы нелесны ко тебе творила, а ты мы слушал; знай же сие ныне: скоро ты будешь в смертной године.*

***Целюдор**: (Целюдор яростно Совести глаголет.) Не терзай же утробу, не терзай свирепа, паче всех зол является лепа. Отыди прочь, прошу; долго ль мя терзати, все на меня пропасти зелны провещати.*

***Гениюш**: (Целюдору глаголет.) Дивлюсь тебе, Целюдоре, что не велиш програнти, ис полат бо ваших по шее толкоти. Долго ль ей пронат ти утробу? Скоро сам подщися согнат ту до гробу.*

***Совесть**: (Совесть стучит в колокольчик и глаголет Гениюшу.) Убережься и сам с ним, воскоре погенешь, печал бо несносную нечаянну приимеш. Смерть бо его горькая по гробе положит (Указует на Целюдора), токо крове савона савсем изубочит* [13: 176-177].

Вместе с тем очевидно, что ремарки в семантической структуре школьной драмы во многом механически передают оттенки человеческих страстей.

В ранней русской классицистической драматургии идет постепенное освоение традиции западного классицизма, отражающееся, в частности, в стремлении придать ремаркам самостоятельное эмоциональное значение, регламентированное характером драматического конфликта. На этом этапе ремарки не только выполняют свою основную, формальную функцию – определяют состав актантов отдельных сцен, – но и составляют отдельный семантический контрапункт пьесы.

Ремарка у Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского аскетична в коммен-

тировании поступков и эмоций героев, и в то же время выразительно передает сильные накалы страстей. Психологическая ремарка в четко выстроенных диалогических отношениях персонажей возникает тогда, когда диалог заходит в тупик (часто встречаются ремарки, описывающие поединок или порыв к поединку: *«хватается за шпагу»*, *«сражаются»*, *«разнимают»*). Ремарка фиксирует либо шаг одного из героев к прощению *(«падает на колени»)*, либо крайнюю степень аффекта, когда герой лишается чувств, либо – одна из самых частотных ремарок драматургии этого типа – в ситуации порыва к самоубийству как к предельной степени утверждения принципа личной свободы персонажа в неразрешимом конфликте. В трагедиях М.В. Ломоносова, в частности, ремарка строго структурирована. В текстах полностью отсутствуют ремарки, сообщающие о переживаниях персонажей. Диапазон авторских вторжений ограничен обозначением состава актантов, их физического состояния в неординарных ситуациях *(«ослабевая»)*, действия в конфликтных ситуациях *(«вынимает саблю»*, *«на колени становится»*, *«хочет заколоться»*). Примечательно, что ремарка дополняет действие персонажа, уже заявленное в его фразе, а не постулирует неожиданный поворот событий.

Стабильное однообразие лексического состава ремарок раннего классицизма, вероятно, вызвано, кроме прочего, такими их свойствами, как «избыточность» и «парность», остававшимися неизменными на протяжении всего периода. Цитата из сумароковской «Семиры» позволяет видеть, как «избыточные» ремарки в лексико-фразеологическом плане дублируют сами себя и реплики персонажей:

Олег
Отдай свой меч. Поди отсель во мглу темницы!
Ростислав
отдавая меч Олегу, который меч ево отдает потом воинам.
Се меч, разширившій отечества границы,
Поящий кровию стран киевых пески.

[14: 32].

Но в еще большей степени лексические повторы обусловливаются параллелизмом ремарок, симметрия которых в трагедиях Ломоносова была, скорее, правилом, чем исключением. Так, в сцене поединка Мамая и Селима повторяются ремарки: *«вынимая саблю»*, *«разнимая»*, *обращения «к Селиму»/ «к Мамаю»* [15: 57]. По мнению В.В. Сперантова, «параллелизм «жестов», равно как и параллелизм эпизодов, мог иметь и соответствующее сценическое воплощение, проявлявшееся в расположении актеров на сцене» [5: 13]. Так или иначе, парные ремарки позволяли разделить участников сценического ансамбля на минигруппы в пределах одной мизансцены.

В отдельную группу выделяются ремарки, повествующие о неожиданных звуках и шумах за сценой. Так, в сумароковском «Мстиславе» об убийстве героя должен возвестить звук трубы — тот самый «трубный глас», который станет метонимической характеристикой жанра. Из-за кулис могут также раздаваться звон мечей, пальба, крики, топот и шум народа.

По словам Г.А. Гуковского, «Сумароков построил свою трагедию на принципах крайней экономии средств» [16: 69], которая распространяется на весь вспомогательный аппарат пьесы, включая ремарки. Характерологических ремарок у ранних классиков нет или почти нет: авторы не склонны доверять

невербальным элементам информацию о душевном состоянии героя, который рассказывает о своих страданиях сам, или это делает за него другой. Единичные случаи фиксации эмоций в ремарках кажутся стилистическим диссонансом: так, в «Артистоне» Сумарокова *«воин <…> входит в царской дом к Федиминой досаде»* [17: 47.]. Большинство ремарок очерчивает узкий круг «обязательных предметов» и «жестов». К числу первых принадлежат, например, доспехи героя (его меч, кинжал, шпага, сабля, копье, щит, шлем…) или «царская утварь» (скипетр, порфира, диадима, корона, бармы…). Ко вторым – извлечение оружия с целью угрожать или «поразить» кого-либо, а также передача письма, играющего важную роль в завязке или развязке. Многие ремарки описывают перемену физического положения героя: он может сесть, встать, пасть на колени, броситься в кресла и т. д. Почти каждый «жест» имеет конверсивную пару: *«становится на колени – поднимает его»; «хочет идти – останавливает его»; «вруча письмо – взяв письмо»; «взнося кинжал – вырывая кинжал»*. Здесь сказывается вышеупомянутый параллелизм ремарок.

Авторы первых классических русских трагедий избегают и такого распространенного театрального приема, как пауза. Строгость содержания требует однозначности трактовок состояний и поступков героев. Стилистический аскетизм раннего классицизма в России во многом связан с формализацией драматического текста, с новым типом театральной условности. Это сознательный отказ авторов от элементов, поясняющих ход действия, характер взаимоотношений персонажей и их психологическое состояние. Это повышение формы театральной условности на новом этапе жизни театра. В текстах трагедий Ломоносова и Сумарокова этот прием противостоит традиции сопроводительных повествовательных тексов, дублировавших сюжет постановки, но лишенных внешних признаков драматической текстовой формы. С помощью сопроводительных текстов «за пределами спектакля преподносится целый дискурс относительно постановки с текстом пьесы, заметками режиссера. Несмотря на необходимость этого критического комментария, опасность состоит в том, что восприятие становится слишком запрограммированным, буквально говорится о том, что зритель должен чувствовать во время просмотра постановки, а это вносит фальшь в игру и портит удовольствие» [18: 254].

В школьном театре роль эпической проекции отводилась программкам. Они сопровождали многие пьесы («Ужасная измена сластолюбивого жития», «Страшное изображение второго пришествия» и др.), а от важных для истории драматургии постановок школьного театра «Царство мира», «Торжество мира православного», «Божие уничижителей гордых унижение» вообще остались только программки. В эпоху, близкую к постановкам пьес, программки были чрезвычайно распространены в оперной драматургии. По сохранившимся документам с высокой степенью подробности мы можем себе представить движение сюжета оперы и характер сценического действия в театре елизаветинской эпохи. Например, программка спектакля «Милосердие Титово», помимо списка действующих лиц, предлагает синопсис спектакля, начинающийся словами: «Театр является в темности чуть светлой и представляет запустелую страну…» [19: 54-64]. Условность театрального действия заставляет дополнительно расшифровывать внесценическое содержание.

В контексте постоянного сосуществования с музыкальной драматургией и музыкальным театром классицистическая драма, отказываясь от развернутых

ремарок, тем самым демонстративно уходит от подробной аллегорической описательности, характерной для предшествующей традиции школьной драмы, и развернутых живописаний оперных либретто и синопсисов. На первый план в этот период выходит иная актантная модель. Стихотворная драма классиков намеренно сокращает до предела использование повествовательных, эпических элементов в структуре ремарок и в диалоге в целом.

Трагедийные герои идеального прошлого, образ действий и поступков которых строго регламентирован неизменными чертами характера, в повседневном общении предельно собраны и эпичны – их действия не нуждаются в дополнительном авторском комментарии. Их образ действий оправдан чертами характера. Лишь в экспрессивных ситуациях и переломных моментах сюжета автор использует ремарку, тем самым подчеркивая запредельный уровень эмоционального накала. Минимализм ремарок работает и на формирование четкого типа классической героики.

Лаконизм использования арсенала формальных элементов в соотнесенности со строгой текстовой структурой позволяет в кульминационные моменты драматургических текстов достигать впечатление высокой экспрессии при минимуме выразительных средств. Минимализм ремарок ранней классицистической драматургии Ломоносова и Сумарокова, принципиальный для нового типа трагедийного сюжета, создают базу для формирования более разветвленной, структурированной, семантически сложной системы функционирования ремарок в драматургии последующих десятилетий.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Балухатый, С. Проблемы драматургического анализа: Чехов. – Л., 1927.

2. Шервинский С.В. Ремарки в «Борисе Годунове» Пушкина // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1971. – Т. XXX. – Вып. 1. – С. 62-71.

3. Ищук-Фадеева Н. И. «Борис Годунов» А. С. Пушкина и «Ревизор» Н. В. Гоголя: (К истокам трагикомедии) // Филологические науки. – 1990. – № 3.

4. Dahms, G. H. Funktionen der Ascriptionen zum Sprechtext im russischen Drama von 1747 bis 1903: Eine Typologie. Bonn, 1978.

5. Сперантов В.В. Поэтика ремарки в русской стихотворной трагедии XVIII – начала XIX века: К типологии литературных направлений // Philologica. – 1998. – Т. 5. – № 11/13.

6. Маген Ж.-М., Маген А. Шекспир. – Ростов/н/Д, 1997.

7. Вроон Р. К истокам циклизации стихотворных панегириков в эпоху русского барокко // Текст. Интертекст. Культура. – М., 2001.

8. Сазонова Л.И. Литературная культура России. Раннее Новое время. – М., 2006.

9. Русская драматургическая сатира XVII века. – М., 1954.

10. Первые пьесы русского театра. – М., 1972.

11. Ровинский Д. Русские народные картинки: В 5 кн. – СПб. 1881. – Кн. 4.

12. Одесский М.П. Поэтика русской драмы: последняя треть XVII – первая треть XVIII в. М., 2004.

13. Пьесы любительских театров. – М., 1976.

14. Сумароков А. Семира. – [СПб.], 1768; Сумароков А. Ярополк и Димиза. – [СПб.], 1768.

15. Ломоносов М. Тамира и Селим. – СПб., 1750; Ломоносов М. Демофонт. – СПб., 1750.

16. Гуковский Г. О сумароковской трагедии // Поэтика: Временник Отдела Словесных Искусств Государственного Института Истории Искусств. – Л., 1926. [Вып. I]. – С.67-80.

17. Сумароков А. Синав и Трувор. – СПб., 1751; Сумароков А. Артистона. – СПб., 1751.

18. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.

19. Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны: Документальная хроника. 1741-1750. – М., 2003. – Вып. 2. – Ч. 2.

М.В. Покачалов,
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова

TERRA INCOGNITA: АТЛАНТИДА В ТВОРЧЕСТВЕ В.Я. БРЮСОВА И Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО

В статье анализируются произведения Брюсова и Мережковского в свете их историко-культурных концепций. Особое внимание уделено интерпретации этими авторами платоновского мифа об Атлантиде и художественным символам, которые используют писатели. Трактовка писателями событий ранней античной истории представлена в контексте современной им действительности.

Maxim Pokachalov

TERRA INCOGNITA: ATLANTIS IN THE V.YA. BRUSOV'S AND D.S. MEREJKOVSKIY'S CREATIVE WORK

Abstract

Author analyses Brusov's and Merejkovskiy's creative work in the light of their concepts of history and culture. The images of Plato's myth and their art methods of realization are specially enlighted in the article. It is shown that Brusov and Merejkovskiy consider the events of early ancient history in the context of contemporary reality.

Проблема генезиса древних цивилизаций, смены культурных эпох и их преемственности оказалась в числе ведущих в творчестве ряда поэтов и прозаиков эпохи Серебряного века, прежде всего, символистов. Обращаясь к событиям отдаленного прошлого, они пытались найти в них разгадку на мучившие их проблемы современности. Отсюда интерес символистов к кризисным, переломным эпохам, когда менялся сам тип культуры. Типологически близкими своей эпохе они считали Эгейскую культуру, открытую А. Эвансом, эллинизм, Рим периода упадка. Истоки же всей мировой цивилизации русские символисты видели в легендарной Атлантиде Платона, в былое существование которой свято верили. Тема гибели могущественной некогда цивилизации, описанной в диалогах греческого философа, дала колоссальный творческий импульс поэтам и мыслителям и побудила их к созданию целого ряда теоретических и художественных произведений. При этом у каждого из них была «своя» Атлантида – образ древней цивилизации тесно связан с философскими, религиозными, эстетическими представлениями конкретного автора.

Тема расцвета и гибели легендарной цивилизации Платона наибольшее выражение нашла на страницах произведений старших символистов – Валерия Брюсова и Дмитрия Мережковского, именно об их творчестве и пойдет речь.

Интерес к прародине человечества возник у Брюсова уже в юношеские годы и оставался стойким на протяжении всей жизни. Тема Атлантиды отражена в его драмах «Земля» и «Гибель Атлантиды», в стихотворениях «Лему-

ры», «Атлантида», венке сонетов «Светоч мысли», поэтических циклах, посвященных древнейшим мировым культурам (например, «Отзвуки Атлантиды»), в драматическом этюде «Пифагорейцы» и в обширном историко-культурном исследовании «Учители учителей». Свидетельством одного из самых ранних обращений к данной проблематике следует считать рукописные наброски поэмы «Атлантида» [1]. Последние относятся ко времени, предшествовавшему открытию Артуром Эвансом Эгейской культуры, которую ряд исследователей отождествлял с легендарной працивилизацией или видел в ней одну из ее колоний.

Уже в драме «Земля» (1904), обращенной в отдаленное будущее, Брюсов широко излагает свою концепцию развития мировых культур из одного корня. Образ Атлантиды незримо присутствует в тексте произведения: имена почти всех героев содержат сочетание звуков «атл» или близкое к ним; во второй сцене второго действия фигурирует «Атлантова зала», а в четвертой сцене третьего действия Дух последней колдуньи сообщает о «вещих книгах, написанных на языке атлантов» [2].

В первом сонете «Атлантида» венка сонетов «Светоч мысли» (1918) Брюсов, опираясь на тексты диалогов Платона и эзотерическую традицию, вскрывает основы преемственности всех мировых культур. Этими основами является, по мнению поэта, человеческая мысль, знания, передающиеся от одной цивилизации другой:

Впервые светоч из священных слов
Зажгли Лемуры, хмурые гиганты;
Его до неба вознесли Атланты.

Он заблистал для будущих веков,
И с той поры все пламенней, все шире
Сияла людям Мысль, как свет в эфире [3].

Далее лучи Мысли «лились чрез океан – из Атлантиды в души разных стран» (III, 383). Сам процесс последовательной смены культур подробно изложен Брюсовым в одноименной статье 1918 года [4].

Научное исследование Брюсова «Учители учителей» (1917) стало своего рода резюме его культурологических поисков по вопросам истории древнего мира. В данном произведении мыслителем разработана концепция генезиса культурных циклов. Всю историю человечества он делит на четыре этапа: Атлантиду, Раннюю Древность, Античный мир, Современный мир. Внимательно изучив разного рода аналогии в материальной и духовной культуре народов прошлого, особенно эгейцев и египтян, Брюсов приходит к выводу, что в их основе лежит общее начало.

Первоначально работа «Учители учителей» задумывалась как цикл лекций по культуре древнейших цивилизаций. Каждую свою лекцию Брюсов неизменно заканчивал чтением стихов. Раздел «Отзвуки Атлантиды» поэтического сборника «Сны человечества» (1916–1917) явился своеобразной иллюстрацией к культурологическому исследованию.

Все произведения раздела связаны с темой прародины человечества. В контексте настоящей работы наиболее интересно стихотворение «Город Вод», в котором перед читателем предстает столица Атлантиды. Брюсов, по сути, мог опираться только на два диалога Платона, где описывается политический и

духовный центр атлантов. Вера поэта в литературное предание древнегреческого философа оказалась сродни вере Генриха Шлимана в гомеровское сказание о Трое. Автор «Отзвуков...» поэтизировал диалоги, придав им новую форму и звучание, при этом сохранив без изменений основные факты, приведенные греческим философом. «Мглы векового тумана» и «сумрак безмерных глубин» скрывают от нас прародину мировых культур, ибо «было то – утро вселенной» (II, 318). Воссозданные Брюсовым картины Атлантиды и ее столицы во многом напоминают описание «золотого века» человечества Гесиодом и другими античными авторами, когда «люди жили, как дети, с верой в волшебные сны» (II, 318).

Город Вод достиг военного могущества:

Был он – как царь над царями.
Все перед ним было жалко:
Фивы, Мемфис, Вавилон... (II, 319).

При этом Город находился на высочайшей ступени культурного развития:

Тот, где издавна привыкли
Чтить мудрецов; где лежали
Ниц перед ними цари;
Тот, где все знанья возникли,
Чтоб обессмертить все дали
Благостью новой зари! (II, 319).

Атлантам были открыты все таинства и знания:

Все, что возможно, постигли
Первые дети Земли (II, 320).

Однако за внешним могуществом и величием скрыт упадок и декаданс – жители Атлантиды исчерпали свой духовный ресурс, перешли грани нравственного совершенства. Согласно Платону, атланты посягнули на определенные божественные законы, подобно библейским Адаму и Еве. Рационалист Брюсов говорит о дерзости их молодых умов и стремлении к запретным целям. Стихии, по воле свыше, уничтожили в пламени и воде колыбель мировых культур, положив конец «золотому веку» на Земле:

Пламя, и дымы, и пены
Встали, как вихрь урагана;
Рухнули тверди высот;
Рухнули башни и стены,
Все, – и простор Океана
Хлынул над Городом Вод! (II, 320).

Брюсов описывает гибель Атлантиды, но общая композиция данного поэтического цикла снимает трагический пафос стихотворения «Город Вод». На смену теме исчезновения працивилизации приходит идея бессмертия культур, продолжающих существовать в последующих веках через свои коды и символы.

Итак, для Валерия Брюсова Атлантида явилась, прежде всего, историко-культурным феноменом: поэт не просто верил в ее существование, но доказывал это на страницах своих произведений. Атлантида стала первым и важнейшим звеном в цепи последовательно сменявших друг друга культур, своего

рода, краеугольным камнем брюсовской концепции.

Несколько в ином ракурсе рассматривал проблему существования и гибели працивилизации современник Брюсова Д.С. Мережковский.

В художественной прозе и трактатах Мережковский реализовывал на практике свою религиозно-мистическую концепцию борьбы двух противоположных начал, всегда существовавших, по его мнению, в мировой истории – язычества и христианства. Результатом этого противостояния должен стать некий мистический синтез – религия Третьего Завета. Ключевой для понимания сути теории автора является его идея о наличии в древнейшей истории человечества элементов предвосхищения христианства, своего рода, «христианства до Христа». Этой идее подчинен сюжет целого ряда произведений Мережковского. Ареной взаимодействия язычества и протохристианства становится и легендарная цивилизация Платона в позднем историко-культурном эссе «Атлантида – Европа: Тайна Запада» (1930).

Взгляд Мережковского обращен сразу в прошлое, настоящее и будущее. Это объясняется кризисностью исторического момента, в который создавалась работа. Человечество еще не оправилось от последствий Первой мировой войны, а уже стояло на пороге второй [5]. И Европа, и Россия как никогда близко подошли к пропасти, Мережковский же, находясь в эмиграции, чувствовал это в полной мере.

Образ Атлантиды для писателя-символиста многозначен. Это и погибшая древняя цивилизация, колыбель мировой культуры, и символ прошлых и будущих катастроф в истории человечества, а значит, вечное ему предупреждение. Европа и Россия XX века – это новая Атлантида, утратившая свои нравственные идеалы, веру в Бога. Платоновская Атлантида прошла эволюцию от мирной, идеально устроенной на божеских заветах цивилизации – «золотого века» на земле – до милитаристского общества современного типа, забывшего собственные моральные основы в угоду сиюминутной выгоде. Слишком хорошо были знакомы изгнаннику Мережковскому и реалии нового советского государства с его подменой коммунизма духовного коммунизмом военным: судьба второго человечества (Европы) слишком напоминала судьбу первого (Атлантиды). Миром атланты начали – закончили войной – эта мысль становится лейтмотивом всего произведения. Две стадии развития прошла Атлантида, «два века – золотой и железный, мирный и военный» [6]. Десять царей могущественной державы приняли решение начать войну за мировое господство. Мережковскому все это напоминает современную ему Европу, лидеры государств которой, не спрашивая воли народа, развязывают войны и заключают мир по своему усмотрению.

На вопрос, что стало причиной гибели Атлантиды, писатель отвечает однозначно: война. Но она стала возможной только из-за духовной деградации, уничтожения божественного в человеке. «“В мире жить, никогда не подымать друг на друга оружия” – главный закон, самим Богом начертанный не только на орихалковом столбе Закона, но и в сердцах человеческих, люди нарушили: вечный мир кончили, начали вечную войну – вот преступление атлантов» [7]. О воинственности атлантов писал еще молодой Брюсов:

Почти уж год, как мчится по Европе
Ужасный слух... От Запада плывут
Безвестные, ужасные пришельцы –

Воители, всесильные в бою.
Уж покорен весь край близ Геркулесов,
Уже сдалася не одна страна,
Теперь Гесперия заметно гибнет.
И к городам Сицилии все ближе
Таинственный неумолимый враг.
Откуда он? Кто эти люди? [8].

Бесконечная бойня, война всех против всех станет единственной перспективой человечества, если оно не прислушается к голосу разума, совести и Бога. Весьма показателен эпиграф, выбранный Мережковским к своему эссе-предостережению: «Если не покаетесь, все так же погибнете» (Лука. XIX, 3).

Атлантида и древнейшие цивилизации прошлого, которые писатель рассматривает как духовных наследниц первой, еще не знали христианства, а современные европейцы, по мнению Мережковского, его уже не знают. Религия Христа, в том виде, в каком она подошла к началу XX века, – это «умирающий свет Атлантиды», она постепенно утратила свое прежнее значение и влияние. Между тем, Мережковский, анализируя древнейшие религиозные культы, говорит, что людям первых цивилизаций уже являлся страдающий Бог-Сын. «Христианство до Христа» увидел он в Атлантиде и ее дочерних культурах. Он даже дает этой своеобразной религии название – «атлианство» или «критианство». Последнее связано с Критом, сакральный символ которого двусторонний топорик лабрис Мережковский рассматривает как прообраз креста. Именно Крит он считает «Атлантидой в Европе». Мережковский сквозь яркие художественные образы открытой на рубеже столетий Эгейской (Крито-Микенской) культуры передает ее мирный, невоинственный характер, отличавший до поры до времени и атлантов [9]. И все же, по словам автора эссе, «критяне, так же как атланты, начали миром, кончили войной... Кроткий Телец-Жертва сделался лютым быком Минотавром, пожирателем человеческих жертв» [10]. Наследники атлантов не погибли все разом, часть их спаслась, чтобы передать грядущим векам тайну Креста, – такой виделась Мережковскому логика истории. Выстраивая схему «Атлантида – Крит – Европа», писатель возводит современную нам европейскую культуру к эгейской, а ее – к культуре «первого человечества» – атлантов.

Атлантида погибла, по мнению Мережковского, не сумев сделать верный выбор между духовным и плотским началом, между миром и войной. Отголоски этой катастрофы дошли из глубины тысячелетий до Европы XX века. Удержать Европу и Россию на краю пропасти, не позволить сорваться в бездну «второму человечеству» – в этом видел свою задачу автор эссе. Живущим в XXI веке ясно, что речь идет уже не об исчезновении той или иной цивилизации, а о возможной катастрофе планетарного масштаба.

Итак, проблема Атлантиды и ее трагической гибели нашла выражение в поэзии и прозе русских символистов Валерия Брюсова и Дмитрия Мережковского. При этом трактовка образа древней цивилизации у данных авторов была различной. Брюсову, представителю эстетического направления в символизме, свойственны просветительские воззрения, научный, рационалистический подход к осмыслению бытия. Атлантида явилась для него подлинным «светочем мысли», историко-культурным феноменом, исходным пунктом человеческой истории, первым неповторимым звеном в цепи мировых культур. Цивилизация, воспетая Платоном, раскрыла весь свой творческий потенциал и сошла

с исторической арены, уступив место своим духовным преемницам. Атланты, «учители учителей» брюсовской концепции, заронили в землю семена знаний, которые взошли в последующие эпохи.

В религиозно-мистических построениях Мережковского Атлантида предстает прежде всего духовным феноменом, некой моделью бытия, находящейся вне времени и пространства. Это некий ориентир, с которым корабль человечества должен постоянно сверять свой курс. Исходя из анализа текста писателя, можно заключить, что Атлантида должна была погибнуть, чтобы предостеречь все последующие поколения живущих на земле. В этом плане хорошо понятны слова Мережковского о том, что мы живем смертью атлантов, спасаемся их гибелью. Атлантида погибла, духовно развратившись, утратив представления о добре и зле. Страшным итогом этой утраты стала война.

Сближает же двух представителей эпохи Серебряного века попытка разгадать будущее, постичь его тайны через коды и символы ушедших эпох. Перед лицом этого неопределенного будущего человечество, на взгляд и Брюсова, и Мережковского, должно объединиться на основе своего духовного родства.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: РГАЛИ. Ф. 56. Оп. 3. Ед. хр. 16; РГБ. Ф. 386. Карт. 14. Ед. хр. 5/8. Частично текст набросков представлен в статье: Ларцев В.Г. Брюсов об Атлантиде // Труды Самарканд. ун-та. – Самарканд, 1964. – Вып. 153; Вопросы истории и теории литературы. – С. 223–235. См. также: Из неизданных и несобранных стихотворений / Публ. Р.Л. Щербакова // Литературное наследство. – Т. 85. – М., 1976. – С. 42.

2. Брюсов В.Я. Огненный ангел: роман, повести, рассказы. – СПб., 1993. – С. 848.

3. Брюсов В.Я. Собр. соч. В 7 тт. – М., 1973–1975. – Т. 3. – С. 383. Далее в круглых скобках ссылки на данное издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

4. См.: Брюсов В.Я. Смена культур / Публ. К.С. Герасимова // Брюсовский сборник. – Ставрополь, 1977. – Вып. 3. – С. 168–182.

5. О взглядах Мережковского на проблему сохранения нравственных ценностей во время войны см.: Мережковский Д.С. Война и культура / Вступ. ст., публ. и коммент. Л.А. Сугай // Литературная учеба. – 2000. – Кн. 1. – С. 174–176.

6. Мережковский Д.С. Атлантида – Европа: Тайна Запада. – М., 1992. – С. 53.

7. Там же. – С. 126.

8. РГАЛИ. Ф. 56. Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 15. Публикация Р.Л. Щербаковым текста начала поэмы в «Литературном наследстве» дается по автографу одного из вариантов, хранящемуся в фонде Брюсова в ОР РГБ. Рукопись РГАЛИ дает возможность уточнить ряд позиций брюсовского текста, восполнить пропуски, встречающиеся в автографе РГБ. Ср.: Брюсов В.Я. Атлантида // Литературное наследство. – М., 1976. – Т. 85. – С. 42.

9. Особенности Эгейской культуры в полной мере раскрыты Мережковским в повести «Рождение богов. Тутанкамон на Крите» (1925). См.: Мережковский Д.С. Собр. соч. В 4 тт. – М., 1990. – Т. IV. – С. 261–367.

10. Мережковский Д.С. Атлантида – Европа: Тайна Запада. – С. 207.

В.И. Стрельцов,
Московский институт духовной культуры

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И СОВРЕМЕННИКИ В.Г. БЕЛИНСКОГО О СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР

Аннотация

В статье утверждается идея о том, что при решении проблемы о предшественниках компаративизма в Европе и в России не следует забывать, что интерес к сравнительно-типологическим взаимоотношениям обнаруживается едва ли не с тех пор, как существует сама художественная словесность, устная или письменная. Поэтому, по мнению автора, нельзя отрывать анализ современных литературоведческих проблем от генетических корней литературного явления.

Vladimir Streltsov

BELINSKY'S PREDECESSORS AND CONTEMPORARIES ABOUT COMPARING TYPOLOGICAL RELATIONS BETWEEN NATIONAL LITERATURES

Abstract

In the article an author insists on the idea, that solving the problem of predecessor's comparing in Europe and in Russia, one should remember that the interest to comparing typological relations detected perhaps since fiction insists. Therefore in author's opinion we can't start analysing contemporary literature problems detaching it from genetic roots of a literary event.

Исследователями давно отмечалось, что между литературами существуют связи, схождения, аналогии, совпадения, соответствия, которые невозможно объяснить только влияниями. Типологические схождения зачастую переплетаются с явлениями, относящимися к области влияний и источников. Так, появление разнообразных литературных течений и школ, которые относятся к области типологических схождений, обусловлено также и влияниями, выступающими в качестве дополнительного стимула. Поиск общности по типологическому сходству практиковался ещё в древнюю пору и стал весьма распространённым риторическим упражнением в различных поэтических и философских школах. Плутарху (45-127 г.г. н.э.) принадлежит наивысшая заслуга возведения этого метода в ранг литературного жанра в его знаменитых «Сравнительных жизнеописаниях». Античный писатель выстраивает последовательную цепь из 23-х пар исторических лиц: греков – римлян – Демосфена и Цицерона, Перикла и Фабия Кунктатора, Александра Великого и Цезаря, Алкивлада и Кориолана и т.д. Эти параллельные жизнеописания (биографии) строятся по одной и той же историко-повествовательной схеме, позволяющей выявить схождения и различия между историческими деятелями и сделать общее заключение об их нравственном облике.

Более близка к истории европейской компаративистики знаменитая полемика между сторонниками «древних» и «новых», протекавшая в 1683-1719

годы. Её участники – такие известные деятели культуры, как Перро (1628-1703) и Буало (1636-1711), противопоставляли литературные, художественные и научные достижения двух великих эпох в истории человечества – античности и современного мира. Фонтенель в знаменитом своём творении «Свободное рассуждение о древних и о современниках» (1688) доказывал, что античность – всего лишь детская пора человечества, а современная эпоха – период его зрелости. Он предсказывал, что настанет время, когда творения эпохи Людовика XIV будут оцениваться не ниже античных. Спор «древних и новых», хотя и не представляет типической фазы развития научного компаративизма, тем не менее, является убедительным примером использования сравнительно-типологического метода исследований, благодаря которому были выявлены некоторые общие моменты, свойственные двум эпохам.

Действительно, при решении проблемы о предшественниках компаративизма в Европе и в России не следует забывать, что интерес к сравнительно-типологическим взаимоотношениям обнаруживается едва ли не с тех пор, как существует сама художественная словесность, устная или письменная. Его проявления можно проследить не только у Плутарха, но и у Аристотеля [1], у мыслителей эпохи Средневековья и Возрождения, у Гердера [2] и Гёте, Канта и Гегеля, Надеждина [3] и Белинского, – а затем уже – у Бенфея, Буслаева, Пыпина [4], Александра Веселовского и Алексея Веселовского [5]. Предыстория сравнительно-типологических связей высвечивает образы Данте и Бруно. Актуально, например, для сегодняшнего времени признание Данте из его трактата «О народной речи»: «Оттого и бывает, что чем ближе мы им (великим поэтам. – В.С.) подражаем, тем более правильные создаём поэтические произведения». Это ли не далёкое предвосхищение вопроса о преемственных связях в литературе?!

Можно привести многие примеры типологического схождения логики мышления В.Г. Белинского (1811 – 1848) и европейских мыслителей. Так, тонко чувствует Белинский важную сторону изображения особенного предмета искусства – воссоздание не только общего и особенного в нём, но и единичного, без чего не может быть художественного образа во всей его полноте. Здесь Белинский обращается к создателю «Человеческой комедии» – Бальзаку. В 1830-е годы, утверждая необходимость сравнительного метода в науке о литературе, В.Г. Белинский считал, что сама природа вещей требует этого явления. Утверждение это соответствует истине, ибо типологические схождения – не субъективное построение человеческой мысли, они объективно существуют в действительности, и исследователи обязаны выявлять их и научно обосновывать. Все формы типологических схождений носят, в основном, исторический характер, – всей сущностью своей они связаны с соответствующими историческими эпохами. Однако сравнительное литературоведение не должно ограничиваться исследованиями только исторических типологических схождений. Есть немало литературных явлений, разделённых огромными пространством и временем, но удивляющих поразительным сходством, которое никоим образом невозможно объяснить близкими социальными или историческими условиями. В.Г. Белинский в таких случаях объясняет сходство типологических явлений «духовным родством» их создателей.

Если же изучать более подробно отечественные корни этого литературного явления, то следует обратиться, прежде всего, к одному из ярких предста-

вителей литературной жизни XVIII века Феофану Прокоповичу (1681-1736). Так, размышляя о происхождении поэтического искусства и его необходимости, Феофан Прокопович считал необходимым даже даровитым в поэзии людям иметь наставников, т.е., говоря современным языком, опираться на опыт своих предшественников, сохранять преемственную с ними связь. В трактате «О поэтическом искусстве» примером для подражания он предлагал избрать Торквато Тассо.

После смерти Прокоповича в 1739 году, Ломоносов (1711-1765), продолжая традиции развития межлитературных связей в области поэзии, предлагает подражать «грекам и римлянам». В той или иной форме литературными взаимоотношениями в XVIII веке, помимо Ломоносова, интересовались и Кантемир (1708-1744), и Сумароков (1717-1777), и Тредиаковский (1703-1768), и Новиков (1744-1818), и Радищев (1749-1802), – что было связано с активной переводческой деятельностью и не менее активным освоением богатств европейской культуры. Так, например, А.Д. Кантемир не раз и в стихах, и в прозе отмечал разного рода связи между литературными явлениями, задумывался при этом и о своей личной преемственности по отношению к предшественникам. Кантемир вполне осознанно относил себя к тем поэтам сатирического направления, кто шёл вслед за Ювеналом и Горацием. Последовать «писателям великим» (Тассу, Ариосто, Шекспиру, Расину, Мольеру и другим) призывал А.П. Сумароков. Несколько позже Н.И. Новиков писал, что для развития и совершенствования художества следует представлять себе все опыты своих предшественников.

Поучительно мнение Н.М. Карамзина (1766-1826), свидетельствующее о понимании им природы преемственных связей в развитии литературы. По его мнению, римляне учились у греков так, как мы учились у греков и римлян. То есть идея хронологической преемственности в развитии литератур и связей между писателями разных стран для Карамзина особенно показательна. История развития мировой поэзии виделась ему как преемственный путь от Гомера, Софокла и Эврипида к Вергилию, Овидию, Оссиану и Шекспиру, Геснеру и Клопштоку. Он признавался, что сам имел в голове некоторых иностранных авторов; сначала подражал им, но после писал уже своим ни от кого не заимствованным словом. Словно развивая мысли Карамзина по данной проблеме, Жуковский (1783-1852) уже в 1811 году пишет о том, что со стороны оригинальности преимущество древних перед нами ощутительнее, – обрели бы мы употребляемые нами формы, когда бы ни греки, ни римляне до нас не существовали – в этом можно, по крайней мере, сомневаться. Показательны также раздумья о молодой русской словесности в её отношении к другим литературам И.В. Киреевского (1806-1856). Как бы развивая мысли Жуковского, в «Обзоре русской словесности за 1829 год» он писал, что всякое подражание по системе холодно и бездушно. Только подражание из любви может быть поэтическим. Против подражания «без любви» были направлены содержательные, полные полемического задора статьи В.К. Кюхельбекера (1797-1846). Особенно остро В.К. Кюхельбекер выступал против подражательности в поэзии.

Теоретическое обоснование этого явления можно найти позднее в особой теории литературного направления, которая будет разработана Кс. Полевым и полемически заострена в работах его современников, среди которых особое место занимает Адам Мицкевич (1798-1855). Мицкевич не раз затрагивал воп-

росы типологических взаимосвязей национальных литератур в своём известном курсе лекций о славянских литературах, который он читал в Париже в 1840-1844 годы, отмечая в том числе интерес Пушкина к творчеству Байрона и Вальтера Скотта. Подобных примеров можно привести множество, и все они достаточно убедительно подтверждают мысль о наличии сравнительно-типологических связей задолго до второй половины XIX столетия, которой, по традиции, отдают предпочтение в зарождении и развитии этого литературного явления. Конечно, особенно возрастает внимание к литературным связям национальных литератур к концу XVIII- началу XIX века. Это свойственно, например, Гердеру, Гёте, Карамзину, Пушкину, Мицкевичу и многим другим. Но не следует отрывать само литературное явление от его генетических корней, ибо это не даст положительных результатов.

Рассматривая проблемы сравнительно-типологических связей национальных литератур в контексте европейской эстетики, следует обратить особое внимание на тот факт, что многие идеи Белинского по этим проблемам были подготовлены в большей степени взглядами Н.И. Надеждина (1804-1856) на современное искусство как на торжество «действительности», в противовес античному классицизму и средневековому романтизму. Эти мнения Надеждина выражены в его научной диссертации о романтической поэзии и в его статьях в журнале «Телескоп» (1831-1836). Тезисы диссертации Надеждина гласили о том, что романтическая поэзия окончила своё существование и сейчас не существует; период романтической поэзии ограничен временем, носящим название Средних веков, – восстановление романтической поэзии в наше время невозможно».

Здесь ощутимы типологические схождения позиций Надеждина и Белинского по проблемам исторических судеб романтизма. Белинский почти буквально повторяет мысли своего предшественника по решению проблемы сравнительно-типологических связей национальных литератур. Вслед за Надеждиным он утверждает, что современное искусство не может при помощи субъективного чувства и воображения или романтической стилизации вернуться к прежним, уже отжившим художественным идеалам. Но среди многих романтических представлений о мире и искусстве, усвоенных современниками Белинского (мир – это дыхание идеи, развившейся до человека; добро и зло – это нравственная жизнь идеи; литература – воспроизведение духа народа; цель искусства – воспроизводить идею всеобщей жизни, – и в то же время: поэзия не имеет цели вне себя и т.д.), у Белинского уже в «Литературных мечтаниях» (1834) намечаются более устойчивые представления, которые затем пройдут сквозь всё его развитие и вырастут в сознательное убеждение. В то же время на страницах его «Литературных мечтаний» можно обнаружить важные типологические совпадения с работами и идеями Н.И. Надеждина. По признанию Белинского, Надеждин первый сказал и развил истину, что поэзия нашего времени не должна быть ни классическою (ибо мы не греки и не римляне), ни романтическою (ибо мы не паладины Средних веков), но что в поэзии нашего времени должны примириться обе эти стороны и произвести новую поэзию. То есть это высказывание не оставляет никаких сомнений в том, что традицию сравнительно-типологической литературной систематизации Белинский воспринял главным образом от Н.И. Надеждина. Это потом и предопределило и характер усвоения Белинским гегелевской исторической системы. От Надеж-

дина Белинский воспринял способность улавливать своеобразие творческого метода, его индивидуальные особенности и интуицию воссоздания не похожих друг на друга героев в их типологическом контексте. Ещё в рецензиях первой половины 1835 года молодой критик перенимает некоторые излюбленные идеи и формулы своего наставника, осмысливая их типологическую величину и значимость. Он, например, так же, как Надеждин, выдвигает на первый план Вальтера Скотта и жанр исторического романа; повторяет формулу «где жизнь, там и поэзия»; принимает народные сказки и отвергает их литературные переделки; разделяет идею постепенного прогресса путём просвещения. Но здесь же намечаются расхождения. Например, Белинский не склонен верить прогнозу Надеждина, по которому жанр трагедии в искусстве заменится водевилем; не раз подчёркивает мысль о достоинстве человека, сомнительную для Надеждина; формулу «где жизнь, там и поэзия» понимает как необходимость правдиво отображать реальную действительность. Следует учесть, что Надеждин «снижал» значимость жанра романтической поэмы в период общественного пессимизма, наступившего после известных событий, связанных с трагической судьбой восстания декабристов. Но в то же время он выступал за необходимость создания поэзии высокой мысли и глубоко гражданского содержания.

Вслед за Пушкиным и Кюхельбекером Надеждин последовательно и убедительно разоблачал «элегическую» тематику русского и западноевропейского романтизма. В своей диссертации он отмечал, что тоскливые жалобы и грустные томления бездушной мечтательности скорее сами нагонят тоску, чем вымолят приветный отзыв из оглушаемого ими сердца. Поэзия, по представлению Надеждина, должна воспитывать высокий строй гуманистических чувств, быть зеркалом развития внутренней человеческой жизни. Он указывал, что почвой поэзии является общественная жизнь, а романтические декорации только снижают значение художественного произведения. Таким образом, всё – и круг литературных интересов Белинского, и серьёзное идейное отношение к литературе и её назначению, и место, занятое Надеждиным в борьбе классицизма и романтизма, – должно было возбудить особое внимание Белинского к сравнительно-историческим статьям Надеждина. Однако Надеждин не смог прийти к последовательным реалистическим и демократическим выводам из правильного представления о гуманистической и воспитательной роли искусства. Говоря о единстве поэзии и жизни, он значительно сужает вместе с тем границы искусства. Так, понятие «безобразного» остаётся за пределами его эстетической концепции. И хотя в рецензиях 1831-1832 годов Надеждин утверждает, что существенное назначение всякого изящного творения – воспроизведение действительной жизни, он тут же оговаривает, что искусству необходима эстетическая «светотень», что оно должно охранять гармонию мира, примирять нас с безобразным. По его мнению, безумен поэт, истощающий свою творческую деятельность на представление пороков и преступлений. Выход из этих противоречий Надеждин не смог найти. Он найден был позже молодым Белинским, впервые утвердившим право художника на изображение всех сторон действительности: прекрасного и безобразного, – и тем создавшим прочную основу для художественного реализма.

Следы критического восприятия надеждинской концепции развития мирового искусства обнаруживаются во многих статьях Белинского. В своих об-

зорах истории искусства (например, в статьях «Горе от ума», «Сочинения Державина») [6] он не раз давал конспективное изложение истории «классического» и «романтического» этапов мирового искусства. Он доказывал здесь, что человек проходит периоды младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости и что тот же закон существует для общества и для искусства. Белинский утверждал при этом, что историческое развитие художественного творчества народов всегда следует рассматривать в непосредственной связи с характером общественной жизни, нравственности, религии этих народов. Подобные идеи утверждались критиком при сравнительно-типологическом анализе художественных произведений русской и европейских литератур в контексте исторической компаративистики.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Аристотель. Об искусстве поэзии. – М., 1957.

2. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.

3. Надеждин Н.И. О современном направлении изящных искусств. – М., 1933.

4. Пыпин А.Н. Вопросы о западном влиянии в русской литературе // Вестник Европы. – 1896. Октябрь.

5. Веселовский А.Н. Западное влияние в новой русской литературе. Историко-сравнительные очерки. – М., 1896.

6. Белинский В.Г. Сочинения Державина // Полн. собр. соч.: В 13 т. – М., 1953-1959. - Т. VI. – С. 582-658.

В.И. Стрельцов,
Московский институт духовной культуры

СООТНОШЕНИЕ ТЕОРЕТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ В.Г. БЕЛИНСКОГО И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ФИЛОСОФОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ

Аннотация

Автор статьи, анализируя суждения талантливого критика первой половины XIX-го века В.Г. Белинского (1811 – 1848) о сравнительно-типологических связях национальных литератур, рассматривает его эстетические взгляды в контексте развития отечественной и западноевропейской философии, устанавливая, что В.Г. Белинский вошёл в историю мировой науки и искусства как один из основных предшественников европейского компаративизма.

Vladimir Streltsov

CORRELATION OF THEORETIC-AESTHETIC POSITIONS OF BELINSKY AND WEST-EUROPEAN PHILOSOPHERS IN SOLVING THE PROBLEM OF HISTORIC COMPARISON

Abstract

The article's author analysis opinions of talented critic of first half of XIX century V.G.Belinsky (1811-1848) on comparing typological relations between national literatures, reviews his aesthetic positions in context of development of native and West-European philosophy, also the author determined that V.G.Belinsky went down in history of world science and art as one of the main predecessors of European comparison.

Первым крупным компаративистом в Европе был Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803) [1]. К сожалению, имя его не столь известно в России, как имена, например, Гёте и Шиллера. Если Гердер в Германии стал родоначальником сравнительно-типологического анализа поэтических произведений, то Белинский в России одним из первых последовал ему в анализе проблемы сравнительно-типологических связей национальных литератур, став предшественником русских компаративистов. Гердер считал, что германцы постигают значение всего рода человеческого, в то время как другие народы хотят быть только своим народом. Если эту особенность немецкого народа нарекут потом «космополитизмом», то Гердер даёт ей имя более благородное и содержательное – «человечество». Он первым выразил великую мысль, что жизнь человека, жизнь человеческого рода, подчинены одинаковым законам развития. Ум общий он называет началом ума частного.

Эту мысль Белинский затем неоднократно будет развивать в своих литературно-критических статьях по проблемам сравнительно-типологических связей национальных литератур. Следуя Гердеру, на всякое частное он будет

смотреть как на часть целого. Нравственный мир Гердер поставил выше мира физического. Если в «Идеях к философии истории человечества» и в других своих сочинениях Гердер изображал дух народов, проявляющийся в их истории, то, по верному тонкому чувству, казалось ему особенно важным открыть сей дух в национальной поэзии. Вследствие этого издал он «Гласы народов» – одно из лучших своих творений, в котором собраны изящнейшие народные песни всех наций, в одну обширнейшую песенную книгу рода человеческого. С тех пор и начало соединяться многоразличие всех поэтических движений духа. То есть, действительно, основные признаки и философско-эстетические положения сравнительно-типологических связей национальных литератур впервые выступили в полном своём объёме в теории и практике анализа поэтических произведений немецкого философа Гердера, первым последователем которого в России стал Белинский. При более тщательном анализе сопоставления типов мышления Белинского и европейских философов в качестве первичной, изначальной методологической основы русского критика следует признать поэтому «гердеровский» тип мышления, для которого характерно постоянное видение «живой жизни» в сравнительно-типологическом освещении. Факт типологической схожести взглядов Белинского и Гердера на проблему «художественно-органического» очевиден даже при беглом их сравнении. Но до сих пор в науке о Белинском он не получил, к сожалению, должного объяснения. Исследователи, как правило, постоянно говорили о влиянии на критика идей Фихте, Шеллинга, Гегеля и даже Фейербаха, но только не Гердера. Между тем простое соотношение представлений Гердера, Шеллинга и Белинского о единстве мира и человечества показывает, как далёк был критик от стиля философствования Шеллинга и, наоборот, близок к идеям Гердера. Но при многих сравнительно-типологических схождениях суждения Белинского отличались оригинальностью, свойственной русскому критику. Так, например, можно обратиться к проблеме «родственной жизненности» в творчестве Белинского. В его статьях и рецензиях на эту тему, конечно, можно обнаружить следы философских влияний Гердера и других немецких философов. Но всё-таки не они выражают особенности литературно-художественного сознания Белинского, – они помогают только понять сущность его «духовной органики» и внутреннего замысла. Поэтому возникающие вдруг параллели и сближения логики Белинского с идеями немецких мыслителей – это вовсе не главный аргумент и не повод для доказательства так называемой «вторичности» или «несовместимости» взглядов критика, а, скорее всего, получаемый результат оригинального исследователя, активно использующего множество форм сравнительно-типологических связей национальных наук и литератур. А кроме того, можно в этом случае прислушаться к мнению современного учёного Г.Ю. Карпенко [2], утверждающего, что, когда речь идёт не о логике «эстетического», а о его духовной органике, не могут возникать суждения о «вторичности» идей, как не может быть вторичным всё живое. В связи с этим теряют под собой почву аргументы тех исследователей, которые пытались доказать отсутствие у Белинского собственной эстетики, философии или, наоборот, навязывали ему идеи революции и атеизма. Ответом на тенденциозные искажения мировоззренческих взглядов критика служат собственные признания Белинского по всем этим затронутым вопросам. Так, Бог, в понимании Белинского, – это всеобъемлющая энергия, имманентное, присущее миру начало, пронизывающее каждую

клеточку материального и духовного мира. «Бог не есть нечто отдельное от мира, утверждает Белинский в письме к Д.П.Иванову 7 августа 1837 года, – но Бог в мире, потому что он везде». Можно обратить внимание на тот факт, что суждения Белинского о всесущности Бога в данном письме не являются лишь единичным отзвуком его собственного верования или человека, находящегося в юношеском возрасте и потому воспринимающего богословские положения с позиций души, ещё молодой и неокрепшей. Нет, Белинский вовсе не был атеистом, и письмо это составлялось в 1837 году, – роковом для Пушкина и Бестужева-Марлинского, т.е. автором этого письма был человек, весьма зрелый в возрастном и духовном отношениях и судивший обо всём очень здраво. Так, в этом же письме, ссылаясь на авторитет «великого Иоанна», критик последовательно переводит разговор с характеристики Бога как мирообъемлющей силы на Его запечатление как существа, пребывающего во внутреннем мире каждого человека: «Мир, или Вселенная, есть его Храм, а душа и сердце человека, или, лучше сказать, внутреннее «Я» человека, есть его Алтарь, престол, его святая святых. Итак, ищи Бога не в храмах, созданных людьми, но ищи в сердце своём» (XI, 145) [3]. То есть можно заключить окончательно, что высказывания Белинского о Боге по структуре и по сути являются выражением его как пантеистических, так и эстетических взглядов. Эти взгляды распространяются и на восприятие Белинским понятия человеческой любви. Для критика любовь является своеобразным «природнометафизическим» субстратом: «... это жизнь, это дух, свет луча», – без неё «всё – материя», «всё – мрак, при самом зрении» (IV, 74). Белинский, как и Гердер, определяет любовь как жизнепорождающую субстанцию, как «связанное» «горне-земное» начало: «Любовь есть высшая и единственная действительность, вне которой всё – призраки, обманывающие зрение, формы без содержания, пустота в кажущихся границах. Любовь есть осуществившийся, явленный разум, осуществившаяся, явленная истина. Ею всё держится и весь мир – её явления. В природе она разлита как электричество. Сам Бог есть Любовь и источник Любви, из которого всё исходит и в который всё возвращается» (IV, 74; V, 314). И, заканчивая поэтико-метафизическое определение любви, Белинский опять-таки приводит слова из «Первого Соборного Послания святого апостола Иоанна Богослова»: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём». (IV, 74). Здесь в качестве ремарки, быть может, к месту будет затронуть важный по своему значению вопрос о том, что в советских изданиях Сочинений Белинского слово «Бог» писалось с маленькой буквы, хотя оно, как указывал сам критик, должно всегда писаться с заглавной буквы.

Итак, Белинский высоко ценил идеи гуманизма в учении Гердера, связывая эти идеи с эстетикой романтизма, а не с историческими взглядами Гердера. Именно романтики обожествляли искусство, считая его уделом избранных (жрецов или Богов). Для Белинского «великий Гердер» – «провозвестник» того времени, «когда люди убедятся, что науки и искусства суть достояние общее, человеческое, но преимущественно жреческое» (1:324) [4]. Может быть, в связи с этим Белинский не приемлет теорию Гегеля, который, верный своим гносеологическим установкам, в соответствии с которыми сознание завершает своё развитие в философии, как бы изымает искусство из современности и даёт повод говорить в ближайшей и отдалённой перспективе о смерти искусства. Возвращаясь к ранее поставленному вопросу эпохи: что есть история – бес-

цельное движение разрозненных воль, «систематизированное», упорядоченное своеволием какой-нибудь точки зрения, по логике Канта, или продолжение созидательного творчества – Природы, – Бога в «человеческом времени», по выражению Гердера, нужно отметить, что Белинский солидаризируется в большей степени не с Кантом, а с Гердером, который столь же однозначно видел «Промыслительную цель» как в Природе, так и в Истории: «Если есть Бог в Природе, то есть он и в Истории». Белинский с удовольствием воспринял идею немецкого просветителя о единстве мира, всеобщности человеческого рода и взял её на своё вооружение, решая проблемы миросозерцания разных народов и сравнительно-типологических связей национальных литератур.

О преемственной связи В.Г. Белинского с немецкой философией можно судить и по отношениям русского критика к философии Г.В.Ф. Гегеля (1770-1831). Оба они из когорты творцов того «живого знания» на разных его этапах, которое возникло на рубеже XVIII-XIX веков и с той поры, развиваясь и обогащаясь, оплодотворяет идеей историзма мировую культуру, философию, науку, искусство. Если Гердер первым выразил мысль, что жизнь человека и человеческого рода подчинены одинаковым законам развития и ум общий является началом ума частного, то Гегель, в контексте мыслей своего предшественника, развивает это положение. Гегель впервые в истории человечества систематически разработал на основе идеализма диалектический метод мышления. Он считал, что поэзию оживляют главным образом национальные черты, отпечаток времени с характерным для него миросозерцанием, чувством и внешним выражением. Эта мысль хорошо будет усвоена Белинским при определении миросозерцания русского и европейских народов и активного влияния его на развитие культуры и искусства каждого народа. Считая романтическую форму огромным шагом вперёд в развитии мирового искусства, Гегель подвергает немецкую романтическую школу резкой критике за её культ «иронии», субъективизм фантазии, произвол мистицизма, склонность к изображению чудовищного, страшного, болезненных сомнамбулических состояний человеческой психики. Восприняв во многом философию и взгляды Гегеля на искусство, Белинский те же недостатки подвергнет потом своей критике в статьях о развитии романтизма в русской и европейских литературах. Особо активно воспринял он идею Гегеля о «самоограничении» и «примирении с действительностью». Эти мысли наложат неизгладимый отпечаток на многие раздумья русского критика об общественной жизни в России и развитии литературы. Отражением эволюционных суждений на эту тему служит его обширная статья «Менцель, критик Гёте» (1840) [5]. Из лабиринта философских противоречий Белинский выходит к концу 1830-х годов. Это констатирует А. Пыпин [6] в своей книге «Жизнь и переписка Белинского» (1876). Белинский не только не соглашался во многом с Гегелем в вопросах искусства, но смело выступал вообще против системы Гегеля в сфере его философии и эстетических взглядов на искусство.

И с характеристикой жанровых особенностей «романа», утверждаемых Гегелем, Белинский согласен не был. На гегелевской трактовке «романа» как «современной буржуазной эпопеи» сказалось убеждение философа в том, что современное общество вступило в вечную полосу бюргерской жизни под сенью бюрократического аппарата. Поэтому эпопея с обыденной домашней жизнью, благопристойностью здравого рассудка, мещанскими перипетиями – единст-

венный вид романа, который Гегель представляет себе в литературе буржуазного мира. В своей трактовке современности Гегель близок к тому пониманию поэзии, которое наметил уже его предшественник Шиллер, когда мечтал о синтезе «наивного» и «сентиментального», непосредственной объективности древнего грека со склонностью к рефлексии и мечтательностью современного человека. Та идея «гуманности», которую в Германии XVIII века провозгласили Гердер и Гёте, Шиллер и В. Гумбольдт, воодушевляет Гегеля. В «Лекциях по эстетике» утверждается тезис: идеал искусства немыслим без существенного определения конкретной индивидуальности. И опять-таки о роли субъективного фактора в поэзии и авторской индивидуальности Белинский будет размышлять в своих литературно-критических статьях в контексте мнений Гегеля и других европейских философов, обсуждающих эту проблему. Всемирно-исторический процесс, по логике Гегеля, подчинён законам непрекращающейся пульсации. Во введении к «Философии истории» он отмечал, что изменение представляет собой основной закон истории. Но ближайшим определением, относящимся к изменению, является, в представлении Гегеля, то, что изменение, которое есть гибель, есть в то же время возникновение новой жизни, что из жизни происходит смерть и из смерти жизнь. Развивая эту мысль, Гегель указал на «эстафетность» как историческую закономерность в развитии искусства и человечества. Эту мысль Белинский неоднократно будет развивать в своих статьях и рецензиях при анализе проблемы сравнительно-типологических связей национальных литератур. Если затронуть вопрос об отношении Гегеля к народному творчеству, то здесь опять-таки можно обнаружить влияние его идей на взгляды Белинского. Так, например, Гегель не разделял увлечений Гердера народным творчеством, не видел необходимости в кропотливом изучении фольклора народа. С точки зрения Гегеля, местный колорит нравов, обычаев, учреждений, который, существуя для всей нации в целом, в то же время имеет человеческое всеобщее содержание. Но это содержание не требует скрупулёзной исторической точности, «верности изображения». В центр своего внимания Гегель ставит не народное творчество, а художественную литературу, её специфические особенности. У В.Г. Белинского, увлекавшегося философией Гегеля, это положение найдёт своё своеобразное отражение в его эстетике и преобладании анализа произведений именно художественной литературы, а не народного творчества. Общностью эпохи можно объяснить несомненную близость Белинского Гегелю во всех его работах и статьях, в том числе и тех, которые создавались не в его «гегелевский» период. Своеобразие же эстетической деятельности каждого из них в большей мере объясняется разностью этапов, которые они выразили. В самом деле: один из них – философ в полном смысле этого слова, строящий научную систему эстетики. Другой – критик, деятель текущего отечественного литературного процесса, занятый журнальной повседневной работой. Соблюдая традицию Гегеля, он пишет критические статьи о новых (и прошлых) явлениях литературы, восстанавливая их прошлое, часто включая мировой художественный контекст, отчего многие его статьи имеют шлейф истории и вместе с тем – и это пафос его критики – устремляет литературу в будущее. У одного – «живое учение», ещё запеленатое в схоластические одежды, другой практически выявил его глубоко жизненный, действенный характер, благодаря чему наследие Белинского воспринимается сейчас как новое звено в развитии мировой эстетики после Гегеля. В равной

мере можно признать, что и как историк литературы Белинский не превзойдён ещё никем. Он во многом по-прежнему прав и точен. Разрабатывая концепцию литературного процесса, Белинский ориентировался, прежде всего, на «Эстетику» Гегеля. Для него теория художественного цикла в «Эстетике» Гегеля – основополагающее открытие философской и эстетической мысли, отправная точка всего последующего движения. В «Науке логики» Гегеля есть превосходная формулировка его основной методологической идеи. Эта идея развития, согласно которой главное внимание устремляется на познание источника самого движения исследуемого объекта как материального, так и идеального. Белинский подхватывает у Гегеля и развивает именно эту идею имманентной деятельности искусства.

Признание того, что каждый из них – и Гегель, и Белинский – выразил определённую историческую ступень в развитии художественного сознания, теперь, в новые времена, даёт возможность положить конец недооценке Гегеля, которого в прошлом веке постоянно упрекали за идеализм, а с другой стороны, более конкретно представить вклад Белинского в разработку идеи историзма в литературоведении. Да, как теоретик и историк литературы В.Г. Белинский во многом опирался на логику суждений Гегеля, но в то же время многое оспаривал в его умозаключениях. Так, например, русский критик ни в коей мере не признаёт тезис Гегеля о неизбежной гибели искусства и поэзии в условиях буржуазной действительности. Искусство и поэзия, с точки зрения Гегеля, достигли своего высшего расцвета на ранних ступенях развития человеческой культуры, во времена античности и позднего средневековья. В эпоху же более высокой исторической зрелости человечества торжество «мирового духа» неизбежно приводит к разрушению чувственной полноты жизни, а значит, к гибели искусства и поэзии, превращающихся в своеобразный пережиток прошлого.

Эстетические взгляды Белинского противоположны тому пессимистическому выводу о судьбе искусства и литературы, к которому пришла идеалистическая эстетика в лице Гегеля. Если эстетические взгляды Гегеля выразили трагическое предощущение заката буржуазного искусства, то эстетика Белинского отражала зарю исторического будущего. Гегелю исторические возможности расцвета искусства казались исчерпанными вместе с исчезновением эпической героики, мифа, с крушением патриархальных общественных форм и окончательным упрочением буржуазного общества. Для Белинского же центральные проблемы эстетики – это не проблемы прошлого, а проблемы настоящего и будущего искусства и литературы. В то время как Гегель видел свою задачу в ретроспективном подведении итогов развития искусства прошедших эпох, Белинский, напротив, прокладывал пути искусству новой исторической полосы. Уже в своих первых статьях он является не только философом-идеалистом, но и просветителем-демократом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.

2. Карпенко Г.Ю. Возвращение Белинского: литературно-художественное сознание русской критики в контексте историософских представлений. – Самара, 2001. – 367с.

3. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. – М., 1953-1959. –

Т. XI. – С. 145. В дальнейшем указывается это издание с определением тома римскими цифрами, а страницы – арабскими.

4. Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. (Редкол.: Гей Н.К.., Кулешов В.И. и др.), 1976-1982. – Т. I. – С. 224.

5. Белинский В.Г. Менцель, критик Гёте // Полн. собр. соч. – Т. III. – С. 385-419.

6. Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка, 2-е изд., Т. 55-57. – СПб., 1908.

М.Р. Тарасова,
Сахалинский государственный университет

ДИАЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КРИТИКЕ И.А. ИЛЬИНА (НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЬИ «О МУЗЫКЕ МЕТНЕРА»)

Аннотация

Литературно-художественная критика И. А. Ильина обращена к самой широкой аудитории. Надежным инструментом организации и конкретизации диалогического пространства в критике Ильина являются личные местоимения. В статье рассматриваются диалогические возможности личных местоимений на материале одной из публикаций И. А. Ильина, посвященной Н. К. Метнеру.

M. Tarasova

I. A. ILYIN'S DIALOGICAL OPPORTUNITIES OF PERSONAL PRONOUNS IN DETAIL-AESTHETIC CRITICISM (ON A MATERIAL OF CLAUSE «ABOUT MUSIC METHEPA»)

Abstract

I. A. Ilyin's literary and art criticism is turned to the widest audience. The reliable tool of the organization and a concrete definition of dialogical space in Ilyin's critic is personal pronouns. The dialogical opportunities of personal pronouns are analyzed in the article on a material of one of I. A. Ilyin's publications devoted to N. K. Metneru's.

Литературно-художественная критика И. А. Ильина – явление по-своему уникальное в истории русской культуры. Многими нитями связанная с отечественной и европейской – особенно немецкой классической – эстетикой, она, тем не менее, вполне самостоятельна и оригинальна, что объясняется, прежде всего, глубокой укорененностью всех ее основ в православии, а также наличием специального филологического метода, соответствующего данной системе координат.

Известно, что сам И. А. Ильин называл свою критику «эстетически-художественной». Не забудем, однако, что у дефиниций «эстетическая» и «художественная» в истории русской литературной критики – богатая традиция. С эстетической критикой полемизировал А. А. Григорьев, который определял ее как проповедующую «свое дилетантское равнодушие к жизни и к ее существенным вопросам во имя какого-то искусства для искусства» [1]. Эстетической называли свою критику в 40-50-е годы XIX века П. В. Анненков, А. В. Дружинин, В. П. Боткин, в начале XX века – В. Я. Брюсов. Очень разные авторы, они понимали данный феномен по-разному. Исследователь творчества В. Я. Брюсова считает, например, что, называя свою критику эстетической, Брюсов имел в виду отсутствие тенденциозности... [2]. В свою очередь, «художественная критика», помимо того, что это критика «образная», имеет значение «относяща-

яся к искусству» (художеству), то есть вообще уходит за пределы литературы, обнимая собой не только искусство слова, но и другие виды искусства.

Возникает потребность более точно определить методологическую принадлежность литературной критики И. А. Ильина как, например, *предметную*, или *предметно-эстетическую*, имея в виду, что Предмет у И.А. Ильина – последняя, религиозная, глубина мира, его духовно-внутренняя сущность, истина того, что носит название вещей. Именно этой глубиной И.А. Ильин измеряет литературу и искусство, и только *предметное* искусство, в его интерпретации, имеет право быть *художественным*. «Художественность» в эстетике И.А. Ильина – синоним «предметности», истинности. Так, говоря о кризисном характере искусства XX века, он конкретизирует: «В искусстве отпадает “третье измерение” – художественности, священности, предметности; двумерная душа создает двумерное, пошлое, безбожное искусство и сама становится его жертвою» [3]. Или: «...произведение *искусства* художественно не тогда, когда “эффектна” и “оригинальна” его эстетическая материя, но тогда, когда оно верно своему сокровенному, духовному предмету» [3].

Таким образом, предметно-эстетическая критика И. А. Ильина понимается как научная по форме и философская, религиозно-углубленная по содержанию или, иначе, как *философская* – по целям и задачам – и *предметная* – по природе и сущности. Такая критика оптимальна, учитывая тот факт, «что в недра искусства в научном смысле глубже философского понимания не может проникнуть никакое другое и что философ яснее видит сущность искусства, чем даже сам художник» [4].

Характерной особенностью литературно-художественной критики И. А. Ильина является ее «многоканальная» коммуникативность по линии субъектов общения («критик – писатель – читатель – другие адресаты»), а также по линии самих текстов («литературно-критический текст – художественный текст» и – шире – «текст литературной критики – текст культуры – текст жизни»). В частности, говоря о том или ином писателе, И. А. Ильин обычно подключает к разговору огромное множество «помощников» – других писателей, музыкантов, художников, всевозможных экспертов (историков, психологов, философов), создавая насыщенный диалогический фон. Сошлемся в качестве примера на лекцию «Россия в русской поэзии» (1935), впервые опубликованную Н. П. Полторацким в сборнике «Русские писатели, литература и художество» (1972).

Указанная лекция состоит из двух частей (28 страниц и 31,5 соответственно). В первой части И. А. Ильин ставит задачу «показать, как русская поэзия воспринимала Россию и что она о России выговаривала» [5]. Во второй части поэзия рассматривается как форма философского созерцания в ее проекции на прошлое, настоящее и будущее России. Первая часть состоит из шести пронумерованных фрагментов, вторая – из восьми. Логика движения авторской мысли в первой части такова: 1) тоска по родине не сводится к *жажде русского быта и русской природы*: и природа и быт суть выражение русской души и русского духа; 2) поэзия – *голос самой России*; 3) *абсолютная чувствительность* русской поэтической души; 4) *повседневность* как тема русской поэзии; 5) мир животных в русской поэзии; 6) *самобытное метафизическое и религиозное восприятие природы* в русской поэзии. Содержание второй части сводится к следующему: 1) история в русской поэзии; 2) *великие крушения*, испытания

как тема русской поэзии; 3) *призыв к покаянию* и очищению в русской поэзии; 4) *сила религиозной веры* как источник жизни и борьбы; 5) пророческие потенции русской поэзии; 6) русская поэзия – о настоящем и будущем России; 7) чего требует от человека «нынешнее трагическое время»; 8) заключение. Общий вывод И. А. Ильина весьма актуален: «Прозябать, разрушать, вымирать можно в русской природе *без Бога*. Но жить в русской природе, созерцать ее, одолевать ее, творить в ней, строить в ней великую культуру и великую государственность без Бога невозможно» [5].

В первой части лекции И. А. Ильин использовал 26 имен, в том числе 19 имен поэтов, причем некоторых поэтов Ильин цитирует неоднократно, демонстрируя прекрасное знание контекста их творчества. Во второй части представлено 41 имя, в том числе 29 имен поэтов; всего в лекции использовано 67 имен, 53 из них не повторяются. Поэтический фон лекции составляют имена гр. А. К. Толстого (12 цитирований), Вл. Диксона (упоминается 9 раз), Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Подолинского, Языкова, Бальмонта, Державина, Сологуба, Вяземского, Гнедича, Жуковского, Баратынского, Ломоносова, Некрасова, Батюшкова, Зайцевского, Дельвига, Губера, Розенгейма, Мея, Надсона, Волошина, Ратгауза, Хомякова, Рылеева, Голенищева-Кутузова, А. Блока, Маяковского, Шершеневича, Есенина... Среди других собеседников Ильина – художники Поленов, Левитан, Айвазовский, Нестеров, Дубовской, историк Геродот, римский император Калигула, немецкие философы Ницше и Маркс, мифический герой Ахилл...

Надежным инструментом организации и конкретизации диалогического пространства в литературно-художественной критике Ильина являются личные местоимения. Рассмотрим их диалогические возможности более подробно на примере одной из публикаций, посвященных композитору Н. К. Метнеру.

Статья И. А. Ильина «О музыке Метнера», объемом чуть больше четырех страниц (17 абзацев), впервые была опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1932. – № 2465 от 2 марта). Информационным поводом для ее создания послужил концерт Н. К. Метнера в Париже после долгого перерыва в публичных выступлениях маэстро.

Статье предпослан эпиграф из стихотворения Н. М. Языкова «Землетрясение» (1844): «Так ты, поэт, в годину страха / И колебания земли / Носись душой превыше праха / И ликам ангельским внемли...» Ты, поэт... Ты – поэт, музыкант, критик... Ты, художник... Это обращение является своеобразной точкой схода-излучения смыслов в пределах данной статьи. И то, что Языков был другом Пушкина, здесь важно. И указание на *лики*... Ничто не упомянуто всуе, ничто в дальнейшем не останется бесплодным, ни одна ассоциация.

«Дымом застланы наши горизонты», – так начинается сама статья. «Мы» в данном случае – русская эмиграция:

«Дымом застланы наши горизонты. Воздух насыщен гарью пожарища. Подчас и солнца не видно, и дышать трудно. Темное время. Страшное время...» [6].

Эпичность зачина, а также финальный микро-абзац «Помоги нам, Господи!» вызывают в памяти «Солнце мертвых» Шмелева с его молитвенным зовом: «Вниди и в меня, Господи! Вниди в нас, Господи, в великое горе наше, и освети!» [7](6. С. 213) Мотив молитвы, молитвенного служения появляется у Ильина уже во втором абзаце («Но жива наша Россия. Живо ее чудесное ис-

кусство и будет жить, пока человек будет вздыхать и молиться на землю») и отчетливо звучит далее в развитие основной темы.

Местоимение «мы» в указанном контексте скрепляет это своеобразное внехрамовое «Господу помолимся!» внутренне, единством объекта (мы, русские в изгнании), и внешне, закольцовывая композицию («Дымом застланы *наши* горизонты». – «Помоги *нам*, Господи!»). (Что касается И. С. Шмелева, то он и прямо упоминается в статье: «И не только в том была победа, что, по слову Шмелева, “душу не расстреляешь”...» Таким образом, определенные параллели с его творчеством вполне естественны и уместны.)

Итак, «мы» – русские; «он», Метнер – русский художник: «Художник замечательный, несравненной силы и неисчерпаемой мудрости, мастер мелодии и ритма, самобытного “метнеровского” ритма, прежде всего, больше всего *человек глубокого Богосозерцания и русского мироощущения*, он ведет за последние годы как бы уединенную отшельническую жизнь и публичные выступления его (если не считать его триумфов в Америке и Англии) стали редким исключением...» [6]

Он, Метнер, — художник *глубокого Богосозерцания*, художник-отшельник (еще одна параллель с И. С. Шмелевым, которого в статье «Творчество Шмелева» (1933) И. А. Ильин будет сравнивать с келейным отшельником). И опять, рефреном: «Дымом застланы наши горизонты. Подчас и солнца не видно. Но у него в его келии всегда яркий, неиссякающий свет. Этот свет – свет большого искусства, совсем новой и совсем не модернистической музыки – в России научились ценить и любить задолго до войны, так, как научились любить недавно в Англии и Америке» [6].

Он, Метнер, – большой русский художник – по признаку *светоносности* органически, «генетически» связан со своими великими предшественниками, известными и безымянными. Вот как И. А. Ильин рисует его портрет: «Небольшой рост, легкая, почти воздушная походка; темные, *по-пушкински* вьющиеся волосы; чуть прищуренные глаза и лицо непередаваемого *древне-сосредоточенного* выражения, насыщенного молчаливого ведения» (курсив мой. – *М. Т.*) [6]. Метнер – некий иконописный лик – Пушкин... Такова родословная.

Далее в статье появляется местоимение «я»: «Помню, как я услышал его в первый раз в Москве, до войны. <...> Он играл свою знаменитую сонату E-mol, op. 25 с эпиграфом из Тютчева “О чем ты воешь, ветр ночной” <...> Я не заметил этих 35 минут; я не знал, что в моей душе хранится то, что он извлек из нее; он отпустил меня лишь с последним звуком...» [6].

«Я» – «он», Метнер (а вместе с ним – безымянные лики, Пушкин, Шмелев, Языков, Тютчев...), – и снова «я» («Я помню его “Заклинание”, написанное на слова Пушкина, в первом исполнении на вечере М. А. Олениной-д’Альгейм») – и снова Пушкин (представленный текстом стихотворения «О, если правда, что в ночи») — и снова «я» (читатель Пушкина) – и снова М. А. Оленина, А. М. Ян-Рубан...

«Я» критика соприродно элитному ряду имен, элитному с точки зрения духовной ответственности, лежащей на человеке. Таких, духовно-ответственных («своих») людей И. А. Ильин противопоставляет «капризному, изменчивому, а в духовно больные эпохи сверх того и *растленному* большинству», толпе. К ним, избранным, относится русский Париж 1932 года, собравшийся на концерт Метнера; Москва «до войны» (первой мировой), когда И. А. Ильин

слушал Метнера впервые: «...захват был так велик и глубок, что во время последнего ликующего экстаза – как по магическому приказу – люди, сами того не замечая, поднялись со своих мест...»; люди, способные услышать истинного художника...

Это, наконец, советская Россия *до* эмиграции композитора и критика, когда у самого Метнера «уже не было квартиры; он зимовал с женой в маленькой комнатке, в которой *совсем не было печи*, никакой; он готовился к концертам на рояле, прозябшем до такой степени, что по клавишам от игры текла вода» [6]. Но аудитория была все еще та же: «цвет московской интеллигенции, замученные, изголодавшиеся, немытые люди, все насквозь простуженные, в шубах и валенках – и со священно горящими глазами...» [6]

И. А. Ильин был среди них:

«Помню, как я после моего второго ареста, едва из тюрьмы, слушал его новые вещи. Никогда не забуду это победное, именно *победное* чувство все превозмогающего духа. И не только в том была победа, что, по слову Шмелева, “душу не расстреляешь”; но больше всего в том, что пророческий голос русского искусства поет свою “осанну” из самых недр львиного рва; и в том, что самая песнь его есть сущее преодоление всех большевизмов и модернизмов (ибо по существу “модернизм” и есть не что иное, как еще не осознавший себя большевизм)» [6].

Помню, как я... Я помню... Помню...

В финале статьи (пятнадцатый абзац) аудитория единомышленников русского критика и композитора расширяется многократно:

«И теперь, когда я читаю взволнованные отзывы лучших английских и американских критиков *о* музыке Метнера, когда я слышу в их словах *наш трепет*, я знаю, что они поняли и что именно их так волнует» [6].

Я, критик/читатель/слушатель – они, другие критики (английские, американские) – мы, русские слушатели (*наш трепет*) – они, публика вообще (лучшие люди, способные услышать и понять). Таким становится масштаб влияния высокого искусства.

Тройной «я»-аккорд в указанном абзаце (я читаю, я слышу, я знаю) дублирует тройной повтор в пределах статьи, усиливая ее основные потенции:

«Дымом застланы наши горизонты. Воздух насыщен гарью пожарища. Подчас и солнца не видно, и дышать трудно. Темное время. Страшное время...» (первый абзац).

«Дымом застланы наши горизонты. Подчас и солнца не видно. Но у него в его келии всегда яркий, неиссякающий свет. Этот свет – свет большого искусства, совсем новой и совсем не модернистической музыки – в России научились ценить и любить задолго до войны, так, как научились любить недавно в Англии и Америке» (четвертый абзац).

«Дымом пожарища застланы наши горизонты. И не знаешь еще, когда и как рассеется этот дым и прояснятся дали. Но знаем, *для кого* и *для чего* творят наши отшельники. И знаем еще, что они не одиноки ни теперь, ни в будущем. Ибо ныне Россия творится в келиях, а не в базарных распрях. Творятся молитвы. Творится искусство. Закаляются героические сердца.

Помоги нам, Господи!» (шестнадцатый и семнадцатый абзацы).

«Мы» здесь – эмиграция, русские, весь мир. Таков масштаб расширения личных местоимений в статье И. А. Ильина «О музыке Метнера».

Надо заметить, что в целом при всей интенсивности проявлений авторского начала Ильин-критик довольно целомудренно обращается с местоимением «я». Так, в статье «Святая Русь. “Богомолье” Шмелева» («Возрождение», 2 мая 1935 г.) всего один раз используется это местоимение – и то в примечаниях. Комментируя понятие «Святая Русь», И. А. Ильин делает сноску: «Во избежание неверного понимания, поясняю: я говорю не о “сословиях” и не о “классах” и отнюдь не о национальном “большинстве”, а о духе религиозном и нравственном, патриотическом и государственном; без этого духа, исторически взращенного на Руси православием, России не было бы совсем» [8].

Обычно местоимение «я» маркирует у Ильина наиболее ответственные моменты речи, акцентируя предельную искренность эмоций, особую важность произносимого. Например, в лекции «Александр Пушкин как человек и характер» (1943) в конце второго часа И. А. Ильин переключается с эмоционально-повествовательного, «эпического» на лиро-эпический и даже трагический тон:

«О последних месяцах, неделях, днях и часах его жизни мы знаем все точно. Но я не стану говорить вам об этой трагедии оскорбленной чести, разбуженной ревности, о трагедии гения, которого не смогли уберечь. И только по одной причине. Всякий раз, как я погружаюсь в историческую подоплеку этой трагедии, мое сердце охватывает такая неодолимая печаль и безутешная скорбь мировая, что я от слез не могу говорить. А в таком состоянии негоже говорить с публикой» [9].

Известно, как тщательно готовил Ильин свои тексты, поэтому тройной повтор глагола «говорить» в пределах короткого абзаца только кажется случайным («не стану говорить», «не могу говорить», «негоже говорить»). Он художественно оправдан волнением, сконцентрированным в личном местоимении «я» (четыре употребления, учитывая притяжательный вариант «мое»).

Та же ситуация складывается в финале статьи «Православная Русь. “Лето Господне. Праздники” Шмелева» («Возрождение», 18 апреля 1935 года), когда после собирательного «мы» (читатели), под специальной графической отбивкой появляется вдруг личное «я»:

«И чуется мне, что эту книгу написала о себе сама Россия пером Шмелева; выговорила о себе глубинную правду... утвердила себя навек...

И вспоминаю я невольно тот тягостный и постыдный день, когда в русской литературе были сказаны о Православной Руси иные, окаянные, каторжные слова:

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь –
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

(А. Блок)

Ныне эти кощунственные слова смыты» [10].

Та же ситуация – в очерке «Художество Шмелева» (сборник «Памяти Ивана Сергеевича Шмелева» – Мюнхен, 1956), где опять после собирательного «мы» на шестнадцатой (!) странице повествования одномоментно появляется местоимение «я»: «Вот почему я с самого начала сказал, что холодная душа, лишенная любви и умиления, влюбленная в себя и ведущая в литературе ко-

кетливую, плоскую игру, душа, не знающая ни добра, ни зла, ни трепета, ни ужаса, ни искания, ни отчаяния, ни восторга, ни отвращения, никогда не будет ни ликовать, ни рыдать вместе со Шмелевым. Тому, кто хотел бы удостовериться в этой тонкой, эмоциональной эффективной ткани его произведений, я бы посоветовал прежде всего прочитать и *прочувствовать* его сравнительно ранний роман "Человек из ресторана". Это произведение стоит под тем знаком, под которым начал свою литературную деятельность Достоевский: я имею в виду его роман "Бедные люди", потрясший когда-то Белинского, и другой роман его – "Униженные и оскорбленные". В таких произведениях...» и так далее [11]. Личное мнение Ильина действует в данном случае неотразимо, заставляя прочитать и перечитать указанный фрагмент с особым вниманием.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу // Искусство и нравственность. – М., 1986. – С. 230.

2. См.: Максимов Д. Брюсов – критик // Брюсов В. Сочинения: В 2-х т. – М., 1987. – Т. 2. – С. 19.

3. Ильин И. А. Основы христианской культуры // Собр. соч.: В 10 т. – М., 1993. – Т. 1. – С. 289, 301.

4. Шеллинг Ф. В. Философия искусства. – М., 1966. – С. 51.

5. Ильин И. А. Россия в русской поэзии // Собр. соч.: В 10 т. – М., 1996. – Т. 6. – Кн. 2. – С. 227, 219-220.

6. Ильин И. А. О музыке Метнера // Собр. соч.: В 10 т. – М., 1996. – Т. 6. – Кн. 2. – С. 306, 307, 309, 309-310.

7. Шмелев И. С. Солнце мертвых // С того берега: Писатели русского зарубежья о России. Произведения 20-30-х гг. Книга первая. – М., 1992. – С. 213.

8. Ильин И. А. Святая Русь. "Богомолье" Шмелева // Собр. соч.: В 10 т. – М., 1996. – Т. 6. – Кн. 2. – С. 135.

9. Ильин И. А. Александр Пушкин как человек и характер // Собр. соч.: Статьи. Лекции. Выступления. Рецензии (1906 - 1954). – М., 2001. – С. 194.

10. Ильин И. А. Православная Русь. «Лето Господне. Праздники» Шмелева // Собр. соч.: В 10 т. – М., 1996. – Т. 6. – Кн. 2. – С. 130.

11. Ильин И. А. Художество Шмелева // Собр. соч.: В 10 т. – М., 1996. – Т. 6. – Кн. 2. – С. 155-156.

Е.Н. Федосеева,
Мичуринский государственны
педагогический институт

ОППОЗИЦИЯ «СВОИ» – «ЧУЖИЕ» В ДИАЛОГАХ ПОЭТОВ ПУШКИНСКОГО КРУГА

Аннотация

В статье исследуются вопросы, связанные с проблемой выбора поэтами пушкинского круга определенного стиля поведения в коммуникативной ситуации столкновения с носителями противоположных моральных и эстетических идей. Анализ лирических и эпистолярных текстов позволяет выявить основные принципы выстраивания взаимоотношений между участниками «союза поэтов» и их литературными оппонентами.

E. Fedoseeva

THE OPPOSITION “OUR” AND “ATHER’S” IN THE DIALOGUES OF PUSHKIN’S CIRCLE POETS

Abstract

The article deals with the problem of choices the poets of Pushkin’s circle made in behavioral styles in communicational opposition with those who shared contrary moral and aesthetic ideas. The analysis of fiction and epistolary works allows to reveal the principles of handing the relationships between members of the “Poet’s union” and their literary opponents.

В диалоге Платона «Ион» приводятся рассуждения Сократа о магнетическом камне, который «не только притягивает железные кольца, но и сообщает им такую силу, что они, в свою очередь, могут делать то же самое, что и камень, то есть притягивать другие кольца ‹…›. Так и Муза сама делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других восторженных» [1].

Подобное притяжение существует и между поэтами пушкинского круга, образуя тем самым особое пространство, определяемое ими как «наше», «свое», «гармонически организованное», уникальное. Этому пространству противостоит другое: «чужое», «хаотическое», массовое. Творчество поэтов пушкинского круга – это приглашение и к сорадованию, и к сопереживанию. Влияние, которое оказывали поэты друг на друга, сравнимо с живительным источником, подпитывающим внутреннее горение каждого из них, что подтверждается примерами как из лирических, так и из эпистолярных текстов.

Так, Боратынский уверяет, что стихи Языкова «расшевеливают» его душу, дают вновь почувствовать подзабытый привкус радости: «Что ты поделываешь и скоро ли будешь писать стихотворения? Пришли, что напишешь. Это разбудит во мне вдохновение» [2]. Пушкин взывает к Языкову, скучая о его «шалостях»: «*Живи и жить давай другим*», – напутствует он его, побуждая к творчеству [3]. Давыдов признается Вяземскому: «Ты и Пушкин имеете дар запенить меня, как бутылку шампанского. Вот уже месяца три, как я заку-

поренный стою во льде прозы; после же стихов твоих вино закипело и пробка хлопнула. Вот тебе полная рюмка...» [4]. В свою очередь, Вяземский, характеризуя то влияние, которое оказывает на него эпистолярное общение с ближайшим другом Александром Тургеневым, пишет: «Твои письма, как лучи на Мемнонову статую: есть письмо,– и я умен, любезен часа на два, то есть, пока готовлюсь писать, пишу и перечитываю; писем нет, – и я камень» [5].

В греческой мифологии Мемнон – сын богини утренней зари Эос. Греки называли Мемноном одну из статуй египетского фараона Аменхотепа III близ Фив. Поврежденная землетрясением, на утренней заре статуя издавала звук, подобный звону струн: считалось, что так душа Мемнона приветствует свою мать. В письме Вяземского образ Мемнона возникает как метафора поэтического вдохновения. Образ Мемнона встречается и в поэзии Жуковского (см., напр., «Послание к кн. Вяземскому и В.Л. Пушкину», 1814).

Демонстрация обоюдной привязанности друг к другу – один из компонентов, составляющих идеологию поэтов пушкинского круга. Своеобразное «присвоение» близкого по духу поэта и его успехов всячески подчеркивается. «Счастливы мы, что имеем такое дарование в наше время, а мы, твои приятели, еще счастливее: это дарование *наше*, ты наш – ты любишь нас!» (письмо Батюшкова Жуковскому от 29 декабря 1814 г.) [6]. Чужой успех воспринимается как общий через осознание своей причастности к победителю. Это и своеобразный акт самоутверждения, который становится возможен, благодаря близости человеку, исповедующему одни с тобой жизненные и художественные ценности.

Часты обращения к собеседнику: «мой Гораций», «мой Парни», где имеет значение не столько имя собственное, сколько притяжательное местоимение «мой», сигнализирующее о личных отношениях между участниками общения. Пристрастность здесь симпатична, поскольку оправдана логикой возвышенных дружеских чувств.

Деятельность в маленьком, но своем кругу привлекательнее той, что имеет широкий адрес творчества и не лишена прагматических целей: «...быть поэтом и писать не для низкого всеобщего одобрения, а для семейства прекрасных людей, с которыми породнишься посредством высоких, неложных и хорошо выраженных чувств, которые, может быть, останутся и для потомства? Слава, истинная слава! А для меня она выше, нежели для других», – это слова из письма Жуковского Тургеневу от 20 октября 1814 г., в котором варьируются основные тезисы послания «К кн. Вяземскому и В.Л. Пушкину» [7].

Мысль о ценности и одного собеседника, вероятно, почерпнута Жуковским из любимых им «Нравственных писем к Луцилию» Сенеки, в которых цитируется изречение Эпикура, писавшего одному из своих товарищей по ученым занятиям: «Это я говорю для тебя, а не для толпы: ведь каждый из нас для другого стоит битком набитого театра» [8].

Клишированный язык, регулирующий взаимоотношения в социуме, в приватной коммуникативной ситуации неприемлем. Поэты настаивают на менее церемонном тоне общения, что свидетельствует о возврате к естественному поведению, отличающемуся теплотой и открытостью. С просьбой не писать «официальных» писем Давыдов обращается к Языкову: «Последнее (письмо. – Е.Ф.) ужаснуло меня официальным заключением: «с истинным почтением и таковою же преданностью, честь имею быть вашего превосходительства и пр.»:

Бог с вами с такими выходками!» [9].

Однако повышенная сосредоточенность друг на друге, постулировала в то же время принципиальную замкнутость союза поэтов, его отъединенность от окружающего чуждого мира, что в свою очередь моделировало различные типы поведения по отношению к «иноверцам». Если, например, Жуковский и Батюшков призывали к горделивому молчанию в ответ на неодобрительные отзывы литературных оппонентов, то другие (Вяземский, в какой-то мере Пушкин) были готовы к литературной борьбе.

Неоднократно отмечались религиозные коннотации арзамасцев в идентификации себя как носителей истинной веры в противовес «еретикам» и «халдеям», будь то члены общества «Беседа любителей русского слова» или другие враждебно настроенные объединения. Отстраненная небрежность, с которой поэты пушкинского круга относились к «чужакам», весьма симптоматична, свойственна любой другой религии, содержащей вселенские устремления.

Несмотря на всячески подчеркиваемый герметизм, тесная сплоченность круга проявлялась, главным образом, в литературной борьбе. Внутри союза поэтов полного единодушия не было, да в принципе и не могло быть, поскольку мышление в унисон всегда тривиально, диалог всеобщего согласия являет собой общение не в большей степени, чем «диалог глухих». Так, например, литературное «сектантство» было глубоко чуждо Батюшкову, в отличие, например, от Вяземского, и смысл объединения духовно близких людей он не ограничивал рамками творческой деятельности. «Каждого Арзамасца порознь люблю, но все они вкупе, как и все общества, бродят, корячатся и вредят!» [10].

Любое общество диктует человеку определенный склад поведения, под который так или иначе он вынужден подделываться, чтобы не быть отторгнутым этим обществом. Законы союза поэтов менее стеснительны, но они есть, а повышенная интравертность иной раз отзывается некоторой агрессивностью к той действительности, которая не входит в поле индивидуального сознания.

В данном контексте интересно привести выдержку из письма Языкова к братьям, в котором он просил их растолковать ему смысл одного отрывка из стихотворения Пушкина, но так, чтобы это не получило огласки: «Только, пожалуйте, ни гугу, что я это желаю знать: ибо тогда мои самозваные пестуны причислят меня к школе староверов и могут лишить своего благорасположения, которое, как ни малозначительно для моих стихов, но все-таки пусть лучше останется в своей силе» [11]. То есть боязнь прослыть старовером и вследствие этого лишиться благосклонности авторитетных покровителей, заставляла так или иначе адаптироваться к принятой идеологии и быть более осторожным в оценках.

Устойчивость круга обеспечивается не столько внутренними связями между его участниками, сколько отсутствием каких бы то ни было связей с другими, «чужими», даже взаимным отторжением: «Мы все разбросаны, и как жиды держимся только одною внутреннею верою, темными преданиями и каким-то чужестранством, чужеязычием в толпе, которая нас только что терпит; впрочем, вероятно, от того, что мы ее терпеть не можем», – писал Вяземский [12].

Дистанцирование от людей иной поэтической веры, иного стиля жизни, инициировало появление лирических произведений, содержащих декларацию жизненной и творческой позиции. Стихотворений подобного рода весьма

много у Вяземского, прекрасного полемиста, остроумного и едкого. Безликомассовый адрес его отповедей: «К журнальным близнецам» (1824), «Крохоборам» (1824/1825), «К ним» (1828/1829), «К журнальным благоприятелям» (1830) – недвусмысленно указывает на характер отношения автора к объекту изображения.

Диалог, иной раз спровоцированный решением, казалось бы, чисто лингвистических вопросов, нередко перемещается в область этическую. В стихотворении Вяземского «К ним» демонстративное ироническое отталкивание, позволяющее четко уразуметь границы между «чистым» и «нечистым» поведением, утверждает нравственно небезупречную позицию оппонента и подчеркивает моральное превосходство автора: «Счастливцы! Вы и я, мы служим двум фортунам. / Я к вашей не прошусь; моя мне зарекла / Противопоставлять волненью и перунам / Мир чистой совести и хладный мир чела» [13].

Пьеса Боратынского «Коттерии» (1842) направлена против кружка некогда близких поэту московских литераторов, куда входили С.П. Шевырев и М.П. Погодин. Полемический выпад содержится уже в иноязычном (от фр. кружок заговорщиков) обращении к тем, кто именовал себя славянофилами. Коммуникативная стратегия Боратынского выстроена таким образом, чтобы поймать противника на противоречиях. Призыв к «братанию» моментально подрывается дополнением, поясняющим цель подобного объединения и таким образом дискредитирующим сокровенный смысл действа: «Братайтеся, к взаимной обороне / Ничтожностей своих вы рождены» [14].

Стиль поведения коттерии опровергает те религиозные принципы, которые исповедовали ее участники. Поэтому Боратынский перефразирует слова Христа, сказанные ученикам: «Истинно, истинно говорю вам, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них» (Мф. 18,20). Боратынский услужливо подставляет «писцам-хлопотунам» зеркало евангельских истин, чтобы в нем они смогли увидеть собственное искаженное отражение: «Аминь, аминь, – вещал он вам, – где трое / Вы будете – не буду с вами я».

Если в любой официально организованной структуре наблюдается строгое иерархическое распределение ролей, то в пушкинском круге поэтов место главы не закреплено за одним человеком. Например, Давыдов пишет Языкову 23 апреля 1833 г.: «Вы мой единственный Тиртей или, по-солдатски, вы мой нравственный отец и командир; один стих ваш – и я в огне боев, весел и безотчетно» [15]. Однако в другом письме, от 4 апреля 1834 г., Давыдов назначает на эту роль уже Пушкина: «Совестно мне посылать тебе мои пустые сердечные бредни, но, если прикажешь, я исполню волю моего парнасского отца и командира. Надо только, чтобы повеление писано было нецеремонно, и слово «вы» заменилось бы словом «ты», тогда я на все готов» [16]. В письме от 14 июня 1836 г. «парнасским отцом и командиром» Давыдов вновь называет Языкова [17]. В конце концов Пушкин в послании «Д.В. Давыдову» (1836) переадресовывает эту характеристику самому поэту-гусару.

Наименование «отец и командир» дает искомое сочетание кровной связи, родственной теплоты и беспрекословного авторитета, повиновение которому свободно, легко и радостно. Отказ от притязаний на власть социальную в официально структурированном обществе компенсировался наделением власти символической в дружеском кругу, что воспринималось как нечто более ценное. Свободное перемещение подобных характеристик указывает на отсутст-

вие по-настоящему четко закрепленных поведенческих ролей, иерархически выстроенных отношений внутри близкого круга, где один для другого в той или иной ситуации был и слугой, и господином.

У поэтов пушкинского круга в ходу были разнообразные самоназвания, отражающие сущность их союза. Среди наиболее часто встречающихся наименований следует отметить «артель» и «шайку». Очевидно, что эти обозначения не тождественны между собой. Конкретная атрибуция указывает на те конститутивные признаки, которые кладутся в основу той или иной из перечисленных организаций.

Артелью в России называлось товарищество, образованное для производства промысла, ремесла или работ с полным равенством и круговой порукой всех участников. Слово «артель» было введено в поэтический и эпистолярный оборот с легкой руки князя Вяземского, употребившего его в стихотворении «К старому гусару» – отклику на выход в свет сборника «Стихотворений» (1832) Давыдова, а в частности, на его «Гусарскую исповедь» (1832):

Будто мы не устарели –
Вьется локон вновь в кольце;
Будто дружеской артели
Все ребята налице [18].

Впоследствии эти строки из посвящения Давыдову часто цитировались другими поэтами: «Д. Давыдов прислал мне начало вашего послания к нему, в котором вы поэтически подделались к его слогу. Он думает недели на две прискакать в Москву. Не решитесь ли и вы последовать его примеру и пригласить с собою Пушкина? Тогда слово будет делом, тогда

Будут дружеской артели
Все ребята налицо» (письмо Боратынского Вяземскому, декабрь 1832 г.) [19].

«Ты примерз к ледяному Петербургскому обществу, и в дружеской *артели на лицо* никогда не бывать тебе, а если и будешь, то ледяной сосулькой – тогда черт ли в тебе!» (письмо Давыдова Вяземскому, 7 декабря 1832 г.) [20].

В процитированных эпистолярных фрагментах идет речь именно о «дружеской артели», соединяющей людей на основе свободы, искренности, духовной родственности и взаимной симпатии.

Другой смысловой компонент, заложенный в этом наименовании, имеет непосредственное отношение к той деятельности, что послужила одной из причин объединения. Трактовка литературного творчества как ремесла, дела техники восходит еще к Аристотелю. Корреляция «поэт-ремесленник» укладывалась и в русло романтической поэтики, находящей особую прелесть в соположении, а то и в столкновении высокого и низменного, бытового и поэтического, земного и небесного.

Совершенно иной взгляд у Пушкина. Так, характеризуя взаимоотношения поэтов с цензурой, он писал Вяземскому: «В таком случае должно смотреть на поэзию, с позволения сказать, как на ремесло ‹...›. Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне – на конченную свою поэму я смотрю, как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышом» [21].

Вводная конструкция («с позволения сказать») – рефлективное замечание Пушкина на свой собственный текст, в котором усматривается посягательство на сакральную природу поэтического слова. Однако Пушкин в данном случае

оценивает только конечный результат творческого процесса, что созвучно и строкам из «Разговора книгопродавца с поэтом»: «Не продается вдохновенье, / Но можно рукопись продать».

Наконец, еще один момент, немаловажный для уяснения способа существования артели, – это так называемая круговая порука. Чем многочисленнее круг друзей, тем больше у него прав на существование, тем активнее он может повлиять на жизнь, тем живее надежда на будущее бессмертие.

Другое определение, также получившее свое место в поэтическом языке, – это «шайка», сущность которой состоит в длительном сплоченном соучастии для совершения общественно опасных деяний. В переводе с языка правового на язык поэтический основанием для подобного самоназывания послужило, думается, прежде всего своеволие, провозглашаемое как определенный образ жизни, стиль существования (Боратынский: «По своеволию страстей себе мы правил не слагали...», Давыдов: «Роскошествуй, веселая толпа, / В живом и братском своеволье!»).

«Жаль только, что Толстого здесь нет и что возврат его не прежде будущего лета (из Москвы пишет). Без него я один из всей той знаменитой шайки беззаботных молодцов 15-го года, о которой ты упомянул в самых оригинальных стихах, из всех стихов тобою написанных», – пишет Давыдов Вяземскому 21 ноября 1836 г., цитируя строки из адресованного ему Вяземским послания «К старому гусару» [22].

Ломка канонов и правил, переступание границ дозволенного, выпадение из рамок социальных структур – органичная часть эстетики романтизма. Однако когда поэты пушкинского круга называют «шайкой» своих литературных противников, наименование приобретает уже негативные обертоны («наглость», «буянство»). Так, Вяземский, резко отзываясь о «полицейских» и «кабацких» литераторах (Ф. Булгарине и Н. Полевом), писал М.А. Максимовичу: «... но вам с какой стати приставать к их шайке? (...) Оставьте это «Северной пчеле» и «Телескопу», – у них свой argot, что называется, свой воровской язык; но не принадлежащему шайки их неприлично марать свой рот их грязными поговорками» [23].

Как видно, в один и тот же образ вносятся существенные понятийные сдвиги в зависимости от именуемого субъекта. Если в слове «шайка», адресованном поэтам своего круга, на передний план выходит шутливое словоупотребление –сема «вольницы», удальства и веселья («шайка беззаботных молодцов»), то в отношении всех прочих применение того же обозначения актуализирует иной смысл: «скопище дурных людей».

Таким образом, дифференциация «свои» – «чужие» определяла функциональный аспект социально-бытового и творческого поведения и была необходима для того, чтобы выстроить систему полюсов, внутри которой один полюс (в нашем случае – поэты пушкинского круга) обретал свою легитимность в процессе отстаивания верности своих эстетических и этических принципов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Платон. Избранные диалоги / Перевод Я.М. Боровского. – М., 1965. – С. 533-534.

2. Боратынский Е.А. Полное собрание сочинений: В 3 т. – Москва-Augsburg, 2001. – Т. III. – С.101.

3. Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. – М., 1997. – Т. 10. – С. 264.

4. Давыдов Д.В. Сочинения: В 3 т. – СПб., 1895. – Т. 3. – С. 35.

5. Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым (1812–1819). – М., 1994. – С. 161.

6. Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. – М., 1989. – Т. 2. – С. 317.

7. Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. – М., 1895. – С. 125.

8. Сенека Луций Аней. Нравственные письма к Луцилию / Перевод и примеч. С.А. Ошерова. – М., 1977. – Письмо 7.

9. Давыдов Д.В. Сочинения: В 3 т. – СПб., 1895. – Т. 3. – С. 194.

10. Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. – М., 1989. – Т. 2. – С. 419.

11. Языков Н.М. Письма Н.М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). – СПб., 1918. – С. 100.

12. Остафьевский архив князей Вяземских: В 5 т. – СПб., 1899. – Т. III. – С. 144.

13. Вяземский П.А. Стихотворения. – Л., 1986. – С. 223.

14. Боратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. – СПб., 2000. – С. 260.

15. Давыдов Д.В. Сочинения: В 3 т. – СПб., 1895. – Т. 3. – С. 183.

16. Там же. – С. 193.

17. Там же. – С. 224.

18. Вяземский П.А. Стихотворения. – Л., 1986. – С. 243.

19. Боратынский Е.А. Полное собрание сочинений: В 3 т. – Москва-Augsburg, 2001. – Т. III. – С.119.

20. Давыдов Д.В. Сочинения: В 3 т. – СПб., 1895. – Т. 3. – С. 37.

21. Пушкин А.С. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1997. – Т. 10. – С. 59-60.

22. Давыдов Д.В. Сочинения: В 3 т. – СПб., 1895. – Т. 3. – С. 49.

23. Цит. по: Памяти князя Вяземского. Труд С.И. Пономарева. – СПб., 1879. – С. 105.

ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ

Л.Н. Конюхова,
Сахалинский государственный университет

ПАЛИНДРОМ КАК ИНВАРИАНТ МОНОСТИХА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА

Аннотация

В статье «Палиндром как инвариант моностиха в русской поэзии XX века» рассмотрены основные черты одной из экспериментальных форм, прослежены этапы становления и особенности жанра палиндрома. На ряде образцов палиндрома показана его стихотворная природа, намечены черты близости с моностихом.

L.Konuhova

PALINDROME AS AN INVARIANT OF SINGLE-LINE POEM IN RUSSIAN POETRY OF XX CENTURY

Abstract

This article “Palindrome as an invariant of single-line poem in Russian poetry of XX century” is about one of the experimental poetical forms. Author pays attention to establishment of palindrome and its main features. Various examples of single-line compositions show poetic origin of palindrome. In addition author indicates prospects of palindrome development in Russian modern literature.

Отдельные ‘палиндромы’ как образцы экспериментальной, игровой поэзии подходят под терминологическое определение моностиха. В форме ‘палиндрома’ пишутся известные своим лаконизмом афоризмы и характеризующиеся большим текстовым объемом рассказы, поэмы и пьесы. Но существующие на сегодняшний день теоретические характеристики ‘палиндромов’ в зарубежной и отечественной науке содержат далеко не всю информацию об этой экспериментальной форме и требуют ряда понятийных уточнений.

Подкрепленные конкретными практическими примерами ‘палиндромы’ в русской поэтической речи были известны еще на рубеже XVII-XVIII веков. Так, в «Словаре древней и новой поэзии» Н.Ф. Остолопова (1783–1833) ‘палиндромом’, а если использовать русскую терминологию – перевертышем или перевертнем – называется «род стихов или речи, которые, если читаются от левой руки к правой или от правой к левой; имеют одно произношение» [1]. М.Л. Гаспаров под ‘палиндромом’ (или даже палиндромоном), произошедшим от греческих выражений – «бегущий назад» и «возвращающийся», понимает фразу или стих, «которые могут читаться (по буквам или по словам) спереди назад и сзади наперед, при этом сохранится удовлетворительный смысл»[2].

В одном из новейших справочных изданий под авторством Б.П. Иванюка дана обширная статья о ‘палиндроме’, как о тексте «с возможностью прямого и обратного чтения. <...> В поэтической практике ‘палиндромы’ представлены

однострочиями и пьесами («Мил дорог город Лим» С. Сигея), стихотворениями и поэмами («Усруг Разина» В. Хлебникова), циклами и книгами («Атаказаката» М. Медведева). Встречаются скрещивания ‘палиндрома’ с традиционными стихотворными формами («Свод сонетов» В. Пальчикова-Элистинского).

Столь устойчивый интерес к ‘палиндрому’ вполне мог быть объясним языковой игрой с характерной для нее установкой на востребование всех ресурсов слова, однако нельзя не учитывать воспроизведенный в его структуре принцип зеркального отображения со всеми вытекающими из этого смысловыми последствиями. Так, И. Сельвинский указал на частичный ‘палиндром’ в имени главного героя в пушкинском «Евгении Онегине», С. Бирюков – на название повести Н. Гоголя «Нос», обратное первоначальному названию «Сон»»[3].

В американском издании Дж.Э. Каддона ‘палиндрому’ приписываются свойства от максимально лаконичных до сравнительно объемных выражений (от отдельно взятого слова до цельной синтаксической конструкции): «слово, которое остается таким же, если читать его наоборот или предложение (строфа), в котором порядок слов не меняется при чтении справа налево и наоборот, независимо от пунктуации и пробелов между словами [4].

В этих статьях дана довольно подробная характеристика ‘палиндрому’ как литературному явлению, но ни в одном из справочных или энциклопедических изданий нет указания на то, что ‘палиндром’, чаще всего, принимает форму моностиха. В то время как это очевидное явление. Хотя и не все палиндромы можно признать моностихами. В отдельных случаях палиндромы пишутся и в несвойственной им объемной форме, как-то – поэма, новелла или пьеса.

В русской поэзии ‘палиндромы’, как и собственно моностихи, появились только в XVII веке. Но самыми известными палиндромами стали так называемые «рачьи стихи» Гаврилы Державина:

Я разуму уму заря.

***

Я иду с мечем судия.

Возвышенность и торжественность, свойственные классицизму, отразились в его палиндромических моностихах, в которых, наряду с традиционными формами поэтического творчества, поднимались вечные темы добра и зла, справедливости и возмездия.

До начала XX века о ‘палиндромах’ известно лишь то, что создавались они крайне редко. В своей статье «Веков минувших палиндромы» Ю.Б. Орлицкий говорит о том, что даже «знаток поэтических диковинок ...С.Е. Бирюков, в своем удивительном школьном (!) учебнике «Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма», в специальной главе, посвященной ‘палиндрому’, заявляет: «После Державина следы поэтического палиндрома теряются», – и переходит сразу к Хлебникову». А.В. Белашкин, А.В. Бубнов и В.Н. Рыбинский, посвятившие этому литературному явлению свою совместную работу «Библиография русского и русско-иноязычного буквенного палиндрома», также не затрагивают период с 1806 по 1897 годы.

Однако все ранее названные исследователи сходятся во мнении, что начало XX века ознаменовалось всплеском подобных поэтических экспериментов. Так, в 1913 году Велимир Хлебников опубликовал стихотворение «Перевертень», состоящее из 16 ‘палиндромов’:

Чин званъ мечемъ навзничь...
Морозъ въ узелъ, лЬзу взоромъ...
И лежу. Ужели?....

Это первое в русской поэтической практике объемное произведение, написанное целиком в форме ‘палиндрома’. И это, несмотря на то, что орфография дореформенного периода, пестрящая ныне ушедшими из употребления Ь, Ъ и Ѣ, затрудняла процесс создания буквенных ‘палиндромов’. Но парадокс в том, что даже после отмены «Ъ» после согласных на конце слов русский ‘палиндром’ не стал развиваться по «западному» пути строгого буквенного ‘палиндрома’, а «начал строиться по принципу допущения ряда условностей, служащих целям расширения семантического поля художественного палиндромического текста»[5]. В «Перевертне» Велимира Хлебникова, если 16 палиндромов рассматривать как целостное произведение, нельзя определить размер. Поэтому одни строчки в данном произведении являются моностихами, другие – однострочками (в последних нельзя определить стихотворный размер).

Палиндромические примеры можно встретить в поэзии другого представителя литературы Серебряного века Валерия Брюсова:

Тень опять; я — память!
Ель опять; я — поле!

Эти две строки могут восприниматься как самостоятельные моностихи, но повтор слов «опять» и «я» связывает их в двустишие.

Примеры ‘палиндромов’ имеются и в стихотворениях Ильи Сельвинского:

Церковь гуденья недуг в окрест..

При этом в ряде указанных случаев возможно допущение и некоторых неточностей при прочтении строки справа налево. В двух процитированных выше примерах (из Валерия Брюсова и Ильи Сельвинского) несоответствия возникают из-за мягкого знака, а также вследствие фонетических изменений (ср. слово «окрест» у Ильи Сельвинского и его ‘палиндром’ от слова «церковь»). Во всех приведенных выше примерах отчетливо видно, что палиндромы приобретают форму моностишного высказывания: укладываются в одну стихотворную строку, обладают стихотворным размером (как правило, это хорей, так как первое слово, особенно первый слог находится под ударением) и даже имеют внутреннюю рифму (это наблюдается в палиндромах Валерия Брюсова).

Во второй половине XX века в научно-популярных изданиях появились работы, посвященные ‘палиндрому’. Например, в «Антологии русского палиндрома, комбинаторной и рукописной поэзии»[6] дана классификация ‘палиндромов’ по стилю (строгого и вольного), по формально-графическим признакам (монопалиндромы и полипалиндромы). В ‘палиндромах’ строгого стиля соблюдена абсолютная точность при прочтении слева направо и наоборот, как, допустим, у Дмитрия Авалиани:

Коли мили в шагу, жди Джугашвили, милок.

Если перед читателем ‘палиндром’ вольного стиля, то побуквенная симметрия отсутствует (как в ранее приведенном ‘палиндроме’ Ильи Сельвинского).

До Велимира Хлебникова в русской литературе ‘палиндромы’ существо-

вали, но в форме одностроков и отдельных слов (это и есть ‘монопалиндромы’ – цельные ‘палиндромы’). В поэзии футуризма ‘палиндромы’ назывались «отраженными лучами будущего»[7]. Именно в футуристистических экспериментах со стихом одностроок получил свой развернутый в содержательном и формальном отношении вид – до поэм палиндромических. При этом ‘палиндром’ был отнесен не к разряду экспериментов, а способу самовыражения наряду с прочими поэтическими формами. Так возникли ‘полипалиндромы’, сочинением которых был увлечен Велимир Хлебников.

Дмитрий Авалиани попытался сформулировать свое теоретическо-метафорическое представление о ‘палиндроме’ в форме самого ‘палиндрома’:

Палиндром:
иначе все –
и ты – боец,
вОвне локатор,
и широта колен
в овце.
О бытие!
...свеча,
ни морд, ни лап.

Но, наряду с образцами развернутых ‘палиндромов’, Дмитрий Авалиани известен и как автор однострочных ‘палиндромов’:

Я не моден, тут не до меня.

***

Икару дети верили... Ревите, дураки!

***

Дорого небо, да надобен огород.

Большинство палиндромов Дмитрия Авалиани является моностихами – в них легко определяется стихотворный размер (обычно – это ямб или хорей). Но и в одностроках («Я или суетен, или не те усилия?»), в которых невозможно определить размер, ощущается свой ритм.

Благодаря творчеству Дмитрия Авалиани в 1990-е годы буквенный ‘палиндром’ стал весьма распространенным явлением современной поэтической речи. При создании произведений в этом жанре, основным элементом является палиндромный устойчивый словесный комплекс (названный «говорящей» аббревиатурой ПУСК). У Дмитрия Авалиани подобные ПУСКи оригинальны и глубоки:

Муза, ранясь шилом опыта, ты помолишься на разум!
(ПУСК «муза — разум!)

Значительную роль в ‘палиндромах’ играют не только буквы, но слоги и даже собственно звуки. Например, в одностишии Сергея Кирсанова «водовозу руку кукурузоводов» чередуются гласный и согласный, а в середине комплекса соединились «*кукуку*».

Дмитрий Авалиани в своих ‘палиндромах’ активно использует ассонансные возможности в стихе. Однако заметим, что собственно моностихи не столь часто отличаются необходимой звукописью:

У тени или мафии фамилии нету.

В процитированном ‘палиндроме’ безударный звук «и» создает ощущение секретности, а в другом четверостишии эта же фонема становится еще и звуковым символом просторных вод африканского Нила. Неспешное течение реки уподобляется неспешному течению времени:

Линии, лилии, Нил.
Лира цвела. Лев царил.
Линии, мумии, Нил.
Нил один. Дики дни долин.

Тамбовский поэт и художник Николай Ладыгин, известный в живописи как мастер пейзажных полотен, в поэзии также экспериментирует с формой ‘палиндрома’:

Но ты тонка, как ноты тон...

В этой одинокой строке угадывается ямб. Она вполне может быть отнесена к разряду моностихов. Именно Николая Ладыгина поэт Николай Глазков назвал «штангистом поэзии», утверждая, что «не всякому поэту перевертни под силу»[8]. Впрочем, подобная оценка может быть и исключительно субъективна: в любом случае работа с ‘палиндромом’ сродни техническому написанию стихов, но отнюдь не связана с попыткой передачи лирического умонастроения, возникшего под влиянием некой эмоциональной парадигмы.

Отсутствие истинного поэтического толчка, безусловного в традиционной поэзии, не отталкивает современных авторов, которые продолжают пробовать свои силы на поприще ‘палиндрома’. В 2000 году вышла в свет «Антология русского палиндрома XX века», насчитывающая достаточно весомое количество образцов этой формы поэтического самовыражения [9]. Приведем несколько примеров палиндромического творчества из этого издания.

***
Меня истина манит сияньем. (Владимир Гершуни)
***
Утречко летело к черту...(Борис Майсел)
***
Он, Дали, не Гоген, и ладно. (Алексей Эрлих)
***
На вид ангел, а лег на диван. (Владимир Софроницкий)

Интересно, что в «Антологии русского палиндрома XX века» представлены не только ретроспектива русского ‘палиндрома’, ‘палиндромы-однострок’, но и жанры прозаической литературы – пьесы и новеллы, написанные по образцам палиндромической поэзии малого объема.

В этом сборнике русского ‘палиндрома’ сконцентрированы примеры ‘палиндромов’ из творчества восьмидесяти двух авторов, среди которых – Дмитрий Авалиани, Николай Ладыгин, Владимир Гершуни, Андрей Вознесенский, Виктор Гребенников, Евгений Харланов, Михаил Крепс, Валентина Васина, Марина Кудимова, Владимир Рыбинский и многие другие. Несмотря на кажущуюся ограниченность материала для ‘палиндрома’, все авторы сумели выработать свой стиль и определенную тематическую линию.

В большинстве ‘палиндромов’ пробелы между словами и пунктуационные знаки не считаются обязательными ограничителями смыслового и сугубо визуального пространства. Например, у М.Д. Франк-Каменецкого в ‘палинд-

ромах' «ТОНЕТЕНОТ», «ЛЕЗУВУЗЕЛ» зашифрованы слова, которые при внимательном прочтении легко узнаваемы – «ТОНЕТ ЕНОТ» и «ЛЕЗУ В УЗЕЛ». Однако при слитном написании этих грамматических конструкций возникает впечатление цельного слова, имеющего симметричную природу. Эта симметричность (или, иными словами, зеркальность) определяет неуловимую притягательность и таинственность 'палиндромов'. По мнению А.П. Квятковского, «если обычные повторы в стихах создают более понятную, «открытую» магию, то в 'палиндромии' повторы переходят в подсознание по трем тропкам, трем мостикам, создавая три аспекта дискретности симметрии, или, образно говоря, три царства мерцания. Ведь палиндромическая речь сравнивается с суггестивной лирикой, а для последней «характерны нечеткие, мерцающие образы, косвенные намеки, зыбкие интонационно-речевые конструкции»[10].

Кроме того, используемая в 'палиндромах' орфография позволяет создавать иные экспериментальные формы, которые можно делить на слова по-разному:

Отче, не они детектива духи!
Отче, не они детектив, а духи.
Отче, неон и детектив — ад ухи.
(Александр Никифоров).

С.Е. Бирюков в монографии «Зевгма» подчеркивает значимость 'палиндромии' в XX веке: «Если применительно к предыдущим векам мы можем пока говорить о значении палиндрома в переломные литературные времена в сильной степени гипотетически, то ко времени Велимира Хлебникова становится совершенно очевидно, что палиндром — такая реально-магическая форма, которая непременно возникает (возрождается) на сломе времени, как бы стараясь *скрепить* его. Обратимость и реверс здесь уже *осознаются*»[11].

Вот и конец XX столетия обозначился всплеском интереса к палиндромотворчеству. В начале 1990-х годов в Москве состоялся фестиваль 'палиндрома' и конференция, организованные палиндромистами Бонифацием и Андреем Белашкиным, а под руководством доктора филологических наук А.В. Бубнова выходит периодическое издание «Амфирифма», ставшее печатным органом одноименного клуба и объединившее авторов-палиндромистов из разных городов России. Кроме того, на Интернет-сайтах размещение палиндромических текстов не является большой редкостью (www.poezia.ru; www.stihi.ru; www.termitnik.ru; www.youngbotany.spb.ru и др.).

Так как в 'палиндромах' поднимаются «вечные» темы через незатейливые сюжеты, велика возможность, что начало XXI века ознаменуется появлением новых 'палиндромов' или других экспериментальных поэтических образцов, ориентирующихся, прежде всего, на собственно техническую работу с художественным словом.

'Палиндром' – это не только моностих по графическому выражению (как правило, он представляет собой одну строку), но и по содержанию, концентрации оригинальной мысли. Авторы палиндромов усложняют себе задачу, скрупулезно работая не только над каждым словом, но и над каждой буквой своего творения. Особенно ощутима в 'палиндромах' моностишной организации аллитерация. С помощью звукописи последователи палиндромных экспериментов создают ощущения, чувства, эмоции, которые часто не под силу выразить через традиционную расстановку слов. 'Палиндром' не имеет специфической

строфической организации, но чаще всего прибегает к такой форме строфы, как одностишие. Тем самым палиндром в одну строку, в котором можно определить стихотворный размер, автоматически становится моностихом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Остолопов Н.Ф. Словарь древней и новой поэзии. – СПб., 1821. – С. 326-327.

2. Гаспаров М.Л. Палиндром // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1968. – С. 655.

3. Иванюк Б.П. Поэтическая речь: словарь терминов. – М., 2007. – С. 146.

4. Cuddon J.A. Palindrome // The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. New-York, 1991. С.158-159. (пер. словарной статьи с англ. яз. выполнен Л.Н. Конюховой).

5. Бубнов А.В. Палиндромия с точки зрения...: Самая объемная книга о русском палиндроме. – Курск, СПб., 1998. – С. 98.

6. Антология русского палиндрома, комбинаторной и рукописной поэзии. – М., 2002. – С. 4.

7. Бирюков С.Е. Уроки барокко и авангарда: проблема усвоения палиндромического текста. – Тамбов, 1998. – С. 26.

8. Бирюков С.Е. И поэты есть мудрые на Руси!: http://rubtsov.penza.com.ru/palindrom

9. Антология русского палиндрома XX века / Сост. В.Н. Рыбинский; под ред. Д.Е. Минского. – М., 2000. – С. 328.

10. Квятковский А.П. Поэтический словарь. – М., 1998. – С. 339.

11. Бирюков С.Е. Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. – М., 1994. – С. 140.

А.О. Печенкина,
Московский государственный
областной университет

ПРИНЦИПЫ «ТЕАТРА ПАНПСИХЕ» В ДРАМЕ Л.Н. АНДРЕЕВА «ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА»

Аннотация

В статье рассматривается своеобразие объекта изображения в «панпсихической» драме Л.Н. Андреева «Екатерина Ивановна» – динамика внутреннего психологического процесса. Также внимание автора статьи сосредоточено на принципах конкретного воплощения этих глубинных метаморфоз посредством сложной системы мотивов и деталей.

Alexandra Pechenkina

PRINCIPLES OF «THEATRE PANPSYCHE» IN DRAMA *YEKATERINA IVANOVNA* BY LEONID ANDREYEV

Abstract

The article deals with peculiarity of the object represented in a «panpsyche» drama *Yekaterina Ivanovna* by L. Andreyev – the moving of inner psychological process. Also the attention is focused on the principles of realization of these deep metamorphoses by means of complicated system of motives and details.

Пройдя в драматургии сложный путь творческого поиска, Л.Н. Андреев в 1910-х годах приходит к обоснованию театра «панпсихе», принципы которого он изложил в своих «Письмах о театре». В двух статьях (1912 г. и 1914 г.) писатель раскрыл главные положения этой теории: «мысль, человеческая мысль в ее страданиях, радостях и борьбе – вот, кто истинный герой современной жизни, а стало быть, вот кому и первенство в драме»; доминирующим объектом изображения избрано не «внешнее действо» [1,VI,511], а «образы современной души, души утонченной и сложной, пронизанной светом мысли, творящей ценности новых переживаний» [1,VI,515]; перспектива такого сочинения восходит к постижению «души мира и людей» [1,VI,546]. В своем «театре правды» Андреев стремится к синтезу реального и условного.

В драме «Екатерина Ивановна» (1912) Андреев целенаправленно воплотил принципы театра «панпсихе», проникнув в глубины противоречивой человеческой души и раскрыв ее подсознательное опустошение. Главная героиня – «чистая, великодушная, благородная» Екатерина Ивановна – неостановимо утрачивает свои природные свойства. Внешним побудителем такого нисходящего процесса послужили реальные истоки: отсутствие доверительных отношений с мужем, горькая обида на него, заподозрившего безвинную жену в измене, низменная месть Катерины Ивановны обидчику – плотское сближение с ничтожным Ментиковым. Но не эти переживания и поступки оказываются под «микроскопом» авторского анализа, а та стремительная стихия нравственного падения женщины, ее пугающее внутреннее выражение. Единожды

отдавшись Ментикову, Екатерина Ивановна болезненно ощущает себя безвозвратно утратившей чистоту и бездумно подчиняется этому необычному для нее самочувствию, погружаясь в бездну темных страстей. Ментиков становится ее «постоянным» любовником, она настойчиво домогается Коромыслова, наконец, словно демонстрируя свою порочность полуголая бесстыдно танцует по требованию заскучавших мужчин. Писатель развенчивает безобразные плотские низины человеческого существа.

В «Письмах о театре» Андреев утверждал: «нет правды психологической там, где нет ясного обоснования, мотивировки» [1, VI, 539]. Но интуитивные порывы, психически уродливые смещения невозможно выразить на сцене конкретно. Поэтому драматург для воплощения глубинных метаморфоз прибегнул к сложной системе мотивов и деталей.

Внутреннее разрушение личности донесено символическим образом «танца». Писатель объяснил этот прием так: «несчастье Катерины Ивановны в том, что она (в своем движении. – А. П.) даже не упала сразу, так легче было бы подняться, а потеряла ритм, сошла с ноги, закружилась и кружится все быстрей» [2]. Во 2-м действии мы застаем героиню в состоянии, когда ее уже «толкнули» к бездне, и движения ее, отмеченные ремарками, принимают характер сбитого «танца», вызывающего прямую ассоциацию с движениями подстреленной птицы: «движения ее всегда неожиданны и похожи на взлет или прерванный танец: минутами становится совсем неподвижной» [1, IV, 426], она постоянно поднимает, как для полета, руки, но они бессильно падают, «закидывает руки назад, вытянувшись, как для полета или падения в пропасть». Низменная связь с Ментиковым делает ее движения «слепыми». И хотя они странны – в них нет неестественности, позерства, в этих органичных для нее действиях выражено зыбкое внутреннее состояние, слом души героини.

Очевидное внутреннее изменение в Екатерине Ивановне в 3-м действии чувствуется с самого ее появления в мастерской Коромыслова. Белое платье – подчеркнутая деталь 2-го действия – теперь заменяется черной шубкой и вуалью. Речевые обороты, пошлые шутки героини обличают внутреннее опустошение женщины. В движениях появляется что-то неестественное, ломаное. Катерина Ивановна откровенно заманивает Коромыслова к соитию. А настроение у нее истерическое: ложь сменяется притворством, разгульное состояние – отчаянием, даже неосуществленным желанием покончить с собой. Психическое расстройство передано впечатляюще.

В 4-м акте скрытый «танец» движений выливается в танец-агонию, исполненный полуголой Екатериной Ивановной по требованию собравшихся в мастерской праздных «греховодников». В этой сцене есть явная имитация движений умирающей птицы. Такая аналогия не случайна: если рассматривать птицу как христианский символ человеческой души, предсмертное трепыхание лишенной неба пернатой становится символом падения и гибели: «Забрасывает вверх, как для полета, тонкие голые руки и делает несколько слабых, неловких движений, мучительных своею неразрешенностью... Екатерина Ивановна как-то странно вскрикивает, кружится, беспомощно и дико взмахивая руками» [1, IV, 466]. Верно заметила Л.А. Смирнова, что «Екатерина Ивановна становится игрушкой какой-то неясной для нее самой, губительной стихии» [3].

Следует подчеркнуть главный акцент драмы Андреева. Падение Екате-

рины Ивановны – это не следствие некоего демонического начала. Екатерина Ивановна по существу даже не осознает трагедию своей жизни. На вопрос Коромыслова: «Ты мучаешься?», – она отвечает: «Нет» [1, IV, 452]. Она развратничает не потому, что стремится к этому, а потому, что некая иная сила несет ее к саморазрушению. Единственным спасением от захватившей ее стихии явилась бы ее физическая смерть. Отсюда возникает совет Коромыслова: «Просите мужа, пусть пристрелит вас» [1, IV, 453].

Сложная атмосфера драмы с ее подтекстовыми акцентами, разветвленной системой символов воплощена автором посредством многозначных характеристик всех персонажей, даже будто второстепенных, третьестепенных. Остановимся на самой, казалось бы, ничтожной фигуре Ментикова, выделив ряд функций, сообщенных драматургом этому образу.

Ведущая черта этого лица – его мелкость, ничтожность, что оттенено на всех уровнях: внешнего облика – «небольшого роста человек с мелкими чертами лица» [1, IV, 426]; фамилии с уничижительным суффиксом *-ик*; деталей, подчеркивающих жалкость этого существа: одето оно в «костюмчик», «кушает» «сухарики», имеет «маленькое зеркальце». В 1-м действии еще до появления Ментикова его сущность определена Георгием Дмитриевичем как «ничтожество, которого не опасаешься, которого ты даже не замечаешь, потому что оно ползает ниже уровня твоего взгляда; ничтожества, у которого свои аппетитцы, желаньица, которого ничем нельзя оскорбить, которое втирается, терпит плевки, страдальчески хлопает глазками», «он очень услужлив и даже мил» [1, IV, 419]. Во 2-м акте, в деревне, отмечена непрочность положения Ментикова: он как будто бы собирается уезжать. О случайности его присутствия говорят такие детали: он неуверенно оправляет то костюмчик, то прическу. Способы, которыми Ментиков пытается удержаться в обществе, рядом с Катериной Ивановной вызывают отвращение – взрослый мужчина плачет и жалуется. Тем не менее явственно подчеркнута значимость этого персонажа среди других действующих лиц. Екатерина Ивановна испытывает некую потребность общения с ним; она считает Ментикова достойным ее излияний. Одна за другой следуют реплики: «Куда вы, Аркадий Просперович? – сидите же...», «Куда вы?», «Вы не слушаете меня?» [1, IV, 430]. Когда героиня играет на рояле их общую с мужем «молитву» [1, IV, 442], «вползает» Ментиков. Но Георгий Дмитриевич не только позволяет ему это, он принимает у Ментикова предложенную сигару, и они *вместе* «курят и слушают» [1, IV, 442]. Все здесь свидетельствует о печальном факте: присутствующие незаметно для себя принимают в свой круг ничтожного человека, ощущая даже необходимость беседы с ним, как с «человеком знающим» [1, IV, 447]. В 4-м действии этот персонаж чувствует уже себя в мастерской необходимым: «Давайте я похозяйничаю. Я умею» [1, IV, 447]. На банкете Ментиков ведет себя развязно, безмерно пьет, вставляет свои пустые рассуждения в чужую речь. А Георгий Дмитриевич признает его своим.

Укоренение «ментиковщины» от действия к действию драмы приобретает все более тотальный характер. Несмотря на то, что не раз звучит вопрос: «почему вы не выгоните Ментикова?» [1, IV, 452], последний крепко сидит на занятом им месте, и никто не делает попыток изгнать его. Его участие в происходящем исполняет важную функцию – свидетельствует о предельном опустошении того мирка, в котором, не замечая и не протестуя против судьбы, гибнет душа по природе достойной женщины. Ее падение будто узаконивает процветание ничтожного Ментикова. Не без его влияния Катерина Ивановна прихо-

дит к мучительно-безысходному признанию: «Раз я могла сделать это... то чего же я не могу? Значит, все могу».

Другие персонажи пьесы по-разному, но с одинаковой активностью содействуют утверждению порочной атмосферы. Георгий Дмитриевич – эгоизмом, нечуткостью, пассивностью. Он понимает свою ущербность: «Я – не могу, ничего не могу, понимаешь: ничего. Нищий. Дурацкая ли это покорность судьбе или рабство, прирожденное лакейство натуры, для которого не хватало только случая...» [1, IV, 459]. Муж не только малодушно отдает жену Ментикову на «разграбление» и «поругание», падение – он говорит «браво» Екатерине Ивановне, полуголой исполнившей свой танец-агонию. А она оказывается жертвой «мелких» мужчин, в частности супруга, у которого не хватает духа даже «пристрелить» жену, хотя однажды, по малодушию, он уже пытался это сделать. В 4-м действии, ненадолго впадая в обличительный пафос, Екатерина Ивановна говорит: «Сами хотите, чтоб я была Саломея, а пророка нет, и это наглость. Всё какие-то людишки, жабы...». В определениях несчастной, которые обращены к мужу звучит издевательская интонация: «Хорошенький, добрый, такой добренький...» [1, IV, 469]. Известное уважение должен как будто вызывать Коромыслов – весьма неоднозначная личность, поскольку он «безнравственен только потому, что ему неохота, лень, не хочется быть нравственным» [2]. Однако такая позиция лишь усугубляет тлетворность «безвоздушного» пространства, в котором гибнет Катерина Ивановна.

В письме к Вл.И. Немировичу-Данченко Андреев писал: «Ментиков фатален: его присутствие и терпимость к Ментикову безнадежно осуждают не только Екатерину Ивановну, но и всю ту жизнь, в которой может он безнаказанно существовать» [2]. Между тем драматург считал Екатерину Ивановну – «образом чистейшим», поскольку «она пришла танцевать в ту жизнь, в которой никто не танцует, зато все толкаются и действуют локтями» [2]. Андреев выделил Екатерину Ивановну как человека, который своим падением выразила потрясение «миром наружным, его ложной моралью, мнимой правдой» [3], вызвав «горечь сопереживания» [3] читателя.

В драме «Екатерина Ивановна», построенной по принципам театра «пан-психе», все определено динамикой внутреннего психологического действия. Именно эта динамика позволила воплотить внезапность, необратимость, трагичность деформации личности. Подобное воплощение устрашающего процесса, утрата врожденных высоких душевных свойств Катерины Ивановны воспринимается как выражение бескомпромиссного авторского разоблачения погрязшего во грехах мира.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Андреев Л.Н. Собрание сочинений. В 6 т. – М., 1990–1996. – Т. VI, 511. Все ссылки на произведения Андреева даны по этому изданию с указанием тома и страниц в тексте.

2. Письма Л.Н. Андреева к Вл.И. Немировичу-Данченко и К.С. Станиславскому. [Публ. и коммент. Н.Р. Балатовой.] // Вопросы театра. – М.,1966. – С. 286–287.

3. Смирнова Л.А. Творчество Л.Н. Андреева: проблемы художественного метода и стиля. – М., 1986. – С. 67.

О.В. Югай,
Южно-Сахалинский педагогический колледж
Сахалинского государственного университета

ЖАНР СТИХОТВОРНОЙ НОВЕЛЛЫ XX ВЕКА: ОТ ПОЭЗИИ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА К ТВОРЧЕСКИМ ЭКСПЕРИМЕНТАМ ВАДИМА СТЕПАНЦОВА

Аннотация

В статье рассматриваются творческие эксперименты со стихотворной новеллой в поэзии Игоря Северянина и Вадима Степанцова. В новой для литературы XX века авторской разновидности жанра определяются специфичные для западноевропейской ренессансной новеллы черты. На единичных образцах стихотворной новеллы в русской поэзии демонстрируется стилизация этой жанровой формы.

Olga Yugai

THE GENRE OF A POETIC NOVEL IN XX CENTURY: FROM IGOR SEVERYANIN'S POETRY TO CREATIVE EXPERIMENTS OF VADIM STEPANTSOV

Abstract

The article is devoted to study of creative experiments with poetic novel in poetry of Igor Severyanin and Vadim Stepantsov. In a new for XX century author's genre specific West-European features of Renaissance shot-story are being determined. Stilizaition of the genre's form is demonstrated on a few examples rhymed short stories in Russian poetry.

Возникшая в ранней ренессансной культуре Запада новелла прочно ассоциируется с эпическим родом литературы и с прозаической формой речи. Между тем художественная словесность XX столетия иллюстрирует и иные образцы этого жанра, в терминологическом значении продолжающегося оставаться спорным и неоднозначным.

Именно в поэзии Игоря Северянина (активно экспериментирующего с жанровыми модификациями – от авторских поисков в виде поэзы или синематографа до традиционных поэм, сонетов, стансов и многого другого) был представлен один из образцов стихотворной новеллы. Позже попытка адаптации традиционного прозаического жанра в поэтической речи была заявлена в творчестве Вадима Степанцова (род. 1960) – последователя так называемого куртуазного маньеризма, формально близкого к эпатирующему эгофутуризму Игоря Северянина (1887-1941). Жанр новеллы в поэтическом пространстве обнаруживает себя и в искусстве палиндромов конца XX века.

Какими же чертами в сравнении с прозаической новеллой наделена новелла стихотворная, и какие формально-содержательные изменения произошли в этом жанре от начала XX столетия к его хронологическому завершению?

В корпусе произведений Игоря Северянина несколько стихотворений имеют подзаголовок новелла («На голос весенней новеллы», «Тринадцатая» и др.).

Одним из таких примеров является и «Марионетка проказ. Новелла» (1910). Приведем текст стихотворения целиком, чтобы продемонстрировать отличительные черты этой формы:

Чистокровные лошади распылились в припляске,
Любопытством и трепетом вся толпа сражена.
По столичному городу проезжает в коляске
Кружевная, капризная властелина жена.

Улыбаясь презрительно на крутые поклоны
И считая холопами без различия всех,
Вдруг заметила женщина – там, где храма колонны,
Нечто красочно-резкое, задохнувшее смех.

Оборванец, красивее всех любовников замка,
Шевелил ее чувственность, раболепно застыв,
И проснулась в ней женщина, и проснулась в ней самка,
И она передернулась, как в оркестре мотив.

Повелела капризница посадить оборванца
На подушку атласную прямо рядом с собой.
И толпа оскорбленная не сдержала румянца,
Хоть наружно осталася безнадежной рабой.

А когда перепуганный – очарованный нищий
Бессознательно выполнил гривуазный приказ,
Утомленная женщина, отшвырнув голенищи,
Растоптала коляскою марьонетку проказ...

[1: 49]

В пяти катренах (20 стихотворных строчек) развернут полноценный новеллистический сюжет со всеми его составляющими: отсутствие традиционной экспозиции и ее подмена (или же полное слияние) завязкой (от первого катрена до третьего), яркая и предельно напряженная кульминационная часть (конец третьего катрена и весь четвертый катрен) и максимально динамичная развязка (пятый катрен). В стихотворном тексте, в сравнении с собственно эпическими формами, сюжетная канва обозначена тезисно. Но, несмотря на лаконичный характер поэтического повествования, присущий лирике как таковой, стихотворение воспринимается вполне самостоятельной историей, подобной рассказу или небольшой повести. Заметим, что В.Е. Хализев, размышляя о сущности сюжета в лирическом роде литературы, отмечал значимость сюжета для произведений такого уровня, его скупую детализированность и предельную компактность [2: 381]. Таким образом, в стихотворении Игоря Северянина «Марионетка проказ» не только обозначена сюжетная линия, но эта сюжетная линия практически целиком соответствует шаблонам ренессансных новелл. Однако в этом соответствии явным становится установка поэта на стилизацию. Все последующие обнаруживаемые в этом стихотворении Игоря Северянина черты воспринимаются именно как сознательная имитация характерных особенностей ренессансной новеллы.

Центростремительность и динамика сюжетной направленности новел-

листического плана прослеживаются и через словесный ряд. Используемые в тексте стихотворения глаголы определяют основную канву поэтического повествования: «**проезжает** властелина жена» (элемент частичной экспозиции, приближающей читателя к завязке), «**вдруг заметила** женщина», «**проснулась** в ней самка», «**передернулась**» (собственно развитие действия и завязка), «**повелела** капризница **посадить** оборванца» (предкульминационная часть и сознательно скрытый момент наивысшего напряжения в сюжете), «**отшвырнув** голенищи», «**растоптала** коляскою» (спад в действии и развязка).

Как и следует в новелле, система главных героев у Игоря Северянина сведена к минимуму (два противоположных по своему социальному статусу героя – «кружевная капризная властелина жена» и «оборванец», «очарованный нищий»). Дополняет систему героев и трижды упомянутый образ «толпы»: «любопытством и трепетом вся толпа сражена», «улыбаясь презрительно на крутые поклоны и считая холопами без различия всех», «и толпа оскорбленная не сдержала румянца, хоть наружно осталась безнадежной рабой».

В тематическом значении новелла Игоря Северянина также весьма специфична: вспомним, что канонический образец новеллистической формы Джованни Боккаччо «Декамерон» обладал, чаще всего, сюжетами, связанными с любовными похождениями, герои которых искали удовлетворения, прежде всего, своих плотских желаний, а не высоких чувств. Игорь Северянин, следуя ренессансной традиции, за основу сюжета берет физиологическую страсть героев противоположно разных сословий: знатной замужней дамы и всколыхнувшего ее чувственность нищего.

Немаловажным для ренессансной новеллы становилось и нарушение общепринятых моральных норм – подобная деталь также находит себе место в «Марионетке проказ»: окружающие жену «властелина» люди называются «оскорбленной» толпой, осуждающей героиню за ее неблаговидный, произошедший на глазах общества неблагопристойный поступок («толпа оскорбленная не сдержала румянца»). Поэт вводит антитезу желания стать свидетелями страсти «властелина жены» и страха перед этим желанием – «любопытством и трепетом вся толпа сражена».

Кроме того, одной из ярких присущей новеллистической форме черт в произведении является и исключительный, невероятный для обыденности случай: богатая дама, супруга высокопоставленного человека («властелина жена», «капризница»), увидев однажды среди «холопов» «нечто красочно-резкое, задохнувшее смех», превращается в «самку». И смело идет на сближение с «оборванцем, красивее всех любовников замка», «нищим», стремясь удовлетворить свою внезапно возникшую физиологическую страсть (названной в стихотворении капризом, «гривуазным приказом»).

Социально неравный статус героев, антитеза любви и физиологической страсти определяется и в ряде противоположных по смысловой наполненности, но не являющихся безусловными антонимами словоформ: «властелина жена», «кружевная» и «нищий», «оборванец»; «капризница» и «холопы», «раба».

Отход от ренессансных установок отчасти можно усмотреть в том, что идеология Возрождения, утвердившая собственный свод морально-эстетических норм (человеческая сущность становилась превыше божественной, телесное доминировало над духовным), чаще всего основывалась на высмеивании человеческих пороков. У Игоря Северянина, напротив, высмеивание как тако-

вое отсутствует и в новелле лишь констатируется невозможный, исключительный для обыденности факт. При этом в новелле позволяется сравнить страсть героини с животным инстинктом, а ее саму назвать «самкой», в которой просыпается несвойственное обычным людям безудержное плотское желание, не сдерживаемое любопытством «толпы». «Оборванец», «нищий», «нечто красочно-резкое», разбудившее в ней женщину, становится всего лишь «марьонеткой проказ», вещью, «растоптанной» властью знатной дамы.

Интересна в новелле Игоря Северянина и еще одна деталь, достаточно часто фигурирующая в ренессансных историях: эпизодический образ храма, у колонн которого и происходит встреча героини с «оборванцем». «Властелина жена» ощущает себя «женщиной», а позже и «самкой» на фоне христианского собора. Всевластие героини (данное ей человеческим сообществом) перерастает во вседозволенность, вследствие которой нарушаются христианские заветы (прежде всего – церковное представление о браке), а позже и разрушается человеческая целостность – богатство оправдывает порок, а физическая нищета преклоняется перед злом. Именно любовные коллизии, лежащие в основе многих ренессансных новелл, демонстрировали читателю эпохи Возрождения возможность отступления от тех или иных канонических требований христианской религии. Разумеется, что эти отступления были порицаемы церковниками, но через подобного рода образцы реализовалась ведущая идеология того времени в искусстве – всевластие и всемогущество человека на земле.

Однако нетривиальную любовную историю с ее максимально динамичным развитием можно обнаружить и в других стихотворениях поэта, не обозначенных жанром новеллы. Например, стихотворение «Это было у моря» (1910) обладает практически всеми из перечисленных (формальных) признаков «Марионетки проказ»: безымянная королева, внимающая звукам шопеновских мелодий, разбивает сердце своего пажа, становясь его «рабыней»:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла – в башне замка – Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

Было все очень просто, было все очень мило:
Королева просила перерезать гранат;
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.

А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней проспала госпожа...
Это было у моря, где волна бирюзова,
Где ажурная пена и соната пажа.

[1: 43]

Однако этот поэтический текст едва ли отвечает требованиям стилизации новеллистического жанра. В отличие от «Марионетки проказ», в нем не обозначает себя напряженная интрига. В первом случае героиня единожды, пользуясь своим положением, невзирая на окружающих, удовлетворяет свою физиологическую страсть, а во втором стихотворении чувства героев естественны и взаимны. Завершается «Марионетка проказ» в сугубо новеллистическом

ключе – трагедией молодого оборванца, а в стихотворении «Это было у моря» конец весьма позитивен (хотя эта позитивность не обозначена ярко и безусловно). Сюжетное решение обусловлено и еще одним различием: социальный статус влюбленных героев «Это было у моря» второстепенен, главным становится потребность героев («королевы» и ее «пажа») в любви друг к другу.

Романтическая страсть героев поэмы-миньонета Игоря Северянина разворачиваются под звуки шопеновских сонат – «королева играла – в башне замка – Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж», «и пажа полюбила вся в мотивах сонат», «это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа». Волшебство музыки Шопена способствует возникновению любовных чувств – очевидно, сильных и взаимных. Образ шопеновских сонат отражается и в особой мелодичности, легкости стихов. Поэтом создается интимная, камерная обстановка, тогда как в «Марионетке проказ» главное событие, динамичное и напряженное до максимума, разворачивается в «столичном городе» на глазах у «изумленной» «толпы».

Отличительными чертами двух несопоставимых по жанровой природе произведений становится и то, что в «Марионетке проказ» страсть героини удовлетворяется бесстыдно и прилюдно (главная героиня тем самым демонстрирует вседозволенность), в то время как в «Это было у моря» отношения героев, овеянные романтическим символом («перерезанный гранат»), развиваются в тайне («где встречается редко городской экипаж», «в башне замка»).

Вероятно, учитывая несопоставимость этих произведений по уровню напряжения в сюжетном действии и самом отборе сюжетного материала, Игорь Северянин преднамеренно называет стихотворение «Это было у моря» не новеллой, а поэмой-миньонетом. Здесь же заметим, что миньонет является одной из десяти изобретенных Игорем Северяниным стихотворных форм. Скорее всего, при создании этого жанра поэт ориентировался на то, что французское слово «миньон» (mignonne) означает крошечный, подразумевая под изобретенной формой миниатюрное (лаконичное, значительно ограниченное в текстовом пространстве) лирическое произведение. В сущности утвержденный в подзаголовке термин «поэма-миньонет» обладает природой оксюморона: поэма подразумевает большое или среднее по объему стихотворное произведение, а миньонет – максимально лаконичную жанровую форму. Однако жанр стихотворной новеллы или новеллы в стихах (каковой и является стихотворение «Марионетка проказ») в его лексическом значении чертами оксюморона не обладает. Части сюжетного действия (от экспозиции разных уровней до развязки или эпилога) новеллистического плана могут быть заданы тезисно, скупо очерчены и предельно лаконичны. При всем этом и на сравнительно небольшом стихотворном пространстве может быть представлена новеллистическая история, отвечающая всем необходимым требованиям этого жанра в его прозаической форме речи.

Еще одним из ярких примеров такой жанровой вариации, как стихотворная новелла, является «Новелла» (посвященная памяти С.Я. Надсона и Игоря Северянина) Вадима Степанцова. В центре этой новеллы, в которой, как и у Игоря Северянина, ярко обозначает себя стилизация, развивается сюжет о безответной любви старика-цветочника к молодой красавице Виолетте:

Старик-цветочник и Виолетта, старик-цветочник и Виолетта.
Какая прелесть, какая сказка, какая нега, какой полет!

Стояло самое начало лета, он называл ее «мечта поэта»,
она кокетливо стреляла глазками и нарекла его «мой Ланселот».

Для Виолетты, смешливой феи, старик-цветочник в оранжерее
растил фиалки и гиацинты, цветы, так шедшие ее глазам.
Поутру шла она вдоль по аллее, и он букетик ей вручал, немея.
Ах, лето дачное, ах, лень беспечная, заря клубничная, души бальзам!

И ночью часто сидел украдко старик-цветочник и грезил сладко
в кустах сирени под освещенным окном владычицы его тревог,
идя домой к себе, плясал вприпляску, а с первой пташкою корпел над грядкой
и в десять с четвертью, как на свидание, бежал с букетиком, не чуя ног.

И вот однажды, бродя под вечер, он поражен был внезапной встречей,
и пораженный, он схоронился в тени медово цветущих лип:
его волшебница, смеясь беспечно, шла в легком платьице, обняв за плечи
юнца небритого, длинноволосого, – и понял старенький, что он погиб.

И наблюдал он померкшим оком, к оконной раме прижавшись боком,
как средь лукавых полночных бликов во мгле сплетаются их тела.
Дошел до дома он в бреду жестоком, глупец, обманутый повесой-роком,
и клял негодницу за легкомыслие, и горько сетовал, что жизнь прошла.

Старик-цветочник и Виолетта. Быть может, повесть банальна эта.
Старик-цветочник, проснувшись, злобно крушил розарий, топтал цветы,
а в десять с четвертью, придя к аллее, застыл как статуя, увидя фею
в расцвете пламенном и торжествующем небесной прелести и красоты.
[3: 28-29]

Круг героев Вадима Степанцова, как и в новелле Игоря Северянина, сведен к минимуму и представляет собой некий любовный треугольник: красавица Виолетта, ее безымянный возлюбленный («юнец» «небритый», «длинноволосый») и старик-цветочник. Но новеллы Вадима Степанцова и Игоря Северянина по-своему различны (хотя, конечно же, стихотворение Вадима Степанцова можно воспринять как стилизацию на новеллу Игоря Северянина, который в свою очередь имитирует ренессансные шаблоны).

Условно ренессансным отголоском может стать ситуация влюбленности пожилого человека в молодую девушку (подобные чувства в ренессансной культуре были нередкостью, особенно когда дело касалось материальной состоятельности кандидата на руку и сердце молодой женщины). Но чувства старика до кульминационного развития отличаются романтической гипертрофированностью – «называл ее «мечтой поэта», «растил фиалки и гиацинты», «грезил сладко», «плясал вприсядку», «корпел над грядкой», «бежал с букетиком, не чуя ног». Измена девушки, лицезрение ее любви к молодому человеку изменяют пожилого цветочника – обманутый, он рушит свою оранжерею и топчет цветы в ней.

На первый взгляд, в стихотворении яркая новеллистическая интрига отсутствует. Более того, создается впечатление, что финал этой новеллы не отли-

чается открытой трактовкой, как в «Марионетке проказ» Игоря Северянина: утром возлюбленная старика вновь появляется в его жизни. Однако новеллистическая кульминация и ее развязка у Вадима Степанцова завуалирована: старик, лицезревший «сплетение тел» молодых людей, видит свою «фею» в ином свете – перед ним предстает героиня, познавшая близость. И потому новые чувства, возникшие в душе цветочника, по-новеллистически неожиданны и непредсказуемы. Примечательно, что и сам поэт создает некую иллюзию в своем стихотворении, называя «происшествие» со стариком «банальной повестью».

Небезынтересным становится и упоминание в тексте стихотворения «Новелла» двух жанровых образований – «сказки» и «повести», которые в поэтическом контексте воспринимаются в значении любовной истории. Но при всем этом отбор сюжетного материала, качество интриги в нем заставляют воспринимать это стихотворение именно как новеллу, именно как стилизацию на этот жанр.

Переклички с Игорем Северяниным, имя которого наравне с Семеном Надсоном, вынесено в эпиграф-посвящение, обозначаются, вероятнее всего, попыткой преднамеренной иронической стилизации не только языка поэта Серебряного века (излюбленные Игорем Северяниным внутренние рифмы, мелодическая легкость лирического повествования, изящная простота слога и другое), но и стилизацию новеллы как таковой. При этом заметим, что поэты используют именно стилизацию литературного жанра (а только не речевую манеру).

Таким образом, Игорь Северянин и Вадим Степанцов демонстрируют возможность новеллы не только как сугубо прозаического жанра, но и поэтического. Но поэтическая новелла Игоря Северянина и Вадима Степанцова развивается по пути стилизации – преднамеренной и безусловной. Игорь Северянин имитирует (как прямо, так и опосредованно) ренессансную новеллу, а Вадим Степанцов пародирует, вероятнее всего, стилизованную новеллу Игоря Северянина. «Новелла» Вадима Степанцова – это пример «двойной» стилизации, обусловленной «игровым» началом литературы постмодернизма. Однако несмотря на то, что новеллы Игоря Северянина и Вадима Степанцова – образцы стилизации, рассмотрим стихотворную новеллу в системе теоретических компонентов литературоведения.

Местоположение стихотворной новеллы в иерархии других жанровых модификаций как эпического, так и лирического родов литературы требует объяснений. Прежде всего, следует определить, жанром какого из родов литературы является стихотворная новелла. Если принять за основу представление о том, что сюжетный материал есть исключительное достоинство эпоса или драмы – а такой позиции придерживаются Г.Н. Поспелов [4: 49] и Л.И. Тимофеев [5: 71], – то значит, что стихотворная новелла есть образец эпической литературы (как и, например, роман в стихах). Если же согласиться с В.В. Кожиновым [6: 422–427] и В.Е. Хализевым [2: 381], что сюжет может проявлять себя и в собственно лирических произведениях, тогда стихотворная новелла должна быть отнесена к лирическому роду.

Кроме того, универсальный характер стихотворной новеллы (одновременная явленность в ней черт эпического и лирического рода литературы) может позволить отнести этот жанр и к лиро-эпосу. Именно в этой промежуточной

категории родового деления И.А. Дымова выделяет стихотворные произведения (называемые исследовательницей новеллами) многих поэтов XIX века (и, прежде всего, Н.А. Некрасова [7]). Свою позицию И.А. Дымова объясняет так: «в «чистой» лирике не может быть вполне развитого сюжета: как правило, он неразвит, едва намечен, в то время как в нашем лиро-эпическом жанре сюжет налицо» [7: 29].

Необходимо отметить, что И.А. Дымова делает попытки доказать принадлежность ряда баллад Н.А. Некрасова (по определению самого поэта) к новеллистическому жанру, а именно – к стихотворной новелле. Но если И.А. Дымова новеллистические приметы усматривает непосредственно в текстах, названных Н.А. Некрасовым балладами, то акцент внимания в нашем случае состоит в том, что сами поэты (Игорь Северянин и Вадим Степанцов) определяли жанровую природу своих текстов как новеллу.

Добавим и то, что некрасовские баллады, особенности которых на достаточно высоком уровне рассматриваются в многочисленных работах И.А. Дымовой [8], все же отличаются более развернутым текстовым пространством.

А вот стихотворения Игоря Северянина, Вадима Степанцова и других поэтов, экспериментирующих с жанром новеллы весьма лаконичны. Скорее всего, именно произведения Игоря Северянина и Вадима Степанцова являются стихотворными новеллами: напомним, что Игорь Северянин вносит слово «новелла» в подзаголовок одного из своих стихотворений, а Вадим Степанцов использует это слово в качестве абсолютно самостоятельного названия.

Интересно и определение жанра стихотворной новеллы в системе близких ей жанровых модификаций, а именно: баллады и басни (по такому пути идет и И.А. Дымова). Сюжетный характер стихотворной новеллы может поставить этот жанр в один ряд с балладой. Однако подмена новеллы балладой едва ли допустима. Впрочем, отчасти романтическая баллада в ее любовном или мистическом направлениях (например, «Светлана» В.А. Жуковского) может быть близка к основным канонам новеллистического жанра. Поэтому И.А. Дымова не случайно называет ряд произведений Н.А. Некрасова стихотворными новеллами, а также ставит в один ряд с ними, именуя новеллистами и таких поэтов, как А.Н. Апухтин, Н.П. Огарев, И.С. Никитин, Я.П. Полонский, С.Я. Надсон и другие [9]. И.А. Дымова даже оспаривает мнение исследователей о принадлежности стихотворения «Гусар» А.С. Пушкина к жанру баллады, утверждая причастность этого произведения к одному из ранних опытов русской стихотворной новеллы [10].

Что касается возможной однородности стихотворной новеллы с басней, то здесь общие точки соприкосновения могли бы обнаружиться в том, что традиционным завершением и новеллы, и басни становится вынесение морали. Но квинтэссенция морали, заявленная в ренессансной новелле, в последующие эпохи вначале отошла на второй план, а позже и вовсе исчезла из текста. Новеллам XIX-XX веков присуща некоторая незаконченность. Близость новеллистического и басенного материалов уже давно является предметом изучения ученых, а именно: Е.М. Мелетинского, М.Л. Гаспарова и других. В свою очередь, В.Е. Хализев подчеркивает сходство исходных ситуаций новеллистических и басенных произведений. Но при этом отмечает совсем различный и даже полярный итог: в новелле, по мнению ученого, «действующее лицо достигает желаемого», а в басне «остается у разбитого корыта» [11].

Еще одна проблема в теории новеллы состоит в том, что новелла, изначально развивавшаяся в прозаической форме речи, пытается адаптироваться и в поэзии. Безусловное преимущество стихотворной новеллы над прозаической – это ее максимальный лаконизм (в сравнении с развернутым для среднего и малого эпическим жанрам объемом) и тезисное утверждение основных элементов сюжетного повествования. С одной стороны, жанр стихотворной новеллы имеет свои достоинства над своей прозаической формой. Вспомним, что первые басни (античных поэтов Федра и Эзопа) были прозаическими. В то время как басни нового времени (от француза Жана де Лафонтена и русского баснописца Ивана Крылова до назидательных стихотворений Феликса Кривина) ассоциируются исключительно с ритмической мелодией и рифмами.

Но при этом стихотворная новелла может разделить и судьбу жанров, отказавшихся от традиционных для них форм речи и не нашедших себе должного применения в противоположной форме речи. Например, гоголевская поэма «Мертвые души», по сути дела, и в настоящее время продолжает оставаться не более чем авторским экспериментом с архаической формой: свойственный для поэмы стихотворный язык все же доминирует над попытками сделать поэму прозаической. Подобные наблюдения можно заметить и в других образцах, как-то: роман в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. При этом заметим, что в классической русской литературе, явленной названными произведениями А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, не было места столь *безудержному* эксперименту с жанром, прежде всего его иронической стилизации, который обозначается в поэзии Игоря Северянина и Вадима Степанцова.

Приведем лишь небольшой перечень тех стихотворений русских поэтов, в которых представлены попытки адаптации русского поэтического слова к традиционным и иным жанровым модификациям: у Игоря Северянина – **ноктюрн** («Nocturne» («Месяц гладит камыши...»), «Nocturne» («Навевали смуть былого окарины...», «Сиреневый ноктюрн»), **сонет** («Любви возврата нет, и мне как будто жаль...», «Я коронуюсь утром мая...», «По вечерам графинин фаэтон...», «Гурманка»), **сказка** («Душистый горошек»), **поэма-миньонет** («Это было у моря»), **синематограф** («Июльский полдень»), **новелла** («Марионетка проказ»), **поэметта** («В шале березовом»), **романс** («Романс» («О, знаю я, когда ночная тишь...»), **этюд** («В предгрозье»), **ассо-сонет** («Оскар Уайльд»), **вселенская поэма** («Земля и солнце»), **элегия** («Элегия изгнания»), **поэза** («Поэза о солнце, в душе восходящем», «Поэза предвесенних трепетов») и другие; у Вадима Степанцова – **сонет** («Спонсорский сонет», «Сатанинский сонет» и др.) **сонет-триолет** («Народ»), **кансона** («Кансона», «Кансона I»), **ода** («Ода главной тайне», «Ода визионерам»), **рассказ** («Рассказ художника»), **сказка** («Алхимик»), **ноктюрн** («Ноктюрн»), **новелла** («Новелла»). Таким образом, представленные стихотворные новеллы являются, прежде всего, стилизованным экспериментальным жанром (и у Игоря Северянина, и у Вадима Степанцова такие стихотворения представлены практически в единичных случаях). Лаконизм и исключительный сюжет новеллы, привлекавший читателей в эпоху Ренессанса, в литературе XX столетия рассматриваются как средства стилизации.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Северянин И. Лирика. – Л., 1991. – 224 с.

2. Хализев В.Е. Сюжет // Введение в литературоведение. Литературное

произведение: Основные понятия и термины: Учебное пособие. – М., 1999. – С. 381.

3. Степанцов В. // Клиенты Афродиты, или Вознагражденная чувственность. – М., 1996. – С. 6-72.

4. Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля. – М., 1970. – С. 49.

5. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – М., 1971. – С. 71.

6. Кожинов В.В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры. – М., 1964. – С. 422–427.

7. Дымова И.А. Сюжеты стихотворных новелл Н.А. Некрасова // Вестник ОГУ. – № 6. – 2002. – С. 29–34.

8. См.: Дымова И.А. Сюжеты стихотворных новелл Н.А. Некрасова // Вестник ОГУ. – № 6. – 2002. – С. 29–34; Дымова И.А. Фольклорная песня как источник стихотворных новелл Н.А. Некрасова // Вестник ОГУ. – № 5. – 2004. – С. 7–13; Дымова И.А. Метрика стихотворных новелл Н.А. Некрасова // Вестник ОГУ. № 11, 2004. – С. 62–68, Дымова И.А. Система персонажей в структуре стихотворных новелл Н.А. Некрасова // Вестник ОГУ. – № 2. – 2005. – С. 71–79; Дымова И.А. К проблеме жанровой дифференциации стихосложения Некрасова // Вестник ОГУ. – № 11. – 2006. – С. 26–30 и др.

9. См: Дымова И.А. Сюжеты стихотворных новелл Н.А. Некрасова // Вестник ОГУ. № 6, 2002. – С. 29–34; Дымова И.А. Фольклорная песня как источник стихотворных новелл Н.А. Некрасова // Вестник ОГУ. – № 5. – 2004. – С. 13 и др.

10. Дымова И.А. «Гусар» А.С. Пушкина (к вопросу о генезисе стихотворной новеллы) // Вестник ОГУ. – № 2. – 1999. – С. 8–10.

11. Хализев В.Е. Сюжет // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины: Учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман и др. – М., 2000. – С. 385.

Рецензия на книгу:

В.В. ЩЕУЛИН. РУССКИЙ ЯЗЫК В ИСТОРИЧЕСКОМ, СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ И ЭТНОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТАХ РАССМОТРЕНИЯ. I. – ЛИПЕЦК: ЛГПУ, 2007. – 500 с.

В современных условиях развития русского языка говорить о повышении интереса русского общества к национальному прошлому, об усилении внимания к национальной самобытности отечественной культуры и родного языка, к его народным основам крайне важно и нужно. «В настоящее время, когда ведутся споры о цивилизованном статусе России, необходимо, на наш взгляд, рассматривая русский язык в историческом, социолингвистическом и этнокультурном аспектах, пристальное внимание уделить происходившим в минувшие века и происходящим сейчас событиям, определившим и определяющим судьбу страны и русского народа» – эти слова из книги В. В. Щеулина «Русский язык в историческом, социолингвистическом и этнокультурном аспектах рассмотрения» определяют, по мнению ее автора, задачи современной лингвистики, позволяющие приблизить нас «к ответу на многие вопросы, связанные с ролью русского языка как силы, способной защищать, созидать и выбирать нужный вариант будущего России» (с. 3).

Автор поставил своей целью проследить путь развития русского языка в аспекте его взаимодействия с экстралингвистическими факторами с древнейших времен до наших дней. В книге рассматриваются те языковые факты и события, которые, по мнению автора, дают наглядное представление о самобытной картине многовекового формирования русского языка.

Книга состоит из двух частей: часть первая уже опубликована, вторая готовится автором к печати и, как следует из предисловия к первой книге, будет говорить о положении русского языка в социально-политической обстановке постсоветского периода в истории России.

История развития русского языка представлена в книге в семи разделах, пять из которых рассматривают развитие русского языка в определенный исторический период. Предваряют эти разделы общие замечания «Взаимоотношение языка и культуры как сферы духовной жизни людей». Опираясь на философские труды В. Гумбольдта, Э. Сепира, Б. Уорфа, анализируя работы акад. Д. С. Лихачева, классиков лингвистики Ф. И. Буслаева, И. И. Срезневского и др., автор убедительно показывает и доказывает, что духовная жизнь человека невозможна без языка, и «если язык подвергается воздействию негативных экстралингвистических сил, бездумному или целенаправленному структурно-семантическому деформированию, то в нем начинают действовать процессы разрушительного свойства, что, в свою очередь, приводит к деградации духовной жизни человека и народа в целом» (с. 13).

Раздел первый «Достоинства русского языка, его европейское и мировое значение», являющийся вводным к рассмотрению истории языка, подводит читателя к оценке позиций русского языка в аспекте современной языковой ситуации в мире.

Во втором разделе представлен обзор концепций и суждений видных отечественных и зарубежных исследователей о прародине славян и происхожде-

нии руссов, определена историческая заслуга Киевской Руси, которую автор видит в создании формации, объединившей сотни первобытных племен. История русского языка прослеживается автором с VI в. – когда, по мнению автора, и начинается история восточнославянского языка, так как период с VI по X–XI вв. характеризуется возникновением в нем ряда особенностей, свойственных только языку восточных славян (полногласие, начальные сочетания ро-, ло-, изменение начального ji в [у] и др.). Таким образом, считая началом формирования древнерусской народности VI в., автор логично приходит к выводу о том, что история русского народа и его культуры насчитывает не тысячу, а полторы тысячи лет.

Третий раздел книги посвящен письменности славян в эпоху древнерусского (восточнославянского) языка (VI–XIII вв.). Важными для характеристики истории русского языка являются представленные в этом разделе сведения, говорящие в пользу существования письменности на Руси до принятия христианства, в связи с чем письменность на Руси после принятия христианства оценивается в книге как уже второй этап славянской письменности. Анализ исследований ряда отечественных ученых позволяет автору сделать в своей книге вывод об образовании современного представления (параллельного традиционному) об истории русского народа и его языка, а также о влиянии древней культуры славян на европейскую и мировую цивилизацию (с. 205).

Материалы, представленные в этих разделах, окажутся полезными прежде всего преподавателям и студентам филологических факультетов, так как весьма существенно дополняют содержание имеющихся учебных пособий по истории русского языка. Страницы, посвященные христианизации Руси, монголо-татарскому нашествию, описанию загадок «Велесовой книги», происхождению двух славянских азбук – глаголицы и кириллицы, оценке просветительской деятельности Кирилла и Мефодия, читаются с большим интересом и удовольствием, благодаря чему книгу В.В. Щеулина можно рекомендовать и учащимся старших классов школ. Кроме того, достоинством рецензируемой книги является и несомненное писательское мастерство автора.

Особо выделим раздел, в котором рассматривается очень важный для истории русского языка период становления его литературной формы. Опираясь на исследования акад. А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, С. П. Обнорского, В. В. Виноградова, вопрос о количестве литературных языков в Древней Руси, В. В. Щеулин называет спорным, а созданное В. В. Виноградовым и поддержанное другими лингвистами учение о двух типах литературного языка – искусственно построенной схемой, выраженной в произвольно толкуемой терминологии (с. 242). Автор полагает, что есть все основания утверждать, что с принятием Русью христианства появились два самостоятельных литературных языка – древнерусский и церковнославянский (не случайно раздел в книге назван «Литературные языки Древней Руси, их дальнейшие судьбы в истории русской культуры»).

В книге В. В. Щеулина, большой по объему (500 с.) и очень насыщенной по содержанию, собрано такое количество фактов из истории русского языка, что даже простое перечисление всех проблем, которые рассматривает автор, не представляется возможным. Поэтому назовем лишь те, которые являются основными для остальных разделов книги: это особенности развития русского языка в эпоху великорусской (собственно русской) народности, затем – русской

нации, государственных и общественных преобразований в XIV–XVIII вв.; это пути становления и развития современного русского литературного языка (с XIX в.); это специфика развития и социально-правовое положение русского языка в Советском Союзе.

Объемный труд В. В. Щеулина, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, известного лингвиста современности, защитника и популяризатора русского языка, утверждает ту главную мысль, которую автор высказал в небольшом предисловии к своей книге: «Русский язык – великий язык. История его возникновения, развития и функционирования отмечена печатью феноменальности. Он не исчез, он сохранился в условиях, которые для всех других языков мира оказались бы непреодолимыми и гибельными» (с. 3).

И. М. Курносова,
Елец

НАШИ АВТОРЫ

Бекасова Е.Н., Оренбургский государственный педагогический университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и методики преподавания русского языка

Ганцовская Н.С., Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка

Гладышев А. Г., Московский педагогический государственный университет, кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры русского языка

Жаткин Д.Н., Пензенская государственная технологическая академия, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского и иностранных языков, академик Международной академии наук педагогического образования, член Союза писателей России, член Союза журналистов России

Журчева О.В., Самарский государственный педагогический университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и методики преподавания литературы

Зорин А.Н., Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, кандидат филологических наук, докторант кафедры общего литературоведения и журналистики

Иванова Г.А., Вятский государственный гуманитарный университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка

Ильина В.А., Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода и переводоведения факультета европейских языков

Картавенко В.С., Смоленский государственный университет, кандидат филологических наук, зав.кафедрой современного русского языка и методики его преподавания, старший научный сотрудник, доцент

Конюхова Л.Н., Сахалинский государственный университет, соискатель кафедры русской и зарубежной литературы, начальник научно-организационного отдела

Костикова О.Ф., Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, соискатель кафедры современного русского языка

Курносова И.М., Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории русского языка

Лаврентьев В.А., Московский педагогический государственный университет, кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры русского языка

Махницкая Е.Ю., Ростовский государственный экономический университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации факультета лингвистики и журналистики

Мкртычян С.В., Военная академия воздушно-космической обороны, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка

Печенкина А.О., Московский государственный областной университет, старший лаборант кафедры русской литературы XX века, аспирант

Плахова А.А. Московский государственный областной университет, соискатель кафедры современного русского языка

Покачалов М.В., Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, кандидат культурологии, докторант кафедры зарубежной литературы

Рубцова Н.В., Нижегородский государственный педагогический университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры культуры русской речи

Рупосова Л.П., Московский государственный областной университет, кандидат филологических наук, профессор кафедры истории русского языка и общего языкознания

Свиридова Т.М., Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, кандидат филологических наук, доцент

Стародубец С.Н., Брянский государственный университет, соискатель, заведующая кафедрой русского языка и литературы, кандидат филологических наук, доцент

Стрельцов В.И., Московский институт духовной культуры, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и литературы

Сухопарова М.А., Белгородский государственный университет, аспирант кафедры русского языка и методики преподавания

Тарасова М.Р., Сахалинский государственный университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы

Федосеева Е.Н., Мичуринский государственный педагогический институт, доцент кафедры литературы

Хрусталев И.Н., Московский педагогический государственный университет, кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры русского языка

Шаталова О.В., Московский государственный областной университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры славянской филологии

Югай О.В., Южно-Сахалинский педагогический колледж Сахалинского государственного университета, преподаватель кафедры методики преподавания литературы, аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Сахалинского государственного университета

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

1. Для публикации научных работ в выпуске серии «Русская филология» «Вестника МГОУ» принимаются статьи на русском языке с аннотацией на русском и английском языках. При этом публикуются научные материалы преимущественно докторов и кандидатов наук, докторантов, аспирантов, соискателей, преподавателей вузов.
2. Объем статьи – не более 16 тысяч знаков.
3. Необходимо сдать дискету с электронным вариантом и распечатку на бумажном носителе (1 экземпляр). В материалы следует включить сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), место работы или учебы (должность), ученая степень, ученое звание, домашний адрес, контактный телефон. К материалам аспирантов и докторантов приложить отзыв научного руководителя (консультанта) и рекомендацию кафедры, на которой выполняется работа.
4. Текст статьи оформляется в соответствии со следующими требованиями: 1) текстовый редактор Microsoft Word for Windows; 2) межстрочный интервал–1, 5; 3) верхнее поле–2 см, нижнее–3 см, левое–3 см, правое – 1,5 см; 4) шрифт Times New Roman; 5) кегль–14; 6) страницы не нумеруются; 7) выравнивание по ширине; 8) перенос не задается.
5. Иллюстративный материал (слова, словосочетания, предложения) печатается курсивом без **кавычек;** семантика языковых единиц печатается обычным шрифтом и выделяется ‘английскими кавычками’: Речь. ‘Способность говорить, говорение’; дефиниция слова, взятая из словаря, должна быть паспортизирована последующей ссылкой на словарь в примечаниях.
6. На первой строке у правого поля полужирным курсивом печатаются **сначала инициалы,** затем фамилия автора. Через строку по центру–название статьи прописными буквами полужирным шрифтом. Ссылки в тексте цифровые, сквозная нумерация в квадратных скобках. **Концевые сноски исключаются.** В конце статьи через строку прописными буквами полужирным шрифтом пишется **ПРИМЕЧАНИЯ**.
7. Редакционная коллегия оставляет за собой право не рассматривать материалы, оформленные без учета перечисленных требований. Присланные материалы не возвращаются. В случае принятия статьи условия публикации оговариваются с ответственным редактором.

Ответственный редактор серии «Русская филология»–доктор филологических наук профессор *Лекант Павел Александрович*, **зам. отв. редактора**–доктор филологических наук профессор *Шаповалова Татьяна Егоровна*.

Адрес редколлегии серии «Русская филология» «Вестника МГОУ»: 107005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 21-а, МГОУ, комн. 105. Телефон (495) 265-08-07.

Краткие сведения о «Вестнике МГОУ»

Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году

Многосерийное издание университета – "Вестник МГОУ" – включено в перечень ведущих рецензируемых и реферируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением президиума ВАК России 6.07.2007г.* (См. Список на сайте ВАК, редакция апреля 2008 г.).

В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», каждая из серий будет выходить 4 раза в год, все 10 – в рекомендательном списке ВАК (см.: прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).

Первый номер 2008 г. по всем сериям подписывается в печать 5 февраля, второй- 5 мая, третий - 5 августа, четвертый - 5 ноября; с этой даты статью можно указывать в рефератах.

Подписка на Журнал осуществляется через Роспечать или непосредственно в издательстве МГОУ

Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2008, Агентство «Роспечать».

Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция» - 36756; «Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология» - 36761; «Лингвистика» - 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки» - 36764; «Педагогика» - 36758.

В «Вестнике МГОУ» (всех его сериях), публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. **Журнал готов предоставить место на своих страницах и для Ваших материалов.**

Для публикации статей в сериях «Вестника МГОУ» необходимо по электронному адресу vest@mgou.ru прислать в едином файле (в формате Word) следующую информацию:

а) авторскую анкету:

– фамилия, имя, отчество (полностью);

– ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название, а не аббревиатура);

– адрес (с индексом) для доставки Ваших номеров журналов согласно подписке;

– номер контактных телефонов (желательно и мобильного);

– номер факса с кодом города;

– адрес электронной почты;

– желаемый месяц публикации;

б) аннотацию на русском и одном из иностранных языков (примерно по 400 знаков с пробелами);

в) текст статьи;

г) список использованной литературы.

Оплата плановых статей сторонних авторов происходит после принятия статьи ответственным редактором предметной серии и должна покрыть расходы на ее публикацию.

Требования к отзывам и рецензиям

К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя (консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, где работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.

В рецензии (отзыве) обязательно 1) раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов, 2) отмечается научная и практическая значимость статьи, 3) указывается на соответствие ее оформления требованиям «Вестника МГОУ». Замечания и предложения рецензента, если они носят частный характер, при общей положительной оценке статьи и рекомендации к печати не являются препятствием для ее публикации после доработки.

Автор несет ответственность за точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются (почтовой пересылкой).

По финансовым и организационным вопросам публикации статей обращаться в Объединенную редакцию "Вестника МГОУ": vest@mgou.ru. Конт.тел. (499)265-41-63 Наш адрес: ул. Радио, д.10А, комн.98.

График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, обед с 13 до 14 часов. Потапова Ирина Александровна. Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» профессор Волобуев Олег Владимирович.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgou.ru

ВЕСТНИК
Московского государственного
областного университета

Серия
«Русская филология»

№ 3

Подписано в печать: 5.08.2008.
Формат бумаги 60x86 /$_8$. Бумага офсетная. Гарнитура «SchoolBookC».
Уч.-изд. л. 15. Усл. п. л. 14. Тираж 500 экз. Заказ № 73.

Издательство МГОУ
105005, г. Москва, Радио, д. 10а.